РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

О.В. Федорова (Москва). Об экспериментальном синтаксисе и о синтаксическом эксперименте в языкознании 3
Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук (Монреаль). Наречие *однажды*: неопределенный временно́й спецификатор 22
О.Ю. Инькова (Женева). О семантике так называемых градационных союзов *не столько... сколько* и *скорее... чем* 38
Г. Хентшель (Ольденбург). Белорусский, русский и белорусско-русская смешанная речь 53
Н.В. Макеева (Москва). Коммуникативные стратегии и коррелятивная конструкция в языке кла-дан и других южных манде 77
М.Б. Коношенко (Москва). Лично-числовое маркирование в языке кпелле: к типологии согласования по лицу и числу 95

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В.Г. Кузнецов (Москва). Лингвистическая концепция Эрика Бюиссенса 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Л.С. Клейн (Санкт-Петербург). *Ю.К. Кузьменко*. Ранние германцы и их соседи: лингвистика, археология, генетика. СПб.: Нестор-История, 2011 125
В.Ю. Гусев (Москва). *A.Y. Aikhenvald*. Imperatives and commands. New York: Oxford university press, 2010 130
Д.Б. Никуличева (Москва). *P. Durst-Andersen*. Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Hans Reitzels Forlag, 2011 136
Ф.Р. Минлос (Москва). *T. Stolz, C. Stroh, A. Urdze*. Total reduplication: The areal linguistics of a potential universal. Berlin: Akademie Verlag, 2011 141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А.Б. Летучий (Москва). Обзор лингвистических проектов, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом в 2012 году 143
Г.А. Николаев (Казань). Международная научная конференция «Русский язык: функционирование и развитие» 147
С.Д. Шелов, А.Э. Цумарев (Москва). III Международный симпозиум «Терминология и знание». Москва 2012 153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *М.Д. Воейкова, Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.И. Подлесская, В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Т.В. Зайцева, А.С. Кулева, М.М. Маковский, М.В. Шкапа*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16
Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2013 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2013 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. О.В. ФЕДОРОВА

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИНТАКСИСЕ И О СИНТАКСИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ*

Настоящая статья представляет собой аналитический обзор методологических исследований, посвященных теории и практике использования метода вынесения/извлечения суждений о грамматической правильности/приемлемости предложений в современной синтаксической традиции[1]. Хотя идея оценивать выражения с точки зрения их грамматической правильности или неправильности принадлежит не Хомскому и уходит корнями в глубокую древность[2], именно генеративный синтаксис в первую очередь ассоциируется с подобным способом работы с языковым материалом. В пятидесятилетней истории развития генеративной грамматики можно выделить три всплеска методологического интереса к этому вопросу: (1) 70-е годы XX века – первая волна методологических инноваций и критики; (2) середина 90-х годов XX века – вторая волна, породившая новое направление под названием «экспериментальный синтаксис»; (3) конец 10-х годов XXI века – третья волна, приведшая к возвращению ко многим исходным идеям. В настоящем обзоре мы последовательно опишем эти три периода, делая дополнительный акцент на сравнении данной парадигмы с парадигмой экспериментальной психолингвистики. В заключении будет дана авторская оценка результатов и перспектив данного направления исследований.

Ключевые слова: грамматическая правильность, грамматическая приемлемость, вынесение суждений, извлечение суждений, синтаксис, эксперимент

This article surveys judgments about the grammaticality or acceptability of sentences that are the most widely used data source in the syntactic literature, with a particular focus on the relevance of the evidence to the goals of generative grammar. After a background section overviewing the main notions and objectives of that framework, we can trace the field's history in three major periods that are considered in the three subsequent sections: (i) Formative period, (ii) Experimental syntax period, and (iii) Old ideas revisited period. Typically, syntacticians rely on their own judgments, or those of a small number of colleagues; sometimes they rely on the Experimental syntax paradigm. The perspective adopted here is considered in the two last sections.

Keywords: grammaticality judgment, acceptability judgment, elicitation, syntax, experiment

---

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11-04-00153. Автор выражает благодарность Е.А. Лютиковой, А.А. Кибрику, В.А. Плунгяну, М.В. Фаликман, а также анонимному рецензенту за критические замечания и советы, высказанные при подготовке работы.

[1] Данная работа будет ограничена областью синтаксиса. Необходимо особо отметить, что исследования с использованием методологии вынесения/извлечения суждений о приемлемости проводятся также в области семантики, однако подобные исследования представляют собой, на наш взгляд, относительно самостоятельную парадигму со своей собственной методологией.

[2] Согласно работе [Householder 1973: 365] деление предложений на грамматически правильные и грамматически неправильные можно найти уже у древнегреческого грамматика Аполлония Дискола (II в. н.э.). Кроме того, мы согласны с мнением анонимного рецензента настоящей статьи, что полезно различать имплицитную и эксплицитную методологию. Несомненно, имплицитное деление предложений на правильные и неправильные, а также спорадическое использование отрицательного языкового материала при изучении грамматических явлений существует с момента появления первых грамматик. В дальнейшей работе, говоря о методологии, мы будем иметь в виду только эксплицитно декларируемую методологию.

1. ВВЕДЕНИЕ: КОМПЕТЕНЦИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ, СИНТАКСИС И ПСИХОЛИНГВИСТИКА, ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ

Традиционное для структурной лингвистики первой половины XX в. соссюровское деление речевой деятельности (фр. langage) на язык (фр. langue) и речь (фр. parole) [Соссюр 2004] в генеративной грамматике Хомского трансформируется в дихотомию 'языковая компетенция/языковое употребление'[3] [Chomsky 1965]. **Компетенция** (англ. competence), постулируемая Хомским, – это знание языка, или, иначе говоря, модель (ментальной) грамматики языка, представленной в виде системы правил, которые позволяют порождать и понимать бесконечное количество правильных синтаксических структур, имеющихся в данном языке, и отвергать все неправильные. **Употребление** (англ. performance) – это процесс использования знания языка, то есть компетенции, в реальной речевой деятельности[4].

Как Соссюр, так и Хомский полагают, что лингвистам «в собственном смысле слова» следует в первую очередь заниматься языком/компетенцией, а изучение речи/употребления относится скорее к области другой науки[5]. Этой другой наукой по праву считается психолингвистика, которая возникла, как и генеративный синтаксис, в середине XX в. Как и в истории генеративного синтаксиса, роль Хомского в истории развития психолингвистики трудно переоценить. Однако отношения Хомского с психолингвистикой сложнее. С одной стороны, всеми признается тот факт, что работы Хомского оказали большое влияние на современную психологию и психолингвистику; более того, с точки зрения Хомского, «на уровне универсальной грамматики лингвист пытается выявить некоторые общие свойства человеческого разума. Лингвистика в таком случае есть не что иное, как просто раздел психологии, изучающий эти аспекты мышления»[6] [Chomsky 1968: 24]. Как отмечается практически во всех психолингвистических учебниках, первая книга Хомского, «Синтаксические структуры» [Chomsky 1957], легла в основу современной американской психолингвистики.

С другой стороны, сам Хомский относится к идее проведения экспериментальных исследований[7] для подтверждения психологической реальности описаний языка, сделанных формальными лингвистами, весьма скептически. В частности, он пишет: «Если

---

[3] В данной статье мы не будем касаться дихотомии E-language vs. I-language, введенной в работе [Chomsky 1986].

[4] Многие функциональные и когнитивные лингвисты считают само противопоставление 'компетенция / употребление' не очень осмысленным (см., например, [Hopper 1987]). Апеллируя к подобным функциональным исследованиям, Р. Лангакер [Langacker 1987] ввел в практику термин «модель, ориентированная на употребление» (англ. usage-based model). Однако в данной работе мы исходим из того, что само по себе противопоставление «компетенция / употребление» является по крайней мере полезным.

[5] Таким образом, на периферии лингвистики большей части XX в. оказалась такая лингвистическая дисциплина, как дискурсивный анализ, получивший развитие значительно позднее, чем другие уровневые дисциплины – фонетика / фонология, морфология и синтаксис.

[6] Перевод взят из [Слобин, Грин 2004: 226].

[7] Следует сразу оговориться, что ключевые термины настоящей работы – «эксперимент», «экспериментальный» – вызывают в среде лингвистов много разночтений. На наш взгляд, традиция понимания эксперимента в смысле Щербы (описанию этой традиции будет посвящен раздел 5 настоящей статьи) продолжает доминировать в лингвистических кругах и в настоящее время. В данной работе мы будем придерживаться общенаучного определения эксперимента как «метода познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности» (цитата из БСЭ, издание 1978 г., т. 30, с. 6). Наиболее важным для понимания сути экспериментального исследования является положение, что в любом эксперименте необходимо сравнение изучаемого экспериментатором условия с контрольным условием, при котором экспериментальных манипуляций не происходит. Именно по этому критерию любой вид интроспекции или спорадический вопрос к информанту экспериментом в строгом смысле слова не является, подробнее см. раздел 5.

мы будем располагать такими операциональными тестами, которые помогут нам доказать правильность наших интроспективных суждений относительно очевидных явлений, это будет полезно для оценки других конкретных наблюдений»[8] [Chomsky 1964: 80]. То есть если экспериментальные данные подтверждают некоторые очевидные случаи, в которых лингвисты сами не сомневаются, то аналогичные эксперименты могут быть использованы и для установления истины в менее очевидных случаях, но не более того. Подобные высказывания Хомского даже приводят некоторых психолингвистов к идее о том, что «попытки проверки валидности разных аспектов генеративной грамматики в психолингвистических экспериментах – а таков по преимуществу американский проект психолингвистики – это попытки с заведомо негодными средствами» [Фрумкина 2009].

* * *

С момента зарождения генеративизма основным способом получения генеративных языковых данных является метод вынесения суждений о грамматической правильности/приемлемости предложений. Во многих исследованиях, начиная с работы [Chomsky 1965], было показано, что термин «вынесение суждений о грамматической правильности» (англ. grammaticality judgment) не идентичен термину «вынесение суждений о приемлемости» (англ. acceptability judgment) и является неудачным, так как апеллирует не к поведенческой, а к внутренней когнитивной стороне языковой деятельности. Грамматика, являясь некоторой когнитивной сущностью, нам непосредственно недоступна. В частности, в работе [Newmeyer 2007] автор отмечает, что «вынесение суждений о грамматической правильности, строго говоря, есть теоретическое суждение, а вовсе не языковые данные» (перевод мой. – *О. Ф.*). В дальнейшем изложении мы будем придерживаться подобного взгляда и называть **грамматически правильными** или **грамматичными** предложениями такие цепочки слов, которые могут быть порождены некоторой (ментальной) грамматикой. **Приемлемыми** мы будем называть такие цепочки, которые носители языка (включая лингвистов) признают в качестве правильных предложений своего языка[9].

2. ПЕРВАЯ ВОЛНА: *БЕСЦВЕТНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ИДЕИ СПЯТ ЯРОСТНО*

Как это часто бывает с революционными идеями, несмотря на то, что некоторая критика генеративного подхода появилась практически сразу (см., например, работу [Hill 1961], русский перевод [Хилл 1962]), более серьезное критическое обсуждение началось только в 70-е годы. В этом разделе будут использованы критические работы У. Лабова, Д. Слобина и Дж. Грин[10]. Однако начнем мы его с более подробного описания важности в генеративном синтаксисе отрицательного языкового материала.

---

[8] Перевод взят из [Слобин, Грин 2004: 59].

[9] Необходимо отметить, впрочем, что в научной литературе существуют и другие определения терминов «вынесение суждений о грамматичности» и «вынесение суждений о приемлемости». Так, в работе [Bader, Häussler 2010] авторы используют первый термин в том случае, когда проводят с испытуемыми эксперимент с бинарной шкалой оценок, то есть с двумя значениями: ‘грамматичный’ и ‘неграмматичный’, а второй – когда шкала оценок более, чем бинарна [Bader, Häussler 2010: 278].

Кроме того, среди «рядовых» генеративных лингвистов термин «грамматичность» распространен намного шире, чем термин «приемлемость»; в частности, в работе [Featherston 2005] отмечается, что 23 из 30 авторов популярного учебника «Handbook of contemporary syntactic theory» [Baltin, Collins 2001] используют именно этот термин, даже не давая его определение, а термин «приемлемость» встречается только у одного из авторов этого учебника [Featherston 2005: 673]. Тем не менее в данной статье мы будем придерживаться вышеприведенных формулировок.

[10] Работы Слобина и Грин будут цитироваться по изданию [Слобин, Грин 2004]. Переводы [Slobin 1971] и [Greene 1972] были впервые опубликованы на русском языке в 1976 г. [Слобин, Грин 1976]. Работы Лабова [Labov 1972; 1975] будут цитироваться по более поздней работе [Labov 1996].

Итак, основу языковой компетенции составляет способность носителя языка отличать грамматически правильные (англ. well-formed) предложения некоторого языка от грамматически неправильных (англ. ill-formed). Таким образом, **отрицательный языковой материал** (который может быть получен только в результате вынесения суждений относительно приемлемости, так как не может быть представлен в корпусе) является исключительно важным для исследователей-генеративистов при построении их моделей[11]. Важность отрицательных данных в генеративных теориях определяется также следующим фактом. С одной стороны, мы считаем, что носители языка в большинстве случаев соглашаются в оценке приемлемости тех или иных предложений. С другой стороны, большинство исследователей детской речи полагают, что вопреки распространенному мнению родители крайне редко исправляют грамматические ошибки своих детей (известный аргумент от **бедности стимула**, англ. poverty of the stimulus). Таким образом, отсутствие достаточных отрицательных данных вкупе с наблюдением, что усвоение языка влечет за собой способность отличать грамматически правильные предложения от неправильных, приводит Хомского и его последователей к самому главному постулату генеративизма – что существует некоторое врожденное знание языка, которое определяет взрослую способность порождать правильные предложения и не порождать неправильные. Лингвистическую модель этого врожденного компонента традиционно называют Универсальной грамматикой (далее УГ)[12].

В современной лингвистической практике неприемлемые предложения обычно обозначаются знаком звездочки перед соответствующим примером. По всей видимости, авторство этого обозначения принадлежит американскому лингвисту Ф. Хаусхолдеру – в статье «On arguments from asterisks» 1973 года он сам описывает, как летом 1958 года, читая курс морфосинтаксиса студентам Мичиганского лингвистического института, ввел в обиход это обозначение [Householder 1973: 365].

Грамматическую правильность, по Хомскому, следует отличать от семантической осмысленности. Хрестоматийный пример такого рода – грамматичное, но семантически бессмысленное (англ. nonsensical) предложение (1) *Colorless green ideas sleep furiously* (*Бесцветные зеленые идеи спят яростно*). Если прочитать это предложение в обратном порядке – (2) *Furiously sleep ideas green colorless* (*Яростно спят идеи зеленые бесцветные*) – то оно станет не только бессмысленным, но и неграмматичным [Chomsky 1957: 15; Хомский 1962: 418].

Этим примером Хомский аргументировал независимость грамматики от семантики; однако Р.О. Якобсон, полемизируя с Хомским, показал, что грамматически правильное предложение *Colorless green ideas sleep furiously* может быть метафорически прочитано и как семантически осмысленное [Jakobson 1959/1971: 330]. В качестве дополнительного аргумента Якобсон приводит опубликованное в 1957 г. вполне осмысленное стихотворение Д. Хаймса под названием «Colorless green ideas sleep furiously»[13].

Тот факт, что грамматическую правильность предложения можно оценивать независимо от его семантики, иногда демонстрируют и при помощи так называемых «пред-

---

[11] В отечественной лингвистике идея о важности учета отрицательного языкового материала в первую очередь ассоциируется с работой Л.В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» 1931 г., в которой он пишет: «Но особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря...» [Щерба 1931/1974: 38].

[12] Заметим, однако, что, имея правильные и неправильные примеры одного конкретного языка, мы не можем реконструировать УГ, так как некоторые грамматические конструкции некоторого конкретного языка могут быть запрещены, потому что так устроена УГ, а некоторые – потому что так установлены параметры данного языка. Таким образом, для реконструкции УГ необходимы типологические исследования.

[13] Данная дискуссия не закончилась и спустя сорок лет, см. документальный фильм «Discovering the human language: Colorless green ideas» (Equinox Films; produced, directed and written by G. Searchinger. New York (NY): Ways of Knowing, Inc., 1995).

ложений Jabberwocky», то есть создавая предложения из несуществующих в данном языке слов. Подобные предложения большинство носителей оценивают как приемлемые, в отличие от предложений с конверсированным порядком тех же псевдослов. Кроме известных примеров из Л. Кэррола, в этот ряд можно поставить предложение Г. Глисона (3) *The iggle squiggs trazed wombly in the harlish hoop*, а также известный русский пример Л.В. Щербы (4) *Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка*. Вышеперечисленные предложения могут быть оценены носителем с точки зрения их грамматической правильности независимо от того, что вероятность их появления в речи равна нулю. Говоря другими словами, грамматическая правильность предложения не равна не только осмысленности, но и вероятности употребления в реальной речи.

Являясь центральным пунктом концепции Хомского, идея различения грамматически правильных и грамматически неправильных предложений присутствует уже в самой первой книге Хомского «Синтаксические структуры» [Chomsky 1957], см. примеры (5), (6) и (7). В то же время различение грамматической правильности и приемлемости было введено Хомским только в «Аспектах теории синтаксиса» [Chomsky 1965].

(5) The scene of the movie was in Chicago.
(6) The scene that I wrote was in Chicago.
(7) *The scene of the movie and that I wrote was in Chicago [Chomsky 1957: 36].

Как отмечает Хомский и его последователи, суждения относительно приемлемости предложений могут быть связаны с самыми разнообразными факторами употребления – такими, как объем рабочей памяти испытуемого, частотность слова, длина предложения, сложность предложения и проч., поэтому эти суждения очень сложно правильно проинтерпретировать. По мнению Хомского, такие суждения не равнозначны суждениям о грамматической правильности, поскольку часто бывает, что высказывания, которые по той или иной причине не являются приемлемыми, тем не менее грамматически безупречны. Таким образом, грамматичность является лишь одним из факторов, который определяет приемлемость предложения. По мнению Хомского, мы можем придумать строгие экспериментальные процедуры, чтобы определить приемлемость, но мы не можем аналогичным образом определить грамматичность[14] [Chomsky 1965: 11].

Еще одним принципиально важным методологическим вопросом является вопрос о бинарности или градуальности[15] грамматичности/приемлемости. Признавая в ранних работах тот факт, что на самом деле грамматическая правильность предложения является «a matter of degree» [Chomsky 1957: 36; 1965: 11], Хомский идеализирует ее, сводя к бинарной оппозиции и строя модель, которая различает лишь грамматически правильные и грамматически неправильные предложения [Chomsky 1957: 13]. Что касается приемлемости, то подавляющее большинство исследователей сходятся на том, что она градуальна (в частности, это отражается в многочисленных промежуточных оценках предложений с использованием диакритик: «?», «??», «*?» и «?*») Таким образом, большинство генеративных лингвистов разделяют мнение, что сама модель ментальной грамматики, то есть компетенция, основана на бинарных ограничениях, а градуальность привносится только на уровне употребления ментальной грамматики в речи (см. наиболее авторитетное в этой области мнение Ф. Ньюмейера [Newmeyer 1983]). Однако в последние годы вопрос о бинарности или градуальности ментальной грамматики вновь становится актуальным, см., например, стохастическую теорию оптималь-

---

[14] Некоторые авторы, которые используют термин «грамматичность» как в смысле некоторой цепочки слов, порожденной ментальной грамматикой, так и в смысле суждения о некотором предложении, вынесенного носителем языка, пишут первое из них с заглавной буквы, то есть «Грамматичность» (в частности, см. [Featherston 2005: 673]).

[15] Термин «градуальность» (англ. gradience) был впервые использован в работе [Bolinger 1961]; отметим также, что в английском языке это слово используется только как лингвистический термин. В качестве антонима к термину «градуальный» мы будем использовать термин «бинарный» (англ. categorical).

ности [Boersma, Hayes 2001], линейную теорию оптимальности [Keller 2000], а также работу [Wasow 2009][16].

Перейдем теперь к критике. Первую волну критики генеративизма можно разделить на два направления – социолингвистическое и психолингвистическое. Самая, пожалуй, серьезная критика генеративного способа получения языковых данных в 70-х гг. пришла из области социолингвистики и была представлена в работах Лабова. Сравнивая объективные социолингвистические данные с субъективными генеративными, он предложил следующие принципы работы с языковым материалом.

(8) **Принцип консенсуса**:
Если нет никаких оснований думать обратное, мы предполагаем, что суждения любого наивного носителя характеризуют всех говорящих на данном языке.

(9) **Принцип экспериментатора**:
Если в интроспективных суждениях имеются рассогласования, то суждения людей, знакомых с теоретической подоплекой исследования, не принимаются во внимание.

(10) **Принцип валидности**:
Если данные, полученные в неподготовленной речи носителей, оказываются более устойчивыми, чем данные интроспективных суждений, то валидное описание языка должно опираться на употребление, а не на интуицию.

([Labov 1996: 34], перевод мой. – *О. Ф.*)

Данные принципы были впервые сформулированы в первой половине 70-х гг. Глядя на прошедшее с тех пор время из середины 90-х, Лабов отмечает, однако, что большинство формальных лингвистов и сейчас не согласятся с ними, предпочитая «идеалистическую позицию генеративизма материалистическому подходу социолингвистики» [Labov 1996: 35].

Второе направление критики генеративного метода получения языковых данных было представлено психолингвистами. В те годы психолингвистика только начинала развиваться, так что даже само слово «психолингвистика» чаще заменялось словом «психология». С самых первых шагов у психологов и лингвистов возникло желание поделить сферы влияния, см. цитату из Грин: «Попытки разрешить пограничный конфликт между лингвистикой и психологией всегда приводят к проблеме разграничения языковой способности[17], которая считается областью лингвистики, и языковой активности, относимой к области психологии» [Слобин, Грин 2004: 222].

Многие психологи не довольствовались отведенной им ролью изучения дополнительных факторов, которые отличают грамматическую правильность от приемлемости (другими словами, компетенцию от употребления). Как пишет Слобин, другая задача психологов, не менее важная, состояла в том, чтобы «попытаться пройти через лабиринт психологических факторов, которые делают языковую способность отличной от языковой активности, чтобы показать, что языковая способность, в том виде, как ее описывают лингвисты, имеет “психологическую реальность”, то есть существует как некий психологический феномен[18]» [Слобин, Грин 2004: 35].

---

[16] По нашему мнению, на современном этапе развития науки данная дискуссия носит во многом чисто теоретический характер, так как все существующие сейчас методы проверки бинарности или градуальности грамматики, как лингвистические, так и психолингвистические, носят опосредованный характер. Однако бурно развивающиеся в последнее время методы нейровизуализации могут со временем превратить этот вопрос из вопроса веры в вопрос строгого научного знания.

[17] В переводе книги Слобина и Грин [Слобин, Грин 2004] «competence» передается как «языковая способность», а «performance» – как «языковая активность».

[18] Термин «психологическая реальность», введенный в лингвистический обиход Э. Сепиром в его работе о психологической реальности фонем [Sapir 1933], а позднее закрепившийся в работах Хомского, представляется нам крайне неудачным. На наш взгляд, психолингвисты, которые, как считается, занимаются гораздо более психологически реальными исследованиями, чем простые теоретические лингвисты, с точки зрения близости к «реальному положению вещей» ничем не отличаются от последних, см. аналогичное мнение в статье под названием «There’s no reality like psychological reality» [Dresher 1995].

Не соглашаясь со словами Хомского о второстепенной роли психологических экспериментов, тестирующих построения генеративной грамматики, Слобин суммирует свой взгляд таким образом: «Мы можем допустить, что формальная теория где-то и как-то существует в голове носителя языка и определяет его способность действовать определенным образом. Языковая способность, таким образом, есть модель того, что, по нашему предположению, существует в сознании носителя языка, модель, созданная лингвистом на основе его интуитивной способности отличать правильно построенные высказывания от неправильно построенных и т.п. Достоверность существования такой модели может быть доказана только тщательным изучением реальной активности, которую она, по нашему мнению, определяет» [Слобин, Грин 2004: 57].

Подводя итоги описанию первого этапа развития методологии вынесения суждений о грамматической приемлемости предложений, можно заключить, что общая практика той поры состояла в том, что исследователи на основании своей интуиции оценивали сконструированные ими же предложения. Не обращая особого внимания на замечание Лабова о том, что лингвисты не могут одновременно порождать и языковые данные, и теории [Labov 1996: 33], они даже иногда использовали аналогию с дегустацией вина: подобно тому, как только самые хорошие дегустаторы могут различить тончайшие оттенки вкуса вина, только самые тонкие лингвисты могут прочувствовать все оттенки грамматики родного языка [Valian 1982].

3. ВТОРАЯ ВОЛНА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС

Вторая волна интереса к статусу метода вынесения суждений о приемлемости пришлась на вторую половину 90-х гг. и связана в первую очередь с именами двух американских лингвистов – К. Шутце и В. Коварта, чьи работы способствовали существенному изменению подхода к данной проблеме.

Рассмотрим ту же по существу процедуру вынесения суждений о приемлемости языковых выражений, которая используется генеративными лингвистами при интроспективном методе, но применительно к (i) некоторой репрезентативной группе испытуемых с (ii) достаточным количеством языковых стимулов и (iii) более чем бинарным шкалированием возможных оценок. Если мы затем (iv) обсчитаем полученные данные при помощи статистики, традиционной для области когнитивной психологии (частью которой, по мнению многих приверженцев идей Хомского, была и остается генеративная лингвистика), то, согласно идеям Шутце, Коварта и многих их последователей, мы получим уже совсем другой уровень объективности и значимости проведенного исследования. В работе [Myers 2009] эта разновидность метода вынесения суждений называется **формальным суждением** (англ. formal judgment), в то время как рассмотренный выше метод интроспективной оценки назван **неформальным суждением** (англ. informal judgment). После выхода в свет книг [Schütze 1996] и [Cowart 1997] некоторые генеративные лингвисты полагают, что вынесение формальных суждений о приемлемости является уже полноценным психолингвистическим экспериментом, так как удовлетворяет основному психологическому критерию, а именно критерию объективности (см. подзаголовок книги Коварта [Cowart 1997]: «Experimental syntax: Applying objective methods to sentence judgments»). Более того, на методе вынесения формальных суждений о приемлемости было основано целое направление экспериментальных лингвистических исследований, получившее название «экспериментальный синтаксис»[19]. В дальнейшей работе мы будем называть данный метод методом **извлечения** суждений о приемлемости (англ. elicitation), в отличие от метода **вынесения** суждений о приемлемости, основанного на интроспекции самого исследователя.

---

[19] Отметим, что в современных психолингвистических исследованиях подобные тесты известны и популярны под названием **опросников** (англ. questionnaire).

Если первые два нововведения – увеличение количества испытуемых и количества стимулов – представляют собой простое копирование давно устоявшихся нормативов экспериментальной психологии, то на возможных методах шкалирования оценок стоит остановиться подробнее. До последнего времени наиболее распространенным способом более чем бинарного шкалирования был психометрический подход, предложенный Р. Ликертом [Likert 1932]. При работе со шкалой Ликерта испытуемый обычно оценивает степень своего согласия или несогласия с предложенным стимулом (в нашем случае – степень приемлемости предложения) по пяти- или семибалльной шкале – от значения «полностью согласен» до значения «полностью не согласен»; реже применяются шкалы с тремя или девятью делениями; иногда подобная шкала состоит из только положительных значений (например, от 1 до 5), иногда в ней имеется нулевая точка перехода (от –3 до +3). Обычно в таких экспериментах испытуемый получает в качестве образца примеры предложений, соответствующих крайним точкам на шкале (в качестве примеров подобных исследований см. [Bybee, Eddington 2006] или [Culbertson, Gross 2009]).

Однако в середине 90-х гг. «золотым стандартом» (такая оценка данного метода содержится, например, в книге [Cowart 1997]) более чем бинарного шкалирования являлся метод **оценки величины стимула** (англ. magnitude estimation), первоначально предложенный психофизиком С. Стивенсом [Stevens 1956] для исследования величины ощущения. В работе [Bard et al. 1996] эта методика была адаптирована к синтаксическому материалу следующим образом. В ходе экспериментальной процедуры испытуемый получает анкету, в которой приемлемость некоторого предложения, например (11) *What do you wonder whether Mary bought?* (подобное предложение называется **стандартом**), оценена в 100 баллов (это абсолютное значение называется **модулем** (англ. modulus)). Испытуемого просят оценить приемлемость целевого предложения, например (12) *What did Lisa meet the man that bought?*, используя в качестве ориентира модуль предложения-стандарта. Так, он может оценить целевое предложение в 50 баллов, если решит, что оно в два раза менее приемлемо, или, наоборот, в 200 баллов, если оно покажется ему в два раза более приемлемым (конкретный пример взят из работы [Schütze 2011]). Таким образом, данная методика принципиально отличается от классической шкалы Ликерта тем, что здесь модуль предложения-стандарта используется в качестве некой единицы измерения, по отношению к которой испытуемые оценивают другие предложения.

За пятнадцать лет, прошедших с момента возникновения экспериментального синтаксиса, данная идея, по существу представляющая собой некоторый компромисс между теоретической и экспериментальной лингвистиками, превратилась в достаточно солидное направление со своей методологией, сторонниками и противниками. Однако она так и не стала доминирующей. Так, с одной стороны, многие лингвисты полагают, что как неформальная, так и формальная разновидности вынесения/извлечения суждений о приемлемости безусловно проигрывают методу наблюдения в корпусе [Sampson 2007] и/или подлинной экспериментальной процедуре [Bornkessel-Schlesewsky, Schlesewsky 2007]. С другой стороны, большинство генеративных лингвистов до сих пор полагают, что и неформальной методики вынесения суждений вполне достаточно для получения надежных и валидных языковых данных [Phillips 2009].

4. ТРЕТЬЯ ВОЛНА: ДВИЖЕНИЕ ПО СПИРАЛИ

Третья волна методологического интереса и разнообразной критики генеративного метода вынесения/извлечения суждений о приемлемости развивается на наших глазах. Одной из ее отличительных особенностей можно считать появление крупномасштабных теоретических дискуссий. В частности, широкий резонанс вызвало обсуждение статьи Ф. Ньюмейера «Grammar is grammar and usage is usage», опубликованной в 2003 г. в журнале «Language» [Newmeyer 2003]. В этой статье Ньюмейер выступает против подхода, ориентированного на употребление (в частности, см. [Langacker 1988;

Bybee 2006]), особое внимание уделяя критике **стохастических грамматик**, то есть грамматик, которые включают в себя информацию о вероятностях. Учитывая вероятности употребления тех или иных конструкций, мы тем самым стираем четкие границы между компетенцией и употреблением. В серии из трех ответных статей (например, [Clark 2005]) оппоненты Ньюмейера приводят примеры удачных проектов, выполненных в парадигме подхода, ориентированного на употребление (в частности, стохастическую теорию оптимальности [Boersma, Hayes 2001]).

Однако самой, на наш взгляд, интересной представляется дискуссия по поводу статьи под заголовком «Data in generative grammar: The stick and the carrot» С. Фетерстона. Этой проблематике целиком посвящен третий номер 33-го тома журнала «Theoretical linguistics» (2007 г.): в заглавной статье Фетерстон призывает генеративных лингвистов раз и навсегда отказаться от использования интуитивных суждений в пользу более серьезных методов, а шесть его оппонентов высказывают свои точки зрения в ответных статьях. Рассмотрим содержание этой дискуссии более подробно.

В заглавной статье Фетерстон сначала описывает отрицательные стороны современного положения вещей в методологии сбора материала генеративной лингвистики (апеллируя к методу кнута и пряника, данную часть он сравнивает с кнутом), а затем перечисляет бонусы-пряники, которые может получить генеративный лингвист, воспользовавшись экспериментальной методологией. Фетерстон заключает, что генеративная лингвистика, используя ненаучные методы получения языковых данных, по существу отказывается от своих собственных амбициозных намерений стать частью современной психологической науки, которая основана на экспериментальной методологии. Описывая текущее состояние дел в области взаимодействия генеративной лингвистики с психологией, Фетерстон сетует, что, как и 50 лет назад, большинство генеративных лингвистов при построении своих теорий продолжают опираться на собственные интуитивные примеры, не привлекая других носителей и основываясь на единичных примерах и бинарной оппозиции «можно-нельзя». Приводя цитату из известной работы 1982 г., он отмечает, что эта проблема остается нерешенной и теперь: «когда психологические данные не подтверждают лингвистическую теорию, психологи заключают, что лингвистическая теория ошибочна, а лингвисты – что психологические данные нерелевантны» ([Roeper 1982: 468], перевод мой. – *О. Ф.*).

Фетерстон приводит конкретные примеры генеративных исследований, которые не выдерживают экспериментальной проверки. В частности, он описывает собственный эксперимент, посвященный тестированию теории связывания на материале немецкого языка, в котором был использован стимульный материал из работы [Grewendorf 1988]. В работе [Grewendorf 1988: 58] автор, основываясь на собственной интуиции, предлагает такое распределение форм под звездочкой и грамматичных высказываний, см. пример (13). Однако эксперимент на извлечение суждений с привлечением 26 испытуемых, которые оценивали 16 синтаксически однотипных примеров, подобных (13), используя метод оценки величины стимула, показал прямо противоположные результаты (подробнее см. в [Featherston 2002]).

(13)	a. Der	Arzt zeigte	den Patienten$_j$	sich$_j$ / *ihn$_j$	im Spiegel
	the	doctor showed	the patient.ACC	himself / him	in.the mirror
	b. Der Arzt	zeigte	dem Patienten$_j$	ihn$_j$ / *sich$_j$	im Spiegel
	the doctor	showed	the patient.DAT	him / himself	in.the mirror

Все вышеперечисленные недостатки генеративных работ могут быть ликвидированы, по мнению Фетерстона, если ввести в генеративную практику контролируемый психолингвистический эксперимент. Фетерстон выделяет необходимые и желательные требования к подобной экспериментальной процедуре:

(14) необходимо:
(1) много информантов;
(2) много однотипных стимулов;

желательно:
(1) инструкция «Насколько естественно звучит это предложение?»;
(2) более чем бинарное шкалирование[20] [Featherston 2007: 282].

Три из четырех перечисленных пунктов Фетерстона – за исключением особого требования к формулировке инструкции – разделяют почти все приверженцы идей экспериментального синтаксиса. Что касается инструкции, то Фетерстон аргументирует именно такую формулировку следующим образом. Более частым вариантом инструкции является вариант «Используете ли вы подобное предложение в своей речи?», однако он, как отмечает Фетерстон, недостаточно корректен по двум причинам. Во-первых, при такой постановке вопроса в голове у носителя могут возникнуть представления о норме и он может не захотеть положительно оценить синтаксическую конструкцию, которая по каким-то причинам ассоциируется у него с низким стилем речи. Во-вторых, в языке могут существовать более синтаксически простые аналоги изучаемой конструкции, которые вытесняют из практического употребления данную, хотя она и сохраняет грамматическую правильность.

Говоря о более чем бинарном шкалировании оценок, Фетерстон предлагает свою собственную процедуру подобного шкалирования, которую он называет **термометром** (англ. thermometer judgments). Данный метод напоминает обычную шкалу Ликерта, однако между крайними точками шкалы Фетерстона 20 (нижней точкой) и 40 (высшей точкой) испытуемый может сам для себя установить любое количество делений (подробнее см. [Featherston 2009]).

Итак, в статье Фетерстона приводятся достаточно убедительные аргументы в пользу использования формального метода извлечения суждений. Однако статьи шести его оппонентов оказываются не менее убедительными. Одна из основных идей ответной статьи Г. Фанзелова с не менее говорящим названием «Carrots perfect as vegetables, but please not as a main dish» состоит в следующем: с одной стороны, большинство лингвистов легко разделяют тезис о том, что грамматическая правильность является лишь одним из факторов, который влияет на суждение о приемлемости. Между тем в настоящее время проведено совсем мало исследований, в которых бы это строго доказывалось с перечислением основных дополнительных факторов. С другой стороны, те же самые лингвисты, разделяющие этот тезис, легко переносят данные, собранные методом извлечения суждений, непосредственно в свои модели грамматики, даже не пытаясь отсеивать эти дополнительные факторы [Fanselow 2007: 363]. Эта проблема, по мнению Фанзелова, не может быть разрешена при помощи простого усовершенствования экспериментальной методики.

Идея Фанзелова находит дальнейшее развитие в статье психолингвистов И. и М. Шлезевских «The wolf in sheep's clothing: Against a new judgement-driven imperialism». Сравнивая метод извлечения суждений с нейролингвистическими методами нейровизуализации (такими как метод регистрации вызванных потенциалов мозга и функциональная магнитно-резонансная томография), авторы приходят к заключению, что данные, полученные методом извлечения суждений, представляют собой результат взаимодействия внутренних и внешних факторов (другими словами, факторов компетенции и употреб-

---

[20] В работе [Myers 2009] описана другая разновидность формальной экспериментальной процедуры извлечения суждений, получившая название «миниатюрный экспериментальный синтаксис» (англ. small-scale experimental syntax). По мнению автора, данная идея должна прийтись по душе тем генеративистам, которые не хотят тратить много времени на полномасштабное экспериментальное исследование, но будут рады возможности соблюсти все формальные требования без особых затрат времени и человеческих ресурсов. Для таких исследователей Майерс создал бесплатную программу MiniJudge (адрес в Интернете http://www.ccunix.ccu.edu.tw/~lngproc/MiniJudge.htm), в которой любой синтаксист может провести исследование с минимальным количеством испытуемых и стимульных предложений, необходимых для статистически надежных результатов. Кроме того, в отличие от методики Фетерстона, в данной программе используется бинарное шкалирование оценок.

ления), которые трудно развести между собой [Bornkessel-Schlesewsky, Schlesewsky 2007: 331]. Таким образом, Шлезевские ставят под сомнение ценность методики, предложенной Фетерстоном, так как она, на их взгляд, не помогает получить языковые данные «чистой» грамматичности.

Наконец, в статье Ньюмейера основное внимание уделяется вопросу бинарности или градуальности грамматичности/приемлемости. Как и большинство других авторов ответных статей, он не соглашается с идеей Фетерстона о градуальности грамматики, однако справедливо заключает, что увеличение числа испытуемых никак не приблизит нас к ответу на этот сложный вопрос [Newmeyer 2007: 399].

Таким образом, с одной стороны, в рамках методологических усовершенствований третьей волны некоторые лингвисты пытаются придумать все более экспериментально выверенные методы работы с языковым материалом. Однако, с другой стороны, лингвисты, придерживающиеся противоположных взглядов, также не останавливаются на достигнутом. Так, рассмотренные ниже работы Дж. Спрауса с коллегами продвигают методологию в обратном направлении.

Спраус замечает, что в последние годы появилось немало работ, написанных в основном психолингвистами, в которых утверждается, что метод неформального вынесения суждений не обладает необходимым уровнем надежности получаемых результатов. Ошибочные результаты таких исследований могут быть двух типов: ошибочно положительные и ошибочно отрицательные. Первые случаются, когда исследование показывает наличие некоторого значимого различия, хотя на самом деле его нет (подобные претензии к неформальным суждениям предъявляются в психолингвистических статьях [Edelman, Christiansen 2003; Ferreira 2005; Wasow, Arnold 2005; Gibson, Fedorenko 2010; Gibson, Fedorenko in press]), вторые – когда исследование не показывает различия, которое на самом деле существует [Keller 2000; Featherston 2007].

Спраус с коллегами решил проверить интуитивные суждения лингвистов, приводимые в различных научных работах, используя два метода: метод оценки величины стимула и обычный для формальных лингвистов метод бинарного выбора. Сначала авторы взяли для проверки все 469 примеров из популярного учебника синтаксиса [Adger 2003] и провели с этими стимулами эксперимент с участием 440 испытуемых [Sprouse, Almeida submitted]. Различие между неформальной интуицией лингвиста и формальными методами извлечения суждений оказалось равным 2%, т.е. меньше стандартного уровня значимости психолингвистических экспериментов, равного 5%. В следующей работе Спраус с коллегами провел аналогичное масштабное (264 человека) тестирование 292 предложений, выбранных из генеративных статей, опубликованных в одном из самых престижных лингвистических журналов «Linguistic inquiry» с 2001 по 2010 г. Полученное различие оказалось ровно на стандартном уровне значимости психолингвистических экспериментов в 5% [Sprouse et al. submitted]. Таким образом, выяснилось, что по крайней мере на проверенном материале метод неформального вынесения суждений не уступает формальным методам извлечения суждений, то есть при общепринятой генеративной практике вынесения суждений особой методологической катастрофы не происходит.

Отметим еще одну важную методологическую особенность третьей волны, которая состоит в переосмыслении роли метода оценки величины стимула в качестве «золотого стандарта». О важности этого вопроса говорит уже тот факт, что две статьи, посвященные этой теме, – [Weskott, Fanselow 2011] и [Sprouse 2011], опубликованные в журнале «Language», – были признаны лучшими статьями этого журнала за 2011 г. В работе [Weskott, Fanselow 2011] авторы экспериментально проверили гипотезу о том, что метод оценки величины стимула дает лучшие результаты по сравнению с бинарным методом или использованием семибалльной шкалы Ликерта.

(15)	Peter	hat erzählt	dass	der	Präsident	den	Scheich	empfangen	hat.
	Peter	has reported	that	the.NOM	president	the.ACC	sheik	received	has

(16)	Peter	hat erzählt	dass	den	Scheich	der	Präsident	empfangen	hat.
	Peter	has reported	that	the.ACC	sheik	the.NOM	president	received	has

В серии экспериментальных исследований, описанных в этой статье, одна группа испытуемых сначала проходила эксперимент, направленный на изучение особенностей порядка слов в немецком языке (ср. примеры (15) и (16)), с использованием бинарного метода оценки; через две недели те же испытуемые оценивали те же стимулы при помощи метода оценки величины стимула. Вторая группа испытуемых, начиная с того же бинарного метода, через две недели использовала семибалльную шкалу Ликерта. Авторы пришли к выводу, что метод оценки величины стимула не дает никаких преимуществ, а при некоторых обстоятельствах его результаты оказываются даже хуже тех, которые получаются при использовании традиционных методик.

В работе [Sprouse 2011] делается попытка дать объяснение этим и подобным им результатам. Спраус полагает, что основная проблема состоит в том, что в отличие от психофизики (где возможно, например, полное отсутствие звука) синтаксис не имеет настоящей нулевой точки, которая необходима для полноценного использования данной методики. Испытуемые, получая задание оценить величину стимула, выполняют его как задание оценки по шкале Ликерта; при этом неясность инструкции создает дополнительный шум, ухудшая в целом результаты экспериментов.

Подведем итоги. Анализируя динамику развития методологии вынесения/извлечения суждений о приемлемости в последние годы, мы наблюдаем существенный отход к исходным позициям, так как «золотой стандарт», на который возлагались большие надежды, себя не оправдал, а сам метод извлечения суждений в целом также не дает никаких особых преимуществ, при том что трудо- и временные затраты, которые приходится на него расходовать, оказываются очень велики. Как кажется, в целом развитие этой методологии за 50 лет представляет собой движение по спирали, когда, испробовав более «прогрессивные» методы работы с языковым материалом, исследователи постепенно возвращаются к старым проверенным средствам.

5. СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

В этом разделе мы оценим эксперимент на вынесение/извлечение суждений о приемлемости с точки зрения психолингвистики. Начнем с самого определения термина «эксперимент». Отечественная традиция экспериментирования в лингвистике идет от известной работы Щербы **«О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»** 1931 г., в которой автор пишет: «Большинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как к мертвым, т.е. накопляют языковой материал, иначе говоря – записывает тексты, а потом их обрабатывает по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом получаются мертвые словари и грамматики. Исследователь живых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т.е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом, в языкознание вводится принцип эксперимента. Сделав какое-нибудь предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или формообразования и т.п., следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный результат подтверждает правильность постулата и, что любопытно, сопровождается чувством большого удовлетворения, если подвергшийся эксперименту сознательно участвует в нем» [Щерба 1931/1974: 38]. Другими словами, эксперимент по Щербе – это и есть вынесение суждений о приемлемости на основании собственной интуиции, то есть именно та методика, которую мы описывали выше.

Однако по сути данный метод является методом интроспекции[21]. Данная «экспериментальная» процедура не удовлетворяет ни одному из приводимых ниже обязательных признаков естественнонаучного эксперимента. В строгом смысле слова **экспериментом** называется проверка некоторой научной гипотезы каузального характера[22] на основе применения определенных правил. Наиболее важными правилами экспериментирования являются контролируемость экспериментальных условий (об этом см. сноску 8 выше) и воспроизводимость результатов. В эксперименте исследователь манипулирует одним или несколькими факторами (которые принято называть независимыми переменными), определяя их воздействие на другой фактор (зависимую переменную). Проведя экспериментальное исследование с необходимым для получения статистически значимых результатов количеством испытуемых и стимульных выражений (в нашем случае предложений), он получает некоторые результаты, из которых впоследствии выводит надежные и валидные заключения. Надежность эксперимента – это воспроизводимость и стабильность его результатов в другом подобном исследовании, которое будет проведено тем же самым или иным исследователем. Валидность эксперимента – это степень достоверности выводов и заключений, сделанных на основе этого эксперимента. Традиционно экспериментальное исследование (в частности, в области психолингвистики) имеет высокую внутреннюю валидность, непосредственно связанную с контролируемостью условий эксперимента, и низкую экологическую валидность, так как часто те результаты, которые мы получаем в лабораторных условиях, плохо экстраполируются на реальное языковое поведение людей в реальной жизни.

Мы видим, что метод вынесения суждений о приемлемости совсем мало похож на строгую экспериментальную процедуру. Насколько ей соответствует метод извлечения суждений о приемлемости? Если мы проведем эксперимент по всем правилам парадигмы экспериментального синтаксиса, будет ли он соответствовать стандартам, принятым в экспериментальной психологии? Для ответа на этот вопрос нам сначала нужно определиться, можем мы привлекать к подобным исследованиям «тренированную интуицию» лингвистов или нам стоит ограничиться интуицией рядовых носителей языка.

Среди лингвистов генеративного направления до сих пор преобладает мнение, согласно которому максимально достоверные суждения о приемлемости дают сами лингвисты, иногда основываясь на собственной интуиции, иногда привлекая интуицию своих коллег [Newmeyer 1983: 50]. Однако что об этом говорят экспериментальные лингвисты? За пятидесятилетнюю историю генеративизма мы имеем не так много работ, в которых бы эти вопросы тестировались строго экспериментально. Первая значительная статья на эту тему была написана в 1973 г. Н. Спенсером, который взял 150 примеров из шести лингвистических статей того времени и сравнил «да/нет» – суждения 43 наивных носителей английского языка и 22 лингвистов [Spencer 1973]. Оказалось, что среди наивных носителей совпадало 80% суждений, а среди лингвистов – только 50%. В работе [Snow, Meijer 1977], однако, была получена высокая корреляция между ответами испытуемых лингвистов и нелингвистов; в работе [Gordon, Hendrick 1997], наоборот, были зафиксированы значимые различия. В недавней работе [Dąbrowska

---

[21] Так как в этом разделе речь идет о психологической составляющей, необходимо специально оговорить использование терминов «интуиция» и «интроспекция». В психологической традиции, идущей от В. Вундта, считалось, что при помощи интроспекции (интуиции) человек может осуществлять прямой доступ к своей когнитивной системе. Современная парадигма генеративного синтаксиса исходит из того, что метод вынесения/извлечения суждений является поведенческим продуктом работы когнитивной системы, а никак не методом прямого доступа к ментальной грамматике. Таким образом, мы отождествляем метод интроспекции и вынесения/извлечения суждений о приемлемости не совсем корректно.

[22] То есть гипотезы о причинно-следственной связи одного явления с другим. Если мы проверяем просто гипотезу о связи одного явления с другим, то, в соответствии с общепризнанной психологической практикой, подобное корреляционное исследование экспериментом в строгом смысле слова не является.

2010] автор сравнила суждения о приемлемости 38 наивных носителей английского языка и 38 лингвистов, дополнительно разделив вторую группу на генеративистов и функционалистов. Оказалось, что полученные значимые различия между лингвистами и нелингвистами могут быть объяснены тем, что лингвисты были более чувствительны к грамматической структуре предложения и менее чувствительны к его лексическому наполнению, в то время как наивные носители, наоборот, были более чувствительны к конкретной лексике, чем к грамматической структуре. Что касается различий между двумя группами лингвистов, то в целом функционалисты оказались ближе к наивным носителям языка, чем генеративисты. В результате Е. Домбровска делает общий вывод о нежелательности использования суждений лингвистов в синтаксических статьях.

Еще одним аргументов против привлечения лингвистов может служить тот факт, что металингвистические знания, которые испытуемый привлекает в ходе теста на извлечение суждений, могут повлиять на результаты эксперимента. Так, в медицине, биологии и психологии давно известен **эффект плацебо**, когда испытуемый констатирует улучшения в состоянии своего здоровья, принимая вместо лекарства вещество без лечебных свойств (обычно лактозу), только благодаря тому, что верит в эффективность данного препарата. Менее известен факт, что сами врачи чаще находят несуществующие улучшения в состоянии здоровья тех своих пациентов, которые принимают хорошие, на их взгляд, лекарства, по сравнению с ситуацией, когда врач не осведомлен в деталях о назначенном лечении [Noseworthy et al. 1994]. Подобные факты приводят медиков, биологов и психологов к необходимости использования процедуры **слепого** (англ. blind) исследования, когда испытуемый не знает, что именно интересует исследователя в данном конкретном исследовании, или даже **двойного слепого** (англ. double-blind) исследования, когда человек, проводящий исследование, не знаком с его целями. По замечанию Е. Домбровской, лингвист-синтаксист, полагающийся в своих исследованиях на свои собственные суждения о приемлемости, совмещает в одном лице и врача, и пациента описанного выше медицинского исследования: он не только описывает свое внутреннее состояние, но еще и интерпретирует его [Dąbrowska 2010][23].

Но в не утихающей до сих пор дискуссии есть и противоположные мнения. Так, М. Девит полагает, наоборот, что лингвисты-синтаксисты являются самыми лучшими испытуемыми подобных тестов. Он рассуждает следующим образом: (1) любой испытуемый выносит суждения, руководствуясь своей внутренней теорией относительно родного языка; (2) лингвисты обладают лучшей (по крайней мере, более полной) теорией, чем нелингвисты; (3) таким образом, суждения лингвистов представляют собой «более достоверные индикаторы синтаксической реальности» (подробнее см. [Devitt 2006]). Однако с этим не согласны авторы статьи [Culbertson, Gross 2009], которые провели эксперимент с 42 испытуемыми, разделенными на четыре группы: (1) лингвисты, имеющие значительный опыт в области синтаксиса; (2) студенты лингвистических специальностей, прослушавшие курс синтаксиса; (3) студенты когнитивных наук без синтаксического бэкграунда; (4) люди, не имеющие знаний в области когнитивных наук. Они не обнаружили различий между разными группами испытуемых[24] и пришли к выводу, что гипотеза Девита не верна. Однако точка в данной дискуссии еще не постав-

---

[23] Похожая критика содержится в работе [Wasow, Arnold 2005], в которой интроспективные суждения лингвистов называются **первичной интуицией** лингвистов, а интерпретация полученных интроспективных суждений – **вторичной интуицией** лингвистов. Авторы работы выступают против использования вторичной интуиции, что совпадает с известным высказыванием Лабова о том, что лингвисты не могут одновременно порождать и языковые данные, и теории, см. выше.

[24] Вернее, авторы работы [Culbertson, Gross 2009] обнаружили отсутствие высокой корреляции в группе 4, то есть среди испытуемых с отсутствием общекогнитивных знаний. Однако после изучения неформальных отчетов испытуемых, проведенных после завершения эксперимента, они сделали осторожный вывод о том, что данные испытуемые не отличаются от других по степени владения синтаксическими структурами, – скорее, они не имеют навыков работы с подобными опросниками [Culbertson, Gross 2009: 732].

лена, о чем можно судить по продолжающейся полемике на эту тему (см. [Devitt 2010; Gross, Culbertson 2011]).

Некоторые исследователи считают, что более серьезное различие между суждениями лингвистов и нелингвистов может быть связано с различиями в их предшествующем опыте. Когда лингвист часто сталкивается с неграмматичными или пограничными примерами, они начинают казаться ему более приемлемыми. Это явление, получившее название **синтаксического пресыщения** (англ. syntactic satiation) или **лингвистического недуга** (англ. linguists' disease), было экспериментально исследовано в работах [Stromswold 1986; Hiramatsu 1999; Snyder 2000]. Авторы отмечают, что многие лингвисты признают, что вместо того, чтобы чувствовать неграмматичность некоторой часто цитируемой синтаксической конструкции, они просто помнят суждения, приводимые в лингвистической литературе (см., например, [Snyder 2000: 575]).

Таким образом, существует довольно много разнообразных доводов против использования суждений лингвистов в экспериментальной практике. Однако что произойдет, если мы откажемся от использования лингвистов в качестве испытуемых и будем тестировать только наивных носителей языка? Во-первых, мы все равно не сможем решить проблему влияния металингвистических знаний испытуемого – даже самый лингвистически неподготовленный испытуемый, зная цель эксперимента, не может от этого абстрагироваться. Другими словами, внутренняя валидность таких исследований оказывается весьма низкой[25] (подробнее см. [Bresnan 2007]). Во-вторых, некоторые исследователи упоминают в связи с этой проблемой так называемый «феномен умного Ганса»[26] [Wasow, Arnold 2005]. Получается, что и метод извлечения суждений о приемлемости не может считаться экспериментом в строгом смысле слова, сохраняя все черты субъективности, присущие методу вынесения суждений о приемлемости.

В заключительном разделе мы подведем общие итоги дискуссии и обозначим свою позицию относительно перспектив развития данного направления исследований.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ

Подытоживая описанную выше дискуссию, мы сначала сформулируем вопросы, на которые надо так или иначе ответить, а затем опишем некоторые общие принципы работы с языковым материалом, которые представляются нам наиболее перспективными из всех вышеописанных. Разделим все вопросы на четыре блока:

(17) **Проблема использования интуиции лингвиста**:
(i) можно ли полагаться на интуицию лингвистов, (ii) нужно ли целиком полагаться на интуицию лингвистов или (iii) суждения лингвистов должны быть раз и навсегда исключены?

(18) **Проблема количества языковых данных**:
(i) можно ли использовать одиночные суждения носителей, (ii) нужно ли всегда заменять их масштабной процедурой в духе экспериментального синтаксиса или (iii) к этой процедуре стоит прибегать только в определенных ситуациях?

---

[25] Что касается экологической валидности извлечения суждений, то тут мнения исследователей в очередной раз расходятся: некоторые полагают, что человек в повседневной жизни довольно часто сталкивается с необходимостью оценивать предложения с точки зрения их правильности, – например, редактируя какой-либо документ или поправляя ошибки иностранца, изучающего данный язык; другие же считают, что такая деятельность не типична для повседневной жизни.

[26] Он состоит в том, что животные, которые как бы совершают трюки, требующие высоких умственных способностей, на самом деле могут реагировать на скрытые сигналы, бессознательно подаваемые человеком, проводящим исследование. Эффект, первоначально полученный при работе с животными, часто распространяют и на испытуемых-людей.

(19) **Проблема статуса теста на вынесение/извлечение суждений**:
(i) насколько тест на вынесение/извлечение суждений о приемлемости является экспериментом в строгом смысле слова, (ii) нужно ли дополнять его другими экспериментами?

(20) **Проблема противоречивости данных**:
как лучше выходить из ситуации противоречивых данных в тех случаях, когда не совпадают (i) суждения лингвистов и наивных носителей, (ii) суждения людей, знакомых и незнакомых с теоретической подоплекой исследования, или (iii) данные тестов на приемлемость и данные, полученные из других источников?

По нашему мнению, дальнейшего прогресса в этой области удастся достичь, руководствуясь следующими тремя принципами работы:

(21) **Принцип консенсуса**:
Если нет никаких оснований думать обратное, мы предполагаем, что одиночные суждения любого носителя (включая лингвиста) характеризуют всех говорящих на данном языке.

В предыдущих разделах мы показали, что в некоторых случаях суждения лингвистов отличаются от суждений наивных носителей языка, а суждения наивных носителей не являются надежными, то есть не воспроизводятся при проведении тестов с другими носителями. Однако такие рассогласования составляют мизерный процент от общего числа суждений и в любом случае должны, на наш взгляд, рассматриваться более пристально с использованием всего спектра доступных методов. Кроме того, до сих пор, насколько нам известно, не существует ни одного исследования, в котором было бы продемонстрировано, что различия в суждениях лингвистов и нелингвистов приводят к различиям в теоретических построениях.

(22) **Принцип языковых данных**:
Как тест на вынесение суждений о приемлемости, так и тест на извлечение суждений о приемлемости не является строгой экспериментальной процедурой. В случае рассогласования суждений исследователю стоит использовать как корпусные данные, так и строго экспериментальные.

Традиционно в лингвистике выделяется три метода сбора языкового материала – метод интроспекции, метод наблюдения в естественных условиях, составной частью которого является корпусный метод, а также метод эксперимента. Интроспекция, на которой основаны тесты на вынесение/извлечение суждений о приемлемости, не дает нам прямого доступа к когнитивной деятельности, поэтому мы не можем целиком полагаться только на нее. Наблюдение и эксперимент предоставляют дополнительные свидетельства, которые в отличие от интроспекции являются более объективными, хотя также не обеспечивают прямого доступа к ментальной грамматике.

(23) **Принцип валидности**:
Если в интроспективных суждениях имеются рассогласования, то валидное описание языка должно опираться на (i) суждения людей, незнакомых с теоретической подоплекой исследования; (ii) суждения лингвистов, а не наивных носителей языка; (iii) данные наблюдения и эксперимента, а не на интуицию.

Мы разделяем мнение Лабова и его сторонников о том, что знание теоретической подоплеки может оказывать влияние на выносимые лингвистом суждения, поэтому в сложных случаях исследователю стоит воздержаться от собственных оценок. В то же время именно в сложных случаях мнение других лингвистов может оказаться более ценным, чем мнение наивных носителей, а данные интроспекции следует дополнять данными наблюдения и эксперимента.

Таким образом, на наш взгляд, методология экспериментального синтаксиса не находит своей ниши – она неоправданно усложняет сбор примеров в тривиальных

случаях, которые составляют подавляющее большинство всего языкового материала, и мало помогает в сложных случаях, в которых нужно использовать подлинные экспериментальные техники, к числу которых методы экспериментального синтаксиса не относятся.

По нашему мнению, для достижения дальнейшего прогресса в этой области генеративным лингвистам не стоит расходовать силы на усложнение процедуры сбора языкового материала, а стоит сосредоточиться на задаче, которая до сих пор остается по сути нерешенной, а именно задаче вычленения «чистой» грамматичности из приемлемости. Именно в этой задаче, на наш взгляд, усилия лингвистов должны быть поддержаны усилиями психолингвистов, которым еще только предстоит найти и тщательным образом изучить все те дополнительные факторы, которые оказывают влияние на грамматические правила при использовании предложений в реальной речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Слобин, Грин 1976 – *Д. Слобин, Дж. Грин*. Психолингвистика. М., 1976.

Слобин, Грин 2004 – *Д. Слобин, Дж. Грин*. Психолингвистика. М., 2004.

Соссюр 2004 – *Ф. де Соссюр*. Курс общей лингвистики. М., 2004.

Фрумкина 2009 – *Р.М. Фрумкина*. Психолингвистика как проект // Текст доклада XVI Симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации «Психолингвистика в XXI веке: результаты, проблемы, перспективы». 2009. http://polit.ru/article/2009/06/15/psyling/

Хилл 1962 – *А. Хилл*. О грамматической отмеченности предложений // ВЯ. 1962. № 4.

Хомский 1962 – *Н. Хомский*. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.

Щерба 1931 (1974) – *Л.В. Щерба*. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Adger 2003 – *D. Adger*. Core syntax: A minimalist approach. Oxford, 2003.

Bader, Häussler 2010 – *M. Bader, J. Häussler*. Toward a model of grammaticality judgments // Journal of linguistics. 2010. V. 46. № 2.

Baltin, Collins 2001 – *M.R. Baltin, C. Collins*. The handbook of contemporary syntactic theory. Blackwell, 2001.

Bard et al. 1996 – *E.G. Bard, D. Robertson, A. Sorace*. Magnitude estimation of linguistic acceptability // Language. 1996. V. 72.

Boersma, Hayes 2001 – *P. Boersma, B. Hayes*. Empirical tests of the gradual learning algorithm // Linguistic inquiry. 2001. V. 32.

Bolinger 1961 – *D.L.M. Bolinger*. Generality, gradience, and the all-or-none. The Hague, 1961.

Bornkessel-Schlesewsky, Schlesewsky 2007 – *I. Bornkessel-Schlesewsky, M. Schlesewsky*. The wolf in sheep's clothing: Against a new judgment-driven imperialism // Theoretical linguistics. 2007. V. 33. № 3.

Bresnan 2007 – *J. Bresnan*. Is syntactic knowledge probabilistic? Experiments with the English dative alternation // S. Featherston, W. Sternefeld (eds.). Linguistics in search of its evidential base. Berlin, 2007.

Bybee 2006 – *J.L. Bybee*. From usage to grammar: The mind's response to repetition // Language. 2006. V. 82. № 4.

Bybee, Eddington 2006 – *J.L. Bybee, D. Eddington*. A usage-based approach to Spanish verbs of becoming // Language. 2006. V. 82. № 2.

Chomsky 1957 – *N. Chomsky*. Syntactic structures. The Hague; Paris, 1957.

Chomsky 1964 – *N. Chomsky*. Degrees of grammaticalness // J. Fodor, J. Katz (eds.). The structure of language: Readings in the philosophy of language. New York, 1964.

Chomsky 1965 – *N. Chomsky*. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, 1965.

Chomsky 1968 – *N. Chomsky*. Language and mind. New York, 1968.

Chomsky 1986 – *N. Chomsky*. Knowledge of language: Its nature, origin, and use. New York, 1986.

Clark 2005 – *B. Clark*. On Stochastic grammar // Language. 2005. V. 81. № 1.

Cowart 1997 – *W. Cowart*. Experimental syntax: Applying objective methods to sentence judgments. London, 1997.

Culbertson, Gross 2009 – *J. Culbertson, S. Gross*. Are linguists better subjects? // The British journal for the philosophy of science. 2009. V. 60. № 4.

Dąbrowska 2010 – *E. Dąbrowska*. Naive v. expert intuitions: An empirical study of acceptability judgments // The linguistic review. 2010. V. 27. № 1.
Devitt 2006 – *M. Devitt*. Ignorance of language. Oxford, 2006.
Devitt 2010 – *M. Devitt*. Linguistic intuitions revisited // British journal for the philosophy of science. 2010. V. 61.
Dresher 1995 – *E. Dresher*. There's no reality like psychological reality // Glot international. 1995. V. 7.
Edelman, Christiansen 2003 – *S. Edelman, M. Christiansen*. How seriously should we take Minimalist syntax? // Trends in cognitive sciences. 2003. V. 7.
Fanselow 2007 – *G. Fanselow*. Carrots perfect as vegetables, but please not as a main dish // Theoretical linguistics. 2007. V. 33. № 3.
Featherston 2002 – *S. Featherston*. Coreferential objects in German: Experimental evidence on reflexivity // Linguistische Berichte. 2002. V. 192.
Featherston 2005 – *S. Featherston*. Universals and grammaticality: Wh-constraints in German and English // Linguistics. 2005. V. 43.
Featherston 2007 – *S. Featherston*. Data in generative grammar: The stick and the carrot // Theoretical linguistics. 2007. V. 33. № 3.
Featherston 2009 – *S. Featherston*. A scale for measuring well-formedness: Why syntax needs boiling and freezing points // S. Featherston, S. Winkler (eds.). The fruits of empirical linguistics: Process. Berlin; New York, 2009.
Ferreira 2005 – *F. Ferreira*. Psycholinguistics, formal grammars, and cognitive science // The linguistic review. 2005. V. 22.
Gibson, Fedorenko 2010 – *E. Gibson, E. Fedorenko*. Weak quantitative standards in linguistics research // Trends in cognitive sciences. 2010. V. 14.
Gibson, Fedorenko in press – *E. Gibson, E. Fedorenko*. The need for quantitative methods in syntax and semantics research // Language and cognitive processes. In press.
Gordon, Hendrick 1997 – *P. Gordon, R. Hendrick*. Intuitive knowledge of linguistic co-reference // Cognition. 1997. V. 62. № 3.
Greene 1972 – *J. Greene*. Psycholinguistics: Chomsky and psychology. London, 1972.
Grewendorf 1988 – *G. Grewendorf*. Aspekte der Deutschen Syntax. Eine Rektions-Bindungs-Analyse. Tübingen, 1988.
Gross, Culbertson 2011 – *S. Gross, J. Culbertson*. Revisited linguistic intuitions // British journal for the philosophy of science. 2011. V. 62.
Hill 1961 – *A.A. Hill*. Grammaticality // Word. 1961. V. 17.
Hiramatsu 1999 – *K. Hiramatsu*. What syntactic satiation can tell us about islands // Papers from the regional meetings, Chicago linguistic society. 1999. V. 35.
Hopper 1987 – *P. Hopper*. Emergent grammar // Berkeley linguistics society. 1987. V. 13.
Householder 1973 – *F.W. Householder*. On arguments from asterisks // Foundations of language. 1973. V. 10. № 3.
Jakobson 1959/1971 – *R. Jakobson*. Boas' view of grammatical meaning // R. Jakobson. Selected writings. V. 2. The Hague; Paris, 1971.
Keller 2000 – *F. Keller*. Gradience in grammar: Experimental and computational aspects of degrees of grammaticality. Ph.D. thesis. Edinburgh, 2000.
Labov 1972 – *W. Labov*. Where do grammars stop? // R. Shuy (ed.). Georgetown monograph on languages and linguistics. 1972. V. 25.
Labov 1975 – *W. Labov*. What is a linguistic fact? (PdR Press publications in linguistic theory. V. 1.) Lisse, 1975.
Labov 1996 – *W. Labov*. When intuitions fail // L. McNair, K. Singer, L.M. Dobrin, M.M. and AuCoin (eds.). CLS 32: Papers from the parasession on theory and data in linguistics. Chicago, 1996.
Langacker 1987 – *R.W. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 1. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.
Langacker 1988 – *R.W. Langacker*. A usage-based model // B. Rudzka-Ostyn (ed.). Topics in cognitive linguistics. Amsterdam, 1988.
Likert 1932 – *R. Likert*. A technique for the measurement of attitudes // Archives of psychology. 1932. V. 140.
Myers 2009 – *J. Myers*. The design and analysis of small-scale syntactic judgment experiments // Lingua. 2009. V. 119.
Newmeyer 1983 – *F.J. Newmeyer*. Grammatical theory, its limits and its possibilities. Chicago, 1983.
Newmeyer 2003 – *F.J. Newmeyer*. Grammar is grammar and usage is usage // Language. 2003. V. 79. № 4.

Newmeyer 2007 – *F.J. Newmeyer.* Commentary on Sam Featherston «Data in generative grammar: The stick and the carrot» // Theoretical linguistics. 2007. V. 33. № 3.
Noseworthy et al. 1994 – *J.H. Noseworthy, G.C. Ebers, M.K. Vandervoort, R.E. Farquhar, E. Yetisir, R. Roberts.* The impact of blinding on the results of a randomized, placebo-controlled multiple sclerosis clinical trial // Neurology. 1994. V. 44.
Phillips 2009 – *C. Phillips.* Should we impeach armchair linguists? // S. Iwasaki et al. (eds.). Japanese/ Korean linguistics (CSLI Publications). 2009. V. 17.
Roeper 1982 – *T. Roeper.* Review of Halle, Bresnan and Miller (eds.). Linguistic theory and psychological reality // Language. 1982. V. 52.
Sampson 2007 – *G.R. Sampson.* Grammar without grammaticality // Corpus linguistics and linguistic theory. 2007. V. 3.
Sapir 1933 – *E. Sapir.* La réalité psychologique des phonèmes // Journal de psychologie normale et pathalogique. 1933. V. 30.
Schütze 1996 – *C.T. Schütze.* The empirical basis of linguistics. Chicago, 1996.
Schütze 2011 – *C.T. Schütze.* Linguistic evidence and grammatical theory // Cognitive science. 2011. V. 2. № 2.
Slobin 1971 – *D.I. Slobin.* Psycholinguistics. Glenview, 1971.
Snow, Meijer 1977 – *C. Snow, G. Meijer.* On the secondary nature of syntactic intuitions // S. Greenbaum (ed.). Acceptability in language. The Hague, 1977.
Snyder 2000 – *W. Snyder.* An experimental investigation of syntactic satiation effects // Linguistic inquiry. 2000. V. 31.
Spencer 1973 – *N.J. Spencer.* Differences between linguists and nonlinguists in intuitions of grammaticality–acceptability // Journal of psycholinguistic research. 1973. V. 2. № 2.
Sprouse 2011 – *J. Sprouse.* A test of the cognitive assumptions of magnitude estimation: Commutativity does not hold for acceptability judgments // Language. 2011. V. 87. № 2.
Sprouse, Almeida submitted – *J. Sprouse, D. Almeida.* A formal experimental investigation of the empirical foundation of generative syntactic theory. Submitted.
Sprouse et al. submitted – *J. Sprouse, C.T. Schütze, D. Almeida.* Assessing the reliability of journal data in syntax: Linguistic inquiry 2001–2010. Submitted.
Stevens 1956 – *S.S. Stevens.* The direct estimation of sensory magnitudes – loudness // American journal of psychology. 1956. V. 69.
Stromswold 1986 – *K. Stromswold.* Syntactic satiation. Manuscript. MIT; Cambridge, 1986.
Valian 1982 – *V. Valian.* Psycholinguistic experiment and linguistic intuition // T.W. Simon, R.J. Scholes (eds.). Language, mind, and brain. Hillsdale, 1982.
Wasow 2009 – *T. Wasow.* Gradient data and gradient grammars // Proceedings of the 43rd Annual meeting of the Chicago linguistics society. 2009.
Wasow, Arnold 2005 – *T. Wasow, J. Arnold.* Intuitions in linguistic argumentatios // Lingua. 2005. V. 115. № 11.
Weskott, Fanselow 2011 – *T. Weskott, G. Fanselow.* On the informativity of different measures of linguistic acceptability // Language. 2011. V. 87. № 2.

Сведения об авторе:

Ольга Викторовна Федорова
МГУ им. М.В. Ломоносова
olga.fedorova@msu.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. Л.Н. ИОРДАНСКАЯ, И.А. МЕЛЬЧУК

НАРЕЧИЕ *ОДНАЖДЫ*: НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВРЕМЕННÓЙ СПЕЦИФИКАТОР

Предлагается лексикографическое описание двух лексем наречия ОДНАЖДЫ: это количественное ОДНАЖДЫ**1** (*Он был там только однажды*) и временнóе местоименное ОДНАЖДЫ**2** (*Шел он однажды домой из школы*). Аналогично слабонеопределенным местоимениям (типа КОЕ-ЧТО) ОДНАЖДЫ**2** [Q] обладает следующей характеристикой: соответствующие референты – время факта Q и сам факт Q – неидентифицируемы для Адресата. Неидентифицируемость факта Q задается в терминах трех свойств его референта: необязательность (= факультативность: самоубийство – в отличие от смерти), повторимость (инфаркт – в отличие от самоубийства) и ординарность (посещение кинотеатра – в отличие от инфаркта); в случае, если референт не обладает хотя бы одним из этих свойств, употребить ОДНАЖДЫ**2** в соответствующей фразе нельзя (**Однажды она покончила жизнь самоубийством*: самоубийство необязательно, но неповторимо и неординарно).

Ключевые слова: русский язык, семантика, лексикография, временнóе наречие, неопределенное местоимение, неидентифицируемость референта

We propose a lexicographic description of the two lexemes of the adverb ODNAŽDY 'once, one day': the quantitative ODNAŽDY**1** (*On byl tam tol'ko odnaždy* 'He has been there only once') and the temporal pronominal ODNAŽDY**2** (*Šël on odnaždy domoj iz školy* 'One day he was walking home from school'). Similarly to weakly indefinite pronouns (such as KOE-ČTO ≈ 'something'), ODNAŽDY**2** [Q] has the following characteristic: the corresponding referents – the time of the fact Q and the fact Q itself – are non-identifiable for the Addressee. Q's non-identifiability is specified in terms of three properties of its referent: optionality (e.g., suicide – as opposed to death), repeatability (e.g., a heart attack – as opposed to suicide), and triviality (e.g., a visit to the movies – as opposed to a heart attack); if the referent lacks at least one of these properties, the use of ODNAŽDY**2** in the corresponding sentence is ungrammatical (**Odnaždy ona pokončila žizn' samoubijstvom* 'One day she committed suicide': a suicide is optional, but non-repeatable and non-trivial).

Keywords: Russian, semantics, lexicography, temporal adverb, indefinite pronoun, non-identifiability of the referent

ВВЕДЕНИЕ

Однажды нам попалась книжка, где упоминалась Изабелла Купер, возлюбленная генерала Макартура. И там нам бросилась в глаза фраза (1):

(1) *После этого Изабелла Купер поселилась в одном из городов Среднего Запада, а затем перебралась в Лос-Анджелес, где она однажды покончила жизнь самоубийством.*

Эта фраза явно неправильна: употребление временнóго наречия ОДНАЖДЫ в данном контексте недопустимо. Возникает естественное желание понять, чтó именно обусловливает эту недопустимость. Очевидно, что дело здесь в смысле ОДНАЖДЫ. Мы заглянули в словари: вслед за Ушаковым и Ожеговым МАС предлагает вместо толкования синонимы КАК-ТО РАЗ и КОГДА-ТО. Первое (по времени) формально правильное определение находим в [Леонтьева 1964: 45]: ОДНАЖДЫ X значит 'в какой-то отрезок времени X' (при этом считается, что 'отрезок' может быть и 'моментом'). Однако это

определение недостаточно: *В какой-то момент она покончила жизнь самоубийством* – правильная фраза, а **Однажды она покончила жизнь самоубийством* – нет; следовательно, смысл 'однажды' содержит еще какие-то компоненты, которые исключают его комбинацию со смыслом 'совершить самоубийство'. Поиски этих компонентов заняли год: ОДНАЖДЫ оказалось твердым орешком. Нам пришлось перебрать значительное количество примеров и перепробовать много вариантов описания.

Ниже предлагается результат проведенного исследования: лексикографическое описание наречия ОДНАЖДЫ.

1. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОКАБУЛЫ *ОДНАЖДЫ*

Местоименное наречие ОДНАЖДЫ имеет два значения, т.е., выражаясь более точно, эта вокабула содержит две лексемы: количественное наречие ОДНАЖДЫ1 и местоименное наречие ОДНАЖДЫ2.

1.1. Семантемы, используемые в толкованиях

Мы начнем с характеристики семантем, используемых ниже в качестве компонентов толкований интересующих нас лексем; приводятся не все значения рассматриваемых слов, а лишь те, которые понадобятся нам в дальнейшем.

► ОДИН X

1. числительное, количественное: 'X в количестве 1'[1] (*Прошла ровно одна неделя*).
2. прилагательное, местоименное, слабонеопределенное: 'один**1** X, неидентифицируемый для Адресата' (*Ехал вчера один грузовик по бетонке*)[2].

'Один**2**' соответствует одному из значений неопределенного артикля, представленному, например, в английских фразах (2):

(2) a. ***A** student came to see me yesterday to discuss his term paper.*
'Вчера приходил ко мне один студент обсуждать свою курсовую'.
b. ***A** student came to see you yesterday when you were absent.*
'Вчера, когда тебя не было, к тебе приходил один студент'.

В (2) английский неопределенный артикль, так же, как и русское 'один**2**', выражает исключительно неидентифицируемость X-а для Адресата; идентифицируемость / неидентифицируемость X-а для Говорящего нерелевантна. В самом деле, в ситуации (2a) неидентифицируемость X-а для Говорящего предположить трудно; в (2b), напротив, Говорящий мог и не встретиться с пришедшим студентом и в таком случае он не способен его идентифицировать. Что касается Адресата, то и в (2a) и в (2b) он точно не видел студента.

Поскольку свойство идентифицируемости X-а играет в данной работе кардинальную роль, уточним используемую терминологию.

• X **идентифицируем** для Y-а, если и только если в рамках рассматриваемой ситуации, т.е. в сознании Y-а, имеется ровно один**1** X, так что для Y-а не существует выбора между разными X-ами. Так, слово ДВЕРЬ во фразе *Дверь была открыта*, относящейся

---

[1] Всякое количественное числительное употребляется и как имя соответствующего числа, и как задание количества, ср.: *три плюс семь* vs. *три дома, семь улиц* и т. п. В нашем описании мы игнорируем этот факт.

[2] Чтобы не перегружать изложение, мы отвлекаемся от случаев типа (i), где речь идет о группе X-ов:

(i) ***Одни знакомые** говорили мне, что это хороший фильм.*

Здесь очевидным образом говорится об **одной группе** знакомых, выступающей как единое целое (ср.: *Некоторые знакомые говорили мне...*, где такое единство не предполагается).

к комнате с одной дверью, указывает на дверь, автоматически идентифицируемую для обоих собеседников; если же в комнате имеется несколько дверей, слово ДВЕРЬ не позволяет Адресату идентифицировать какую-либо одну дверь[3].

• Необходимо различать идентифицируемость X-а отдельно для Говорящего и отдельно для Адресата [Падучева 1985: 87–93], что дает четыре логически возможных комбинации, из которых на практике возможны три: 1) X идентифицируем для обоих участников речевого акта (*Иван читал **эту книгу***), 2) X неидентифицируем для Адресата, а идентифицируемость для Говорящего нерелевантна (*Иван прочел **одну книгу** на эту тему*; *Иван прочел **кое-что** на эту тему*) и 3) X неидентифицируем ни для одного из них (*Иван читал **какую-то книгу***). Комбинация 4 – X идентифицируем для Адресата, но не для Говорящего – нереализуема по самой природе речевого акта. В соответствии с данной типологией различаются следующие основные подклассы местоимений [Падучева 1985: Часть Вторая]: **определенные** (в частности указательные, комбинация 1) и **неопределенные** (комбинации 2 и 3). Неопределенные местоимения подразделяются на **слабонеопределенные** (= «слабоопределенные» у Падучевой, комбинация 2) и **сильнонеопределенные** (= «местоимения неизвестности» у Падучевой, комбинация 3)[4]. Рассматриваемое здесь местоименное прилагательное ОДИН**2** относится к слабонеопределенным местоимениям; как будет показано, к ним же принадлежит местоименное наречие ОДНАЖДЫ.

► НЕКИЙ**1** X, прилагательное, местоименное, слабонеопределенное: ‘неважно какой один**2** X’

(*Возьмем некий отрезок*; *Он дал интервью некоему московскому журналисту*).

[НЕКИЙ**2**, прилагательное, местоименное, сильнонеопределенное: ‘какой-то’ (*некое беспокойство*; *некий Петров*)].

► МОМЕНТ [ВРЕМЕНИ], существительное, муж.: ‘временна́я точка’ (без протяженности).

► ПРОМЕЖУТОК [ВРЕМЕНИ], существительное, муж.: ‘временно́й отрезок’ (ограниченный с обеих сторон).

► РАЗ[2], существительное, муж.: ‘——’.
Пустое слово, служащее для образования приглагольной – т. е. наречной – формы числительного: *пять поцелуев ~ поцеловал пять раз*.

[РАЗ[1], числительное: ‘один**1**’, употребляется только при счете (*Раз, два, три!*);
РАЗ[3], наречие, временно́е: ‘однажды**2** в прошлом’ (*Раз шел я по улице и вдруг вижу...*)].

1.2. Вокабула ОДНАЖДЫ

ОДНА́ЖДЫ, наречие
Однажды1, наречие, количественное
Толкование
*Однажды**1** в T [Q]*[5]: ‘[Динамический факт Q имеет/имел/будет иметь место] один**1** раз[2] в промежуток времени T, максимальный для данной ситуации или не меньший одного**1** часа’

---

[3] В рамках данной статьи понятие идентифицируемости применяется только к считаемым объектам, к которым, например, не относятся вещества.

[4] Чисто терминологически выражение «слабоопределенные местоимения» представляется неудачным: *слабоопределенные* местоимения являются подклассом ***неопределенных***; «местоимения неизвестности» также являются подклассом неопределенных местоимений, что не видно из самого термина.

[5] Хотя наречие ОДНАЖДЫ синтаксически зависит от вершины предложения Q как временной сирконстант, семантическая зависимость здесь обратная: Q является семантическим актантом ОДНАЖДЫ; именно это «расхождение» семантики и синтаксиса показано квадратными скобками вокруг Q.

Модель управления

T ⇔ II
1. *в* $S_{ВИН}$
2. *в* $S_{ПРЕДЛ}$
3. *за* $S_{ВИН}$

1) Если 'T' – 'максимальный', то либо $C_{II} = C_{II.2}$, либо C_{II} = — [T остается невыраженным].
2) $C_{II.1}$: (i) S ≠ *жизнь* **и** 'S' не имеет конкретно-референтного статуса;
(ii) употребление этой конструкции с ОДНАЖДЫ ряду носителей языка представляется нежелательным.
3) $C_{II.2}$: S = *жизнь*.
4) $C_{II.3}$: (i) либо S→ВЕСЬ/ЦЕЛЫЙ/ЭТОТ, либо S→NUM;
(ii) $C_{II.3}$ часто подвергается синтаксическому подъему к глаголу-сказуемому, см. (12b).

Коммуникативные свойства

ОДНАЖДЫ**1** употребляется только как выражение ремы.

Лексические функции

Syn : ОДИН**1** РАЗ², РАЗ²
Anti : МНОГО РАЗ²

Примеры

(3) *Ты пробовала маслины только однажды, а я много раз.*
(4) *Фактически мы ездили два раза в день, лишь однажды – три раза.*
(5) *Жизнь дается человеку лишь однажды.*
(6) *Я хочу побывать там хотя бы однажды.*
(7) *Супруг хочет всего однажды в неделю? Пожалуйста!*
(8) *Автобусы сюда наведываются лишь однажды в час.*
(9) *Он побывал в Мадриде лишь однажды (в жизни ⟨за всю жизнь⟩).*
(10) *У черноголовых капуцинов спаривание происходит однажды в день.*
(11) *Пить по 3–5 капель однажды в день до еды.*
(12) a. *Она открыла глаза лишь однажды за все утро ⟨за три часа⟩.*
b. *За все утро ⟨За три часа⟩ она открыла глаза лишь однажды.*
(13) **однажды в минуту ⟨за минуту⟩*; правильно: *один раз в минуту.*
(14) *Кошки не однажды спасали Рим.*

Комментарии

1) ОДНАЖДЫ1 – количественное наречие.

ОДНАЖДЫ1 – это наречное, т. е. приглагольное, «воплощение» числительного смысла 'один**1**'; ср. ДВА ~ ДВАЖДЫ, ТРИ ~ ТРИЖДЫ и ЧЕТЫРЕ ~ ЧЕТЫРЕЖДЫ.

2) Компонент 'динамический факт'[6].

В толковании наречия ОДНАЖДЫ**1** семантический актант Q – это динамический факт, т.е. событие, процесс (как последовательность событий), действие или деятельность (как последовательность действий), а также актуальное состояние (включая актуальное местонахождение); динамические факты счетны и противопоставлены несчетным статическим фактам. С названиями статических фактов – постоянных свойств (15a), постоянных отношений (16) и постоянных состояний (17a)–(18a) – ОДНАЖДЫ**1** не сочетается:

(15) a. **Маша была умна только однажды.*
b. *Маша поступила умно только однажды.*
(16) **Маша была дочерью известного врача только однажды.*
(17) a. **Маша была болезненной только однажды в жизни.*
b. *Маша была больна только однажды в жизни.*

---

[6] Смысловой компонент 'факт' используется нами как родовое понятие для всех предикативных смыслов: 'факт' – это 'ситуация', 'событие', 'состояние', 'действие', 'деятельность', 'процесс', 'отношение', 'свойство' и т. д. 'Факты' противопоставляются 'сущностям', каковые включают 'предметы', 'существа', 'вещества', 'локализации' и т. д. 'Факт' – это то, про что можно сказать, что это *имеет место*.

(18) a. **Индейцы населяли этот остров только однажды.*
b. *Маша жила на этой даче только однажды.*

В ряде случаев, когда глагол, выражающий динамический факт Q, стоит в совершенном виде, ОДНАЖДЫ**1** невозможно (**Она приехала к нам только однажды*; на данную трудность нам указал Ю.Д. Апресян). Соответствующий запрет, однако, связан со значениями русского совершенного вида, так что его обсуждение выходит за рамки данной статьи.

3) Компонент '[T,] **максимальный для данной ситуации или не меньший одного1 часа**'.

Этот семантический компонент отражает две возможности употребления наречия ОДНАЖДЫ**1**: либо в случае, когда нечто происходит один раз за весь период, мыслимый для Q; либо в случае, когда нечто происходит в четко ограниченный промежуток времени, каковой должен быть не меньше часа. Так, фразу (3), где T не конкретизирован, нельзя употребить, если речь идет об одном застолье: в таком случае надо сказать *один раз*, а не **однажды*; в (3) имеется в виду количество пробований маслин за всю жизнь. Ограниченность явно заданного T одним часом демонстрируется невозможностью примеров типа (13).

Однажды2, наречие, местоименное, слабонеопределенное, временно́е

Толкование

Однажды2 [*Q*]: '[Один**2** динамический факт Q имел или будет иметь место] в некий**1** промежуток или момент времени **t**, причем **t** отделен от момента речи или от начала ситуации, во время которой Q имел или будет иметь место, значительным промежутком времени'

Коммуникативные свойства

1. ОДНАЖДЫ**2** не может употребляться ни в качестве ремы, ни в качестве темы предложения; смысл 'однажды**2**' выступает либо как спецификатор[7], либо как нефокусная часть ремы.
2. ОДНАЖДЫ**2** не может употребляться в высказывании, ориентированном на реакцию Адресата, т. е. это наречие не может быть элементом вопросительного или побудительного предложения и не может оказаться в сфере действия модального предиката (см. [Падучева 1985: 212] об аналогичном поведении местоимений на -ТО).

Синтаксические свойства

1. ОДНАЖДЫ**2** допускает следующую поверхностно-синтаксическую трансформацию подъема:
ОДНАЖДЫ**2**←$V_{\text{ДЕЕПР}}$←$V_{\text{ЛИЧН}}$ ≡ ОДНАЖДЫ**2**←$V_{\text{ЛИЧН}}$→$V_{\text{ДЕЕПР}}$ | ОДНАЖДЫ**2** + $V_{\text{ДЕЕПР}}$ +…
…+ $V_{\text{ЛИЧН}}$ (см. (41))
[« X + Y » означает 'X предшествует Y']
2. ОДНАЖДЫ**2** употребляется в эллиптичных фразах вида *однажды* + обстоятельство времени / места, выступающих в качестве заголовков.

Лексические функции

$Syn_{\cap}$: РАЗ[3], ⌜ОДИН РАЗ⌝, КАК-ТО, ⌜КАК-ТО РАЗ⌝; ⌜В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ⌝, ⌜В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ⌝; КОГДА-ТО, НЕКОГДА**II**[8]; КОГДА-НИБУДЬ

---

[7] Коммуникативный спецификатор – это та часть смысла фразы, которая не относится ни к реме, ни к теме; спецификаторы выражают 1) обстоятельства, при которых имеет место факт Q, 2) отношение Говорящего к Q или 3) связь Q с предыдущим контекстом. См. [Mel'čuk 2001: 96 ff.].

[8] [X-у] НЕКОГДА**I** ≈ '[у X-а] нет времени'.

Примеры

(19) a. *Однажды я отдыхал в Египте.*
b. **Однажды я отдыхал в Египте несколько раз.*
(20) *Однажды младшая сестра пригласила Бетти на концерт.*
(21) *Однажды в нашу музыкальную школу пришел композитор Кабалевский.*
(22) *Однажды лев, слон, жираф и олень поспорили, кто из них быстрее всех бегает.*
(23) *Однажды президентом этой организации станет азиат.*
(24) *Вся реклама перейдет однажды на цифровое кодирование.*
(25) a. *Он путешествовал в горах и однажды споткнулся и упал.*
b. *Он шел по тропинке и *однажды* ⟨правильно: *в какой-то момент*⟩ споткнулся и упал.*
(26) *В Подмосковье однажды горели торфяники.*
(27) *Но в 1990 году происходит несчастье: годами налаженный механизм однажды дает сбой.*
(28) *А потом однажды я читаю: вчера в Рейкьявике состоялась очередная партия матча на первенство мира; на 42-м ходу победили черные.*
(29) *Все слова на свете были однажды ⟨≈ когда-то⟩ сказаны.*
(30) *Но было несколько страниц, прочтенных мне однажды вечером.*
(31) a. *А ты отдыхал *однажды* ⟨правильно: *когда-нибудь*⟩ в Египте?*
b. *Отдохни *однажды* ⟨правильно: *когда-нибудь*⟩ в Египте!*
c. *Надо, чтобы ты *однажды* ⟨правильно: *когда-нибудь*⟩ отдохнул в Египте.*
(32) a. *Однажды вечером.*
b. *Однажды в Риме.*

Комментарии

1) ОДНАЖДЫ2 – слабонеопределенное наречие.

• **‘Однажды Q’ ⊃ ‘неважно, когда Q’.** Слабонеопределенность наречия ‘однажды**2**’ выражена двумя смысловыми компонентами в его толковании:

– Компонент ‘некий**1**’ выступает в ядре толкования, характеризуя время **t**, относительно которого Говорящий сообщает, что оно неидентифицируемо для Адресата и что это неважно;

– Компонент ‘один**2**’ является одним из ограничений на актант Q и указывает только на его неидентифицируемость.

• **Единичность промежутка/момента времени t и факта Q**. Смысл ‘один**1**’, входящий как в смысл ‘один**2**’, так и в смысл ‘некий**1**’ (‘некий**1**’ ⊃ ‘один**2**’, ‘один**2**’ ⊃ ‘один**1**’), обусловливает невозможность многократного Q, что́ имеет место в (19b); ср. также:

(33) a. **Однажды Иван ходил по вечерам в кино.*
b. *Однажды Иван пошел вечером в кино.*
(34) a. **Однажды Иван перестал работать над книгой*
[здесь Q, т. е. ‘работать над книгой’, – многократный факт, а именно – многие сеансы работы; фазовый глагол ПЕРЕСТАТЬ не является частью этого факта].
b. *Однажды Иван перестал работать над книгой в полдень*
[здесь Q – однократный факт: один конкретный сеанс работы].
c. *Однажды Иван несколько раз пытался войти в эту комнату, но не сумел*
[здесь Q – однократный факт, состоящий из нескольких попыток].

Таким образом, ОДНАЖДЫ**2** чувствительно к противопоставлению узуального и актуального Q.

• **Неидентифицируемость для Адресата**. Смысл ‘неидентифицируемый для Адресата’, входящий в смыслы ‘один**2**’ и ‘некий**1**’, делает ОДНАЖДЫ**2** слабонеопределенным местоименным наречием: во фразе типа *Однажды**2** Q* ни время факта Q, ни сам факт Q неидентифицируемы для Адресата, но могут быть идентифицируемы для Говорящего (о том, как понимать неидентифицируемость факта Q, мы будем подробно говорить в разделе **3**). Аналогично ОДНАЖДЫ**1** лексема ОДНАЖДЫ**2** является «наречной формой» местоименного прилагательного ОДИН**2**.

Слабонеопределенность наречия ОДНАЖДЫ2 обусловливает ряд его свойств:

• Слабонеопределенность времени **t** исключает употребление ОДНАЖДЫ2 для характеристики фактов, имеющих место в настоящее время, т. е. в момент речи, ибо момент речи полностью идентифицируем для обоих участников речевого акта. ОДНАЖДЫ2 может относиться только к прошедшему (большинство наших примеров) или к будущему (23)–(24); в примерах (27) и (28) мы имеем Praesens Historicum. Это свойство отражено в толковании компонентом 'Q имел или будет иметь место'.

• Слабонеопределенность смысла 'однажды**2**' объясняет невозможность употребить его в качестве ремы или темы: время **t**, неидентифицируемое для Адресата, не может быть ни ремой (ОДНАЖДЫ2 не может отвечать на вопрос «когда?»), ни темой (про 'однажды**2**' нельзя сообщить ничего разумного).

• Из-за своей слабонеопределенности ОДНАЖДЫ2 не может употребляться в высказываниях, ориентированных на реакцию Адресата: см. (31). В самом деле, если Адресат не способен идентифицировать ни время факта Q, ни сам факт, то как он может сделать что-то по отношению к Q? Это задача типа «Пойди туда – не знаю куда...»[9].

По всей видимости, такие же ограничения действуют и для других лексем, смысл которых содержит компонент 'один**2**'. Это означает, что на самом деле здесь мы вторглись в сферу комбинации смыслов, т. е. практически коснулись проблемы построения правильной семантической структуры: см. [Iordanskaja, Mel'čuk 2009].

Поскольку слабонеопределенность представляет общую характеристику целого ряда лексем, выраженную семантическим компонентом 'один**2**', а этот компонент нуждается в дополнительных разъяснениях, обсуждение компонента 'неидентифицируемый для Адресата' вынесено в раздел **2**.

Прежде чем переходить к дальнейшему изложению, по ходу которого будут приводиться примеры правильных и неправильных фраз, следует сделать следующее замечание. Многие из наших неправильных фраз неправильны потому, что в них является неестественным сочетание смысла 'однажды' со смыслом 'Q'. Как было сказано, факт Q должен быть неидентифицируемым, т. е., грубо говоря, быть **одним из** аналогичных фактов, а в неправильных фразах указанного типа факт Q идентифицируем, поскольку он уникален. Тем не менее практически всегда можно вообразить некую ситуацию, в которой факт Q теряет свойство уникальности и воспринимается как один из ряда аналогичных фактов; в контексте, указывающем на такую ситуацию, наша неправильная фраза становится естественной и воспринимается как правильная; читателю следует помнить об этом. Влиянию контекста на идентифицируемость факта Q посвящен раздел **3**.

2) Компонент 'промежуток или момент [времени]**'.**

Наречие ОДНАЖДЫ2 обозначает некий**1** момент или промежуток времени и поэтому не употребляется при выражениях, не допускающих временную характеристику: **Однажды* ⟨**В прошлом году*⟩ *Иван был высокого роста / был голубоглазым / был евреем*. Это свойство ОДНАЖДЫ2 разделяет со всеми временными характеристиками и, соответственно, не должно рассматриваться нами: здесь опять возникает проблема неправильных комбинаций **смыслов** (а не слов). Мы должны описывать лишь такие случаи, где смысл 'в данный промежуток или момент времени имел место факт Q' по-русски выразим без проблем, а смысл 'однажды**2** имел место факт Q' – нет:

(35) a. **Однажды этот остров был обитаем.*
b. *В 15-м веке этот остров был обитаем.*
(36) a. **Однажды он был учителем.*
b. *В 20-е годы он был учителем.*

---

[9] Во фразах типа *Съезди **однажды** в Париж!* выступает количественное наречие ОДНАЖДЫ1; ср. *Съезди хотя бы однажды в Париж!* Во фразах типа *Съезди **когда-нибудь** в Париж!* выступает не слабонеопределенное, а неопределенное наречие, выражающее нерелевантность идентифицируемости момента факта Q (имеется в виду любой момент).

(37) a. **Однажды Иван был маленького роста.*
b. *В детстве Иван был маленького роста.*

Неправильность фраз (35a)–(37a) объясняется типом факта Q: он статический, тогда как ОДНАЖДЫ2 требует, чтобы он был динамическим, см. непосредственно ниже.

Дизъюнкция во временно́м компоненте необходима, чтобы учесть примеры, соответственно, типа (19a), (26), (32a) [промежуток] и (20)–(25a), (27)–(28) [момент].

3) Компонент 'динамический факт'.

Компонент 'динамический [факт]' позволяет учесть контрасты в (38) и (39):

(38) a. **На этом острове однажды жили индейцы* [Q – постоянное местонахождение].
b. *На этом острове однажды поселились индейцы* [Q – действие].
(39) a. **Однажды я дружила с Джессикой.*
b. *В этот же год я дружила с Джессикой* (Н. Берберова).

4) Компонент 't отделен от момента речи или от начала ситуации, ..., значительным промежутком времени'.

Фразу (19a) нельзя употребить, если я отдыхал в Египте всего неделю или даже месяц тому назад; фраза (25a) возможна, ибо падение могло произойти через несколько дней после начала путешествия, а фраза (25b) неправильна, ибо падение имело место в тот же день, что и движение по тропинке. См. еще (40):

(40) a. **Так продолжалось десять часов, но однажды ей повезло.*
b. *Так продолжалось десять лет, но однажды ей повезло.*

5) Трансформация подъема ОДНАЖДЫ2.

(41) a. **Однажды он погиб, сорвавшись со скалы.*
b. *Однажды он сорвался со скалы и погиб.*
c. *Сорвавшись однажды со скалы, он погиб.*
d. *Однажды, сорвавшись со скалы, он погиб.*

Фраза (41d) правильна – несмотря на то, что в ней наречие ОДНАЖДЫ2 синтаксически зависит от 'погибнуть', сочетаться с которым семантически оно не может, поскольку 'погибнуть' – факт идентифицируемый: для каждого человека он уникален. Чтобы обеспечить получение таких фраз, необходимо считать, что смысл 'однажды**2**' в исходном СемП-е имеет в качестве аргумента 'сорваться со скалы'; этому последнему смыслу разрешается реализоваться в виде деепричастия, так что наречие ОДНАЖДЫ2 оказывается синтаксически подчиненным глаголу ПОГИБНУТЬ, – при условии, однако, что деепричастный оборот линейно расположен между ОДНАЖДЫ2 и ПОГИБНУТЬ.

6) Эллипсис при ОДНАЖДЫ2.

Примеры (32) иллюстрируют распространенный случай эллипсиса в заголовках: опущено выражение, обозначающее факт Q. Заглавие *Однажды вечером* значит 'однажды вечером имел место факт Q' [о котором пойдет речь в тексте]. Заметим, что ОДНАЖДЫ2 и ВЕЧЕРОМ непосредственно связаны, а именно:

– семантически, 'однажды**2**' является аргументом предиката 'вечером';
– синтаксически, ВЕЧЕРОМ является модификатором ОДНАЖДЫ2.

7) Семантический мост между ОДНАЖДЫ2 и ОДНАЖДЫ1.

Эти лексемы связаны компонентами 'динамический факт Q' (т. е. Q считаемо), 'промежуток времени' и 'один**1**' [⊂ 'один**2**']. Смысловое отношение между ОДНАЖДЫ2 и ОДНАЖДЫ1 примерно такое же, как между ОДИН2 'неидентифицируемый для Адресата один1' и ОДИН1 '1' [Мельчук 1985: 43], т. е. 'однажды**2**' : 'однажды**1**' ≈ 'один**2**' : 'один**1**'.

2. НЕИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ ФАКТА Q

2.1. Понятие неидентифицируемости

Как было сказано, ОДНАЖДЫ2 – слабонеопределенное местоименное наречие: Адресат (= Y) не может идентифицировать ни время **t** факта Q, ни сам факт Q, т. е. референт предложения «Q».

Неидентифицируемость времени факта Q для Адресата означает попросту, что ему неизвестна позиция этого факта на временно́й оси. Этому не противоречат примеры типа (42), где ОДНАЖДЫ2 означает неидентифицируемый момент внутри точно заданного промежутка времени:

(42) a. *Однажды в 2010 году Иван поехал в командировку.*
b. *Однажды (в 2010 году) Иван поехал в командировку.*
c. *В 2010 году Иван однажды поехал в командировку.*
d. *Однажды, где-то между 15-м и 30-м сентября 2010 года, Иван поехал в командировку.*

Неидентифицируемость же самого факта Q (точно так же, как неидентифицируемость какого-либо объекта) предполагает, что Адресат, даже имея сколь угодно подробное описание факта (или объекта), не может однозначно выбрать соответствующий референт – ибо этому описанию в принципе соответствует множество референтов. Полное описание момента времени, например, *19-е октября 1932 года*, есть имя собственное одного конкретного момента, так что у этого имени имеется ровно один референт и проблема выбора не возникает. А сколь угодно подробное описание факта, например, *Игорь работал с Аленом в Нанси над словом PROBLÈME*, есть в принципе обозначение бесконечного множества референтов, поскольку данный факт неограниченно повторим, что и создает проблему выбора, а тем самым – неидентифицируемость. Таким образом, ‘Y идентифицировал Q’ означает ‘Y знает, который из референтов выражения «Q» имеется в виду’. Соответственно, ‘Q (не)идентифицируем для Y-а’ = ‘Y (не) может идентифицировать Q’.

Компонент ‘Q неидентифицируем для Y-а’ (который содержится в ‘однажды**2**’ внутри компонента ‘один**2**’) предполагает обращение к **референтам** смысла ‘Q’, т. е. фактически выводит нас за пределы «чистой» семантики – в прагматику. Поэтому, чтобы прояснить содержание этого смыслового компонента, необходимо указать связи между ним и внеязыковой действительностью. Другими словами, нужно задать свойства потенциальных референтов факта Q, в силу которых Говорящий считает, что эти референты неидентифицируемы для Адресата.

Прежде всего, чтобы референт факта Q был идентифицируем для Адресата, необходимо, чтобы этот референт существовал. Если предложение «Q» относится к будущему, оно не имеет референта; тем самым факт Q неидентифицируем. Если же предложение «Q» относится к прошлому, неидентифицируемость факта может быть задана в терминах трех свойств его референта: факультативность, повторимость и ординарность.

2.2. Факультативность факта Q

ОДНАЖДЫ2 не сочетается с обозначением обязательного (≈ неизбежного, предвидимого) факта:

(43) a. **Однажды наступила зима.*
b. *Однажды наступила очень ранняя зима.*

Факт ‘наступила зима’ обязателен для каждого года; в данном году он единственен, и поэтому проблема идентификации его референта для Адресата просто не возникает;

этим и объясняется невозможность фразы (43a). В (43b), напротив, говорится о факте факультативном: зима могла оказаться и поздней.

(44) a. **Однажды у Ивана стала расти борода.*
b. *Однажды у Ивана борода стала расти очень быстро.*

Факт 'растет борода' в (44a) обязателен для каждого мужчины; в (44b) факт 'борода растет очень быстро' факультативен.

Итак, первое необходимое требование к референту факта Q – это его **факультативность**.

2.3. Повторимость факта Q

Однако ОДНАЖДЫ2 сочетается с названием не всякого факультативного факта:

(45) a. **Однажды Иван повесился.*
b. *Однажды Иван тяжело заболел.*

Разница между этими двумя факультативными фактами – в их повторимости: повеситься можно ровно один раз, а тяжело заболеть – несколько раз.

(46) a. **Однажды он погиб* [Q] *в горах, сорвавшись со скалы.*
b. *Однажды в горах он сорвался* [Q] *со скалы и погиб.*

Факт 'X погиб' ровно так же факультативен, как и 'X сорвался со скалы' (в отличие от смерти, гибель не является неизбежной); существенная разница между ними, однако, заключается в том, что первый факт неповторим, а второй повторим. Таким образом второе необходимое требование к референту факта Q состоит в том, что Q должен быть **повторимым**[10].

В примерах (45a) и (46a) факт Q неповторим абсолютно, однако неповторимость факта может быть и относительной: так, *Иван выучил язык эве* – в принципе факт неповторимый, ибо никто не может выучить один и тот же язык дважды; однако Иван может выучить другой язык: освоение языков – факт повторимый. Факт 'X выучил язык Y' легко встает в ряд аналогичных фактов и тем самым делается «как бы повторимым» (ср.: *Например, однажды он выучил на пари язык эве*). Применительно к относительной повторимости можно говорить о разной степени; чем выше относительная повторимость, тем естественнее звучат примеры с ОДНАЖДЫ2.

(47) a. */?*Однажды Маша пригласила Таню на свою свадьбу с Сергеем.*
b. *?Однажды Маша пригласила Таню на свою свадьбу.*
c. *Однажды Маша пригласила Таню на свадьбу подруги.*

В (47a) свадьба Маши с Сергеем есть неповторимый факт; приглашение же на эту свадьбу неповторимо в меньшей степени (Маша могла приглашать Таню несколько раз подряд); в силу этого употребление ОДНАЖДЫ2 здесь неуместно, но с трудом допустимо. Свадьба Маши с неназванным женихом в (47b) – в принципе повторимый факт (с разными женихами); а свадьба подруги еще более расширяет круг возможностей (много подруг), так что фраза (47c) наиболее естественна.

---

[10] Фразы (46a) и (46b) пропозиционально синонимичны, но их коммуникативное различие – а именно, разные доминантные узлы в их семантических структурах – обусловливает разное поведение ОДНАЖДЫ2. Как видно из этого примера, требование повторимости относится только к тому факту, который непосредственно охарактеризован местоименным наречием ОДНАЖДЫ2: в семантической структуре смысл 'Q' является аргументом предиката 'однажды2'.

(48) a. ?*Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния Зиночка, модисточка из большого магазина.*
b. *Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния модисточка из большого магазина, Зиночка* (А. Толстой).

Фраза (48a) неудачна, поскольку здесь Q [= 'Ивана Ильича полюбила Зиночка'] – неповторимый факт: данная Зиночка не может полюбить данного Ивана Ильича более одного раза, однако эта неповторимость относительна, поскольку влюбленность Зиночки ставится в ряд с возможными влюбленностями в Ивана Ильича других женщин. Фраза же (48b) вполне нормальна, ибо здесь Q [= 'Ивана Ильича полюбила модисточка'] – повторимый факт: модисточек, могущих полюбить Ивана Ильича, по крайней мере, теоретически, много. В (48b) в качестве обозначения участника ситуации 'полюбить' выступает имя нарицательное *модисточка*, т. е. название целого класса лиц, при котором имя собственное *Зиночка* является уточнением, а в (48a) имеет место обратное положение вещей: участник ситуации – конкретная Зиночка, а 'модисточка' является ее характеристикой.

Именно по причине неповторимости факта Q – самоубийства – неудачна и фраза (1), с которой и началось наше исследование.

2.4. Ординарность факта Q

Оказывается, что факультативность и повторимость факта Q все еще недостаточны для правильного употребления наречия ОДНАЖДЫ2; необходимо третье свойство: **ординарность** (тривиальность, обыденность) факта Q. Если Q неординарен, ОДНАЖДЫ2 невозможно или, по крайней мере, нежелательно:

(49) a. **Однажды у Ивана с Машей родился ребенок.*
b. *Однажды у Ивана с Машей заболел ребенок.*

Рождение ребенка у данной пары – факт необязательный и повторимый; неправильность фразы (49a) объясняется неординарностью этого факта.

Как и относительная повторимость, ординарность факта градуируема, так как субъективна.

(50) a. */?*Однажды у Ивана случился инсульт*
[неординарный факт, который факультативен и повторим].
b. *Однажды у Ивана случился приступ аппендицита*
[более ординарный факт, который тоже факультативен и повторим].
(51) a. */?*Однажды он подарил своему ученику скрипку Страдивари.*
b. *Однажды он подарил своему ученику невероятно дорогую скрипку.*

Дарение даже невероятно дорогой скрипки – более ординарный факт, чем дарение скрипки Страдивари.

(52) a. **Однажды во Франции произошла революция.*
b. *Однажды в Мураке произошла революция.*

Каждая хорошо известная европейская революция – экстраординарный факт; она индивидуализирована и обычно имеет имя. Революции в малоизвестных странах воспринимаются как ординарные события.

То, что ОДНАЖДЫ2 квалифицирует Q как ординарный факт, обеспечивает возможность юмористических высказываний типа (53):

(53) **Однажды вышла баба замуж.* [*Глядит – а муж-то обезьян!*]
(слегка модифицированный стих Г. Сапгира).

Эта фраза смешна, в частности, потому, что выход замуж описывается как ординарное повторимое событие.

Итак, факт Q должен быть факультативен, повторим и ординарен. Если хотя бы одно из этих свойств отсутствует, употребление ОДНАЖДЫ**2** Q невозможно или нежелательно:

(54) a. Q повторим и ординарен, но не факультативен:
**Однажды у Ивана отросли ногти.*
b. Q факультативен и ординарен, но не повторим:
**[?]Однажды Иван понял, как устроен этот замок.*
c. Q факультативен и повторим, но не ординарен:
**[?]Однажды у Ивана случился инсульт.*

Заметим еще, что неповторимость и экстраординарность связаны: экстраординарное событие часто бывает неповторимым; так, например, поступление в университет – значительное биографическое событие, которое при нормальном ходе вещей неповторимо:

(55) **Однажды я поступил в университет.*

Ср. также примеры (45a) и (47a).

Названные свойства референта факта Q представляют собой прагматическую экспликацию смыслового компонента ‘один**2** [факт]’, который предполагает ситуацию выбора Адресатом одной из возможностей; наличие такого выбора – это суть слабоопределенности.

Однако эти свойства референта не являются абсолютными: в некоторых специфических ситуациях факт, уникальный по своей природе, может терять уникальность. В таком случае Говорящий, упоминая подобный «видоизмененный» факт, должен явно указать в своем высказывании на это изменение, а именно, добавить смысл, отменяющий уникальность. Так, свадьба конкретной Маши с данным Сергеем – факт в принципе уникальный; поэтому фраза (47a) неудачна. Однако, если названная пара решила справлять свою свадьбу многократно, то эта фраза с добавлением смысла типа ‘очередной’ становится совершенно нормальной: *Однажды Маша пригласила Таню на свою **очередную** свадьбу с Сергеем*. В следующем разделе мы рассмотрим несколько таких случаев.

3. КОНТЕКСТНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ *ОДНАЖДЫ2*

Как только что было сказано, во фразе, в которой идет речь об уникальном факте Q, утратившем свою уникальность, должен присутствовать какой-либо смысл, в явной форме указывающий на эту потерю. Проиллюстрируем это явление на примерах из (54), модифицируя их введением смыслов, отменяющих уникальность.

1) Частица ТАКИ Q и наречие ВСЕ-ТАКИ Q, означающие, грубо говоря, ‘хотя считалось, что Q не должно иметь место, Q имеет место’, делают Q необязательным, и тем самым разрешают употребление ОДНАЖДЫ**2**:

(56) *Но однажды у Ивана (все-)таки отросли ногти*; ср. (54a).

Фраза (56) естественна, например, в ситуации, когда в результате заболевания Иван потерял ногти и все сомневались, что они вновь отрастут.

2) Частица УЖЕ Q, взятая в значении ‘такое же Q имело место раньше, чем то Q, о котором идет речь’, делает Q повторимым и тем самым разрешает употребление ОДНАЖДЫ**2**:

(57) *Однажды Иван уже понял, как устроен этот замок*[*, а потом забыл*]; ср. (54b).

Ср. также:

(58) a. **Однажды во Франции произошла революция.*
b. *Однажды во Франции уже произошла революция.*
(59) a. **Однажды мы это от него слышали.*
b. *Однажды мы это от него уже слышали.*

3) Частица ДАЖЕ Q означает, примерно говоря, 'хотя Говорящий, зная, что факты Q′, подобные факту Q, имели место, считал, что сам Q не будет иметь место, Q имеет место'; она ставит Q в ряд других сходных фактов и тем самым делает его ординарным:

(60) *Однажды у Ивана даже случился инсульт*; ср. (54c).

Существуют и другие лексические единицы, смысл которых отменяет уникальность Q, препятствующую употреблению ОДНАЖДЫ**2**; например, идиома В КОНЦЕ КОНЦОВ Q ≈ 'после многих нереализаций факта Q, факт Q имеет место' показывает, что здесь Q факультативен, повторим и ординарен:

(61) a. *Однажды у Ивана в конце концов отросли ногти.*
b. *Однажды Иван в конце концов понял, как устроен этот замок.*
c. *Однажды у Ивана в конце концов случился инсульт.*

Отмена уникальности факта Q не обязательно связана с конкретными лексическими смыслами; «отменяющий» смысл может быть даже не выражен эксплицитно, а представлять собой естественный вывод из предыдущего контекста:

(62) *Мой отец курил лет тридцать, но однажды у него случился инфаркт, и он бросил курить моментально.*

Курение в течение тридцати лет имплицирует ряд возможных неприятных последствий для здоровья, и инфаркт оказывается в этом ряду, что делает его менее неординарным.

Во всех рассмотренных примерах факт Q относится к прошлому. Если же факт Q относится к будущему, то он не имеет референта и тем самым, вообще говоря, должен быть неидентифицируем – за исключением неизбежных фактов. Поэтому требования повторимости и ординарности становятся нерелевантными:

(63) a. *Однажды Иван поймет, как устроен этот замок.*
b. *Однажды у Ивана случится инсульт.*

Ср., однако, (64):

(64) a. [*Я знаю, как он кончит:*] **однажды он умрет.*
b. [*Я знаю, как он кончит*:] *однажды он повесится.*

В (64b) речь идет о будущем, еще не состоявшемся факте, который, хотя и уникален, не является обязательным; тем самым он оказывается неидентифицируемым. В примере же (64a) несостоявшийся факт смерти обязателен: смерть неизбежна, тогда как самоубийство – нет.

4. СИНОНИМЫ *ОДНАЖДЫ2*

Указанные в словарной статье синонимы ОДНАЖДЫ**2** подразделяются на четыре группы:

• Слабонеопределенные референтные местоименные наречные выражения РАЗ[3], ⌜ОДИН РАЗ⌝ **2**, КАК-ТО и ⌜КАК-ТО РАЗ⌝.

• Слабонеопределенные референтные неместоименные наречные выражения ⌜В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ⌝ ≈ 'в один**2** неважно какой день' и ⌜В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ⌝ ≈ 'в один**2** неважно какой момент'.

• Сильнонеопределенные референтные местоименные наречия КОГДА-ТО и НЕКОГДА**II**.
• Неопределенное нереферентное местоименное наречие КОГДА-НИБУДЬ.

Поскольку само ОДНАЖДЫ**2** – слабонеопределенное референтное местоименное наречие, мы рассмотрим только первую группу синонимов.

Слабонеопределенные РАЗ^{3}, ⌜ОДИН РАЗ⌝, КАК-ТО и ⌜КАК-ТО РАЗ⌝ разделяют со слабонеопределенным ОДНАЖДЫ**2** целый ряд свойств: они не употребляются для характеристики факта, имеющего место в настоящее время; не могут быть ни темой, ни ремой; не выступают ни в вопросительных, ни в побудительных предложениях. Укажем теперь их семантические, прагматические, синтаксические и стилистические отличия от ОДНАЖДЫ**2**.

Семантические отличия

• РАЗ^{3}, ⌜ОДИН РАЗ⌝, КАК-ТО и ⌜КАК-ТО РАЗ⌝ не могут относиться к будущему времени:

(65) a. *Однажды президентом этой организации станет азиат.*
b. **Один раз ⟨*Раз, *Как-то, *Как-то раз⟩ президентом этой организации станет азиат.*

Прагматические отличия

Все указанные выражения требуют, чтобы смысл ‘Q’ имел конкретно-референтный статус [Падучева 1985: 87 и сл.], тогда как ОДНАЖДЫ**2** этого не требует:

(66) a. *Все слова на свете уже были однажды сказаны.*
b. **Все слова на свете уже были один раз ⟨раз, как-то, как-то раз⟩ сказаны.*
c. *Все эти слова уже были однажды ⟨один раз, раз, как-то, как-то раз⟩ сказаны.*

Смысл ‘все слова на свете были сказаны’ не имеет конкретного референта; добавление смысла ‘эти’ существенно меняет дело: референт смысла ‘Q’ в (66c) – вполне конкретный, ибо здесь речь идет о данном списке слов.

Синтаксические отличия

РАЗ^{3}, ⌜ОДИН РАЗ⌝ **2** и КАК-ТО, в отличие от ОДНАЖДЫ**2**, не употребляются в эллиптической конструкции типа *Однажды вечером / в Риме.*

Стилистические отличия

⌜КАК-ТО РАЗ⌝ носит книжный (= повествовательный) характер, а КАК-ТО и РАЗ^{3} – разговорный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: *ОДНАЖДЫ2* И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ

Итак, ОДНАЖДЫ**2** – слабонеопределенный местоименный наречный модификатор смысла ‘Q’; он требует, чтобы референт смысла ‘время **t**(Q)’ и референт самого ‘Q’ были неидентифицируемы для Адресата, тогда как для Говорящего идентифицируемость / неидентифицируемость этих референтов нерелевантна (Говорящий может быть способен или неспособен идентифицировать **t**(Q) и Q). Слабонеопределенность отражена в толковании ОДНАЖДЫ**2**, как было указано, посредством компонентов ‘один**2**’ и ‘некий**1**’ (⊃ ‘один**2**’). Если я говорю об ‘одном**2** X-е’, то этот X не может быть полностью индивидуализирован – в частности, X не может быть именем собственным, именем уникального объекта (Солнце, Земля) или именем уникального факта (рождение / смерть Ивана); полная индивидуализированность X-а влечет его идентифицируемость для Адресата.

Обратимся еще раз к примеру (47):

(47) a. *$^{?}$*Однажды Маша пригласила Таню на свою свадьбу с Сергеем.*
b. *$^{?}$Однажды Маша пригласила Таню на свою свадьбу.*
c. *Однажды Маша пригласила Таню на свадьбу подруги.*

Свадьба подруги Маши – факт неиндивидуализированный; свадьба самой Маши – факт частично индивидуализированный (она в принципе может выходить замуж более одного раза); свадьба Маши с Сергеем – факт полностью индивидуализированный. Поэтому фраза (47a) неудачна, (47b) допустима, а (47c) совершенно естественна.

Лексикографическое описание слабонеопределенного местоименного наречия ОДНАЖДЫ2 выявляет его референциально-семантические свойства, сближающие ОДНАЖДЫ2 с неопределенным артиклем артиклевых языков. Точнее говоря, смысл ‘однажды2’ (благодаря наличию компонента ‘один2’) похож на значение неопределенного артикля; семантическое сходство между французским неопределенным артиклем и русскими неопределенными наречиями было отмечено В. Гаком [1989: 114], который иллюстрировал это сходство следующим примером:

(67) a. франц. ***Une** nuit, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval.* ≡
b. ***Как-то** ночью их разбудил топот коня.*

Указанное сходство опирается на свойства соответствующих референтов: чтобы употребление как наречия ОДНАЖДЫ2, так и неопределенного артикля было возможно, референт предложения с ОДНАЖДЫ2 – соответственно, референт существительного с неопределенным артиклем – должен быть неидентифицируемым для Адресата, т. е. быть элементом множества однотипных референтов, среди которых Адресат не может сделать однозначный выбор. Грубо говоря, этот референт не должен быть уникальным (в рассматриваемой ситуации). В случае ОДНАЖДЫ2 неуникальность референта факта Q обеспечивается наличием у него следующих трех свойств: факультативность (= непредсказуемость), повторимость (= ‘один из возможных’) и ординарность (= невыделенность).

Обзорно-аналитическая статья Б. Эбботт [Abbott 2004] выделяет следующие характеристики смысла английского неопределенного артикля «*an* NP»:

1) Неопределенный артикль выражает неединственность референта именной группы *an* NP в данной ситуации:

(68) *That wasn't **a** reason I left Pittsburg, that was the reason* [= пример (5) у Эбботт]
‘Это не была просто одна из причин, почему я уехал из Питтсбурга, это была единственная причина’.

2) Неопределенный артикль выражает незнакомство Адресата с референтом группы *an* NP:

(69) ***A** woman sat with **a** cat on her lap. She stroked the cat, and it purred* [= пример (18) у Эбботт]
‘[Там] сидела женщина с кошкой на коленях. Она гладила кошку, и та мурлыкала’.

3) Неопределенный артикль обеспечивает группе *an* NP способность выступать в предложении с *there is*:

(70) *There is a wolf at the door.* vs. **There is the wolf at the door* [= пример (23) у Эбботт]
≈ ‘У двери находится некий волк’. vs. ≈ ‘У двери находится этот волк’.

Насколько мы можем судить, эти три характеристики в той или иной форме повторяются во всех попытках описания семантики неопределенного артикля. Две первые из них соответствуют трем нашим характеристикам неуникальности референта факта Q во фразах с ОДНАЖДЫ2. В самом деле, свойство 1 у Эбботт – неединственность референта группы *an* NP в данной ситуации, т. е. неединственность «синтагматическая», – соответствует нашему свойству факультативности (= непредсказуемости). Свойство 2 у Эбботт – это, так сказать, «парадигматическая» неединственность референта (*a woman* в (69) – одна из в принципе возможных женщин); это свойство можно соотнести с на-

шей повторимостью и ординарностью. Что же касается свойства 3, то оно лежит явно в другой плоскости, ибо не относится к референту группы *an* NP. Однако и тут имеется любопытная параллель с ОДНАЖДЫ2: смысл группы *an* NP, характеризуемый этим свойством, позволяет ей выступать в так называемой интродуктивной функции: введение в общее поле зрения нового объекта или факта. Эта же интродуктивная функция в высшей степени характерна для ОДНАЖДЫ2 и его слабонеопределенных синонимов. Неслучайно, что фразы с ОДНАЖДЫ2 часто стоят в начале абзаца или даже текста, а также в заголовках[11].

Разумеется, наша параллель не может быть полной и точной. Ведь ОДНАЖДЫ2 – лексическая единица, синтаксически относящаяся к глаголу и семантически характеризующая факты, а неопределенный артикль – единица грамматическая, т. е. обязательная, синтаксически относящаяся к существительному и семантически характеризующая скорее сущности (но и факты тоже!). Тем не менее эта параллель кажется полезной, так как указывает на некие новые возможности семантического описания артиклей: наречие ОДНАЖДЫ2, выражаясь метафорически, – это как бы приглагольный неопределенный артикль[12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гак 1989 – *В.Г. Гак*. Сопоставительная типология французского и русского языков. М., 1989.

Леонтьева 1964 – *Н.Н. Леонтьева*. Описание слов со значением времени // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1964. Вып. 8.

МАС – Словарь русского языка. Т. 1–4 / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981–1984.

Мельчук 1985 – *И.А. Мельчук*. Поверхностный синтаксис русских числовых выражений. Wien, 1985.

Падучева 1985 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Abbott 2004 – *B. Abbott*. Definiteness and indefiniteness // L. Horn, G. Ward (eds). Handbook of pragmatics. Oxford, 2004.

Iordanskaja, Mel'čuk 2009 – *L. Iordanskaja, I. Mel'čuk*. Linguistic well-formedness of semantic structures // D. Beck, K. Gerdes, J. Milićević, A. Polguère (eds.). MTT'09. Proceedings of the Fourth international conference on Meaning-Text theory. Montreal, 2009. См. также: http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/ProceedingsMTT09.pdf.

Mel'čuk 2001 – *I. Mel'čuk*. Communicative organization in natural language. The semantic-communicative structure of sentences. Amsterdam; Philadelphia, 2001.

Сведения об авторах:

Лидия Николаевна Иорданская
Université de Montréal
lidija.iordanskaja@umontreal.ca

Игорь Александрович Мельчук
Université de Montréal
igor.melcuk@umontreal.ca

---

[11] Напомним знаменитое ОДНАЖДЫ2, открывающее «Пиковую даму»: *Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова*. Ср. также следующее замечание журналиста, бравшего интервью у Татьяны Лещенко-Сухомлиной: *Татьяна Ивановна всегда начинала рассказ со слова «однажды»* (Ф. Медведев. Мои великие старухи. СПб., 2011. С. 263).

[12] Текст настоящей статьи прочитали Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.М. Богуславский, С.И. Ельницкая, Л.Л. Иомдин, Н.Н. Леонтьева и Е.В. Падучева, сделавшие ценные замечания и предложившие многочисленные поправки. Мы выражаем им всем нашу сердечную признательность.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. О.Ю. ИНЬКОВА

О СЕМАНТИКЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГРАДАЦИОННЫХ СОЮЗОВ *НЕ СТОЛЬКО... СКОЛЬКО* И *СКОРЕЕ... ЧЕМ*

В статье дается сопоставительное описание так называемых градационных союзов *не столько... сколько* и *скорее... чем*, очень близких по своей семантике и поэтому часто считающихся синонимами. Автор выделяет у *скорее... чем* два значения – вероятностное и дескриптивное и показывает, что анализируемые коннекторы совпадают лишь в последнем из них, причем *скорее... чем* всегда остается в сфере гипотезы. Автор полагает, кроме того, что градация является не одним из видов логико-семантических отношений между высказываниями, а семантическим механизмом, лежащим в основе самых разных языковых явлений, в числе которых и логико-семантические отношения между высказываниями. Поэтому *скорее... чем* следует отнести к коннекторам замещения, а *не столько... сколько* более продуктивно рассматривать вместе с соотносительными конструкциями, оформляемыми *настолько... насколько*, *сколько... столько* и *чем... тем*.

Ключевые слова: семантика, коннекторы, градация, русский язык, *не столько... сколько*, *скорее... чем*

The article offers a comparative description of the so-called scalar conjunctions *ne stol'ko... skol'ko* and *skoree... čem* that are often considered and treated as synonymous. It is proposed to distinguish, for *skoree...čem*, between two distinct values, one of probability of the event and one of descriptive adequacy, whereas *ne stol'ko... skol'ko* exhibits only one value, the second one. The difference between two markers resides in the fact that *skoree...čem* always remains hypothetical. The author believes, moreover, that scalarity is not a kind of semantic relation between sentences, but a semantic mechanism underlying a variety of linguistic phenomena, including the semantic relations between sentences. Therefore, *skoree... čem*, according to its semantic properties, is a conjunction of substitution, and *ne stol'ko... skol'ko* is closer to the correlative structures with *nastol'ko... naskol'ko*, *skol'ko... stol'ko* and *čem... tem*.

Keywords: semantics, discourse markers, scalarity, Russian, *ne stol'ko... skol'ko, skoree... čem*

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящее исследование ставит своей задачей сопоставительное описание так называемых градационных союзов *не столько... сколько* и *скорее... чем*. Несмотря на то, что этим языковым единицам был посвящен целый ряд как общих, так и специальных исследований (среди наиболее интересных и детальных назовем [Санников 1989; 2008] и [Воротников 2011]; см. также нашу работу [Инькова-Манзотти 2001]), многие вопросы остаются еще нерешенными. Основная трудность при описании данных союзов связана с тем, что *не столько... сколько* и *скорее... чем* очень близки по своему значению[1]: во многих контекстах они взаимозаменяемы, а в некоторых случаях мы даже имеем дело со своего рода контаминацией составляющих их элементов; ср. (1)[2], где в рамках одного предложения представлено сразу несколько градационных союзов:

---

[1] Они сопоставимы также по частотности своего употребления: в Национальном корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru) зарегистрировано 5 616 вхождений для *не столько... сколько* и 3 973 для *скорее... чем*.

[2] В работе использованы примеры из Национального корпуса русского языка.

1) Вспомним теперь, что семантика Витгенштейна (особенно позднего Витгенштейна) не только, да и не столько утвердительная, но скорее императивная.

Предложения с градационными союзами рассматриваются часто как разновидность сложносочиненных предложений с сопоставительно-противительным значением (ср., в частности, [Шувалова 1990]) или выделяются в отдельный тип. Так, согласно [РГ-70; РГ-80; Санников 1989], градационные предложения являются особым типом сложносочиненного предложения, где «сообщаемое в одной части конструкции представлено как в том или ином отношении более значимое, действенное или убедительное по сравнению с тем, о чем говорится во второй части» [РГ-80, II: 632]. Из этого определения следует, во-первых, что семантика *не столько... сколько* и *скорее... чем* опирается на сравнение и что это сравнение касается степени «значимости», «действенности» сравниваемых ситуаций, иными словами, их аргументативной силы. Иной точки зрения придерживаются исследователи [Виноградов 1947: 247; Берков 1996: 120, 122; Колесникова 2010: 88; Воротников 2011: 85], для которых *не столько... сколько* используется как при сравнении интенсивности разных способов протекания действия (ср. пример из [Берков 1996: 122] *она не столько слушала докладчика, сколько думала о своем*), так и при сравнении адекватности характеристики (ср. там же: *он не столько испугался, сколько обиделся*). При этом не объясняется, на каком основании следует разделять эти два значения. Наконец, [Галкина-Федорук и др. 2010: 173] относят предложения с *не столько... сколько* к сложноподчиненным с придаточным сопоставительным, уточняя, что предложения данного типа «могут приближаться к сложносочиненным».

Для того чтобы более четко описать семантику интересующих нас градационных союзов, необходимо, по-видимому, определить, что именно является предметом сравнения и на каком уровне оно устанавливается. Это представляется тем более обоснованным, что *не столько... сколько* участвует также в оформлении сравнительных конструкций, сигнализируя об отрицании тождества или равенства меры признака, а *скорее... чем* содержит компаратив.

В связи со *скорее... чем* (и, в меньшей степени, *не столько... сколько*) встает также вопрос о вариативности формы: вторая часть союза (*чем*) может отсутствовать. Кроме того, если допустить, что *не столько... сколько* участвует в оформлении сравнения по степени проявления признака, то за *столько* и *сколько* следует признать, помимо связующей функции, и синтаксическую функцию (квантификатора или интенсификатора) в структуре содержащих их предложений. Для союзов это, как известно, нехарактерно: именно по такому критерию они отделяются от союзных слов. Поэтому в дальнейшем изложении мы будем употреблять вместо синтаксического термина «союз» термин «коннектор», учитывающий не столько синтаксические свойства языковой единицы, сколько ее функцию в высказывании[3].

2. СЕМАНТИКА СРАВНЕНИЯ

С семантической точки зрения можно выделить четыре типа сравнения:
– сравнение с целью установления аналогии между двумя объектами или ситуациями: *Она замужем, как и ее сестра* и (2):

2) Как с самого начала притупилось обоняние, так со временем затухали другие чувства;

– сравнение с присоединительным значением (*Я знаю хорошо как Наташу, так и ее мужа*);
– сравнение-уподобление с целью качественной характеристики (*Она продолжала жить так, как жила до замужества*; *Он звенел медалями, как конь сбруей*);
– квантифицированное, или скалярное, сравнение. Этот тип сравнения связан с представлением о мерности того или иного предмета, признака или действия и с измери-

[3] Определение и обоснование данного термина см. в [Инькова-Манзотти 2001].

тельной шкалой количества (для признаков, поддающихся измерению: *Я вчера много спала: часов десять*) или качества (для признаков, измерению не поддающихся: *Он очень умный, он очень храпит*)[4]. Квантифицированное сравнение может выражать равенство (*Она такая же / столь же красивая, как и ее сестра*; *Он работает столько же, сколько ее брат / собрал столько же грибов, сколько и я*)[5], неравенство (*Она красивее, чем ее сестра*; *Он ест меньше брата / собрал меньше грибов, чем брат*) или высокую степень признака (*Он злой как черт*, *работает как вол*).

Кроме того, для анализа интересующих нас языковых единиц при определении основания сравнения необходимо принимать во внимание не только количество сопоставляемых признаков и объектов, которым приписываются эти признаки, но и сферу действия языковых единиц, оформляющих сравнение[6]. Мы предлагаем различать следующие случаи:

1) сравнивается степень проявления одного общего признака у разных объектов (или в разное время у одного объекта). Сравнение затрагивает лишь квантифицированную лексему и может быть охарактеризовано как присловное: *Петя умнее, чем Вася, но ест столько же, сколько и он*; а также (3):

(3) Переговоры не затянулись, и катер исчез так же быстро, как появился;

2) присловным будет и сравнение характеризующего типа в местоименно-соотносительных предложениях (4), а также в сравнении с присоединительным значением:

(4) Капитализм – это звериное общество, и у нас отнимут ровно столько, сколько мы отдадим;

3) сравниваются два признака у одного объекта или у разных объектов. Сравнение касается степени проявления двух признаков; в сферу действия единиц, оформляющих данный тип сравнения, попадают предикаты:

(5) Система AquaStop настолько же проста, насколько эффективна;
(6) Жена Германа Никитича – Нинель – была настолько же толстой, насколько ее супруг был худ;

4) сравнение касается двух ситуаций, в сферу действия коннекторов попадают предложения в целом, хотя они могут совмещать соединительную функцию с функцией квантификаторов / интенсификаторов, как в (8). Сравнение может быть как динамическим (*чем*...

---

[4] Бодуэн де Куртенэ [1963] предпочитает и в данном случае говорить о «количестве признака». Для него «и всякое качество основано на количестве, так как различия качественно отличающихся друг от друга предметов основаны, с одной стороны, на наличии определенных составных элементов, а с другой – на отсутствии других элементов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 313]. Такая трактовка категории интенсивности представляется нам, однако, несколько упрощенной, поскольку характер квантификации признака здесь принципиально иной, чем на шкале количества.

[5] Тот факт, что для равенства нет особой морфологической структуры в русском языке – предложения, выражающие равенство, относятся к отождествительным местоименно-соотносительным (в частности, [Белошапкова 1977: 227–233]), а в [РГ-80 II: 493–499] рассматриваются в рамках определительных предложений с «качественно-характеризующим значением» – не означает, что с семантической точки зрения его нельзя выделить в отдельный класс (ср. в этой связи [Jespersen 1924; Sapir 1944; Rivara 1990; Арутюнова 1988; Берков 1996; Воротников 2011] и др.).

[6] Поэтому для целей нашего анализа не подходит ни преимущественно синтаксическая классификация сравнительных конструкций М.М. Черемисиной [Черемисина 2006], имеющая целью выявить синтаксический механизм, общий для всех сравнительных конструкций; ни классификация компаративных конструкций Ю.П. Князева [Князев 1996: 133], в основе которой лежит соотношение референтов объекта и стандарта сравнения (в связи с чем выделяются некореферентные, если сравниваются различные предметы или явления, и кореферентные, если объектом и стандартом сравнения является один и тот же предмет / явление, сравнительные конструкции). Ни та, ни другая классификация не позволяет описать различия в семантике интересующих нас коннекторов. Ср. также критику классификации Князева с других позиций в [Воротников 2011: 199–208].

тем), так и статическим. Последнее может быть, в свою очередь, аналогическим (2), характеризующим (7) и скалярным (8):

(7) Сейчас Гренадина начинает буравить меня своими нравоучениями, как зубной врач сверлит бормашиной больной зуб (пример заимствован из [Черемисина 2006: 114]);
(8) Насколько он свободен вне семьи, настолько же стойко он ее охраняет, заботится о каждом;

5) описывается одна ситуация. Сравнение, в сферу которого также попадают предложения в целом, касается:

5а) двух возможных описаний данной ситуаций:

(9) …одна из ее таинственных отлучек, о которых она скорее уведомляла, чем просила;

5б) двух гипотез относительно данной ситуации[7]:

(10) Не берусь сказать, будут ли восстанавливать раритет, но зная наше депо, скорее поспешат избавиться, чем будут восстанавливать.

На основании данных теоретических уточнений мы можем перейти к описанию семантики *не столько… сколько* и *скорее… чем*.

3. *НЕ СТОЛЬКО… СКОЛЬКО*

В современном русском языке употребление *столько* и *сколько*, входящих в состав градационного союза *не столько… сколько*, закрепляется за шкалой количества. Однако и здесь – уже на первом этапе анализа – следует различать два разных употребления, которые соответствуют двум достаточно автономным содержательным аспектам категории количества: «1) количество как совокупность, множество некоторых объектов и 2) количество как показатель "величины" (качества) объекта и шкалы изменения (измерения)» [Долинина 1996: 220]. Одно из употреблений *столько… сколько* связано с первым аспектом категории количества. Речь идет о таких структурах, в которых *столько* управляет родительным падежом существительного:

(11) Мы выпускаем столько книг, сколько их не выпустила старая Россия за всю свою историю, а ему все мало;
(12) У меня столько же книг, сколько у Герцена и Тургенева.

Данный тип сравнения имеет всегда присловный характер, а *столько* и *сколько*, как в положительной, так и в отрицательной форме, являются квантификаторами. Этот тип квантификации нас интересовать не будет[8].

Другое употребление *столько… сколько* в скалярном сравнении связано со вторым аспектом категории количества. Однако, если мы возьмем случай, где сравнение касается одного общего признака у разных объектов (*Петя ест столько же, сколько / не столько, сколько Миша*), то функция *столько* и *сколько* вполне сопоставима, с одной стороны, с их функцией в сочетании с существительными (11)–(12), а с другой, с функцией интенсификаторов *так* и *как*, закрепленных за шкалой качества (*Петя ест так же быстро, как Миша*). *Столько* и *сколько* остаются в данных структурах квантификаторами,

---

[7] В [Beaulieu-Masson, Inkova-Manzotti 2003] мы предложили называть типы сравнения, устанавливаемые между предложениями в целом, «de re» (сравнение двух положений вещей – 4), «de sententia» (сравнение двух гипотез относительно одного положения вещей – 5а), «de dicto» (сравнение двух описаний одного положения вещей – 5б).

[8] Как не будет нас интересовать и характеризующее сравнение, оформляемое коннектором *столько… сколько*: *Главный врач Карнаухов грузил на нее столько, сколько она могла везти*. Хотя оно связано уже со вторым аспектом категории количества, определительное придаточное семантически встроено в главное и служит целям определения квантификатора, тогда как проблемы описания семантики (*не*) *столько… сколько* появляются лишь тогда, когда можно говорить о сравнении двух коммуникативно независимых ситуаций.

и, следовательно, накладывают определенные ограничения на лексемы, попадающие в сферу их действия: они сочетаются только с глаголами, поддающимися квантификации на шкале количества[9] (*есть*, *читать*, *спать*, *гулять* и т. п.). Для выражения неравенства количества можно использовать как *не столько... сколько*, так и *больше / меньше*, но не *скорее... чем*, как показывает пример (13) и его трансформации[10]:

(13) ...для него это имя значило не столько, сколько для меня;
(14) ...для него это имя значило меньше, чем для меня;
(15) *...для него это имя значило скорее, чем для меня.

Ситуация меняется, когда в сравнение вовлекаются два признака, принадлежащие одному или разным предметам:

(16) Он не столько силен, сколько ловок; Он столько же смел, сколько и находчив (примеры из [Ушаков]);
(17) ...старшая (дочь), Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать мельницу.

Прежде всего, можно заметить, что меняется место фразового ударения. Если в предыдущих структурах оно падало в главном предложении на *столько*, так как оно попадало в рему, то в (16) и (17) ударение смещается на лексемы, находящиеся в сфере его действия. *Столько* и *сколько* лишь служат для создания отношения сопоставления, а вся структура подчиняется правилам акцентного оформления контрастных коммуникативных составляющих, подробно описанным в работе [Янко 2001: 46–64]. Кроме того, как видно из (17), в структурах данного типа становится возможной начальная позиция придаточного предложения, недопустимая в структурах типа (12)–(13)[11].

Отметим также, что в сферу действия коннектора попадают языковые единицы, поддающиеся квантификации не только на шкале количества, как в предыдущих случаях употребления, но и на шкале качества. Коннектор, как кажется, сохраняет свое скалярное значение (его можно заменить на *менее / более... чем*), выражая отрицание равенства степеней проявления признаков. Так, (16) может быть понято таким образом: степень проявления признака *сильный* не равна степени проявления признака *ловкий*. Именно такую интерпретацию предлагает В.З. Санников [Санников 1989: 206], для которого «компонент X (в нашем случае *сильный*) не отрицается полностью, а только смещается говорящим на второе место» (ср. также [Колесникова 2010; Воротников 2011]). Такую же интерпретацию можно, в принципе, предложить и для всех признаков в широком смысле этого слова, которые могут быть представлены как изменяемые или измеряемые или, по крайней мере, состоящие из нескольких частей. Так, в (18) в сфере действия *не столько... сколько* находится притяжательное прилагательное и именная группа с посессивным значением, которые также можно мыслить как изменяемые и измеряемые [Воротников 2011: 85]; в (19) глагол *тестировать* может иметь несколько

---

[9] Квантификация понимается здесь в более широком, чем у И.Б. Долининой [Долинина 1996: 223], смысле. Речь идет не только о противопоставлении единичного события не-единичному, т. е. о глагольной множественности, но и о выражении меры (*Он за обедом много съел: три тарелки супа, две порции второго и литр компота*), что, в частности, позволяет разграничить квантификацию на шкале количества и квантификацию на шкале качества (*Он ее очень любит*). Ср. также: *Он столько страдал!* (не-единичность события) и *Он так страдал!* (интенсивность). Подробнее см. [Hadermann, Inkova 2010; Inkova 2010].

[10] В этом отношении часто практикуемое разделение двух употреблений *(не) столько... сколько* на основе критерия управления Род. п. является нерелевантным.

[11] Такую же ситуацию мы наблюдаем и для других местоимений, участвующих в оформлении сравнительных структур: *так... как*, *столь... сколь*, *насколько... настолько* [Inkova 2009, Inkova forthcoming]. Однако, в отличие от них, в современном языке предложения с препозицией *сколько*, подобные (17) и (20), воспринимаются многими носителями языка как архаичные.

агенсов (в нашем примере *я* и *моя дочь*), которые принимают участие в процессе в разной степени:

(18) Конечно, это был риск. И не столько мой, сколько моего импресарио;
(19) Этот нишевый смартфон тестировал не столько я, сколько моя 11-летняя дочь.

В (20)–(21) в сферу действия (*не*) *столько... сколько* попадают придаточные причины: причин тоже может быть несколько, и одна из них может оказать большее влияние.

(20) Я ничего не понял сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем, мною виденным;
(21) Астраханская тюрьма запомнилась мне не столько потому, что была первой на моем адовом пути, сколько потому, что она была единственной в своем роде.

Количественная интерпретация может поддерживаться присутствием в контексте *не только*:

(22) Такое пренебрежение к отдельным «человеко-единицам» <...> может породить подозрения в том, что на Дубровке спасали не только заложников, но собственную репутацию. А кое-кто скажет: не столько заложников, сколько именно репутацию.

Однако в примерах (23)–(25) уже трудно говорить о квантификации на шкале количества или качества, поскольку мы имеем дело с лексемами, описывающими неизменяемые и неизмеряемые признаки: *помнить* в (23), *умер* и *убит* в (24) и *у нее были изумительные волосы* в (25):

(23) – Ты уверен? – тихо и серьезно сказал Цветухин. – Не столько уверен, сколько помню, как ты трясся при мысли о жандармах;
(24) – А кто умер? – Столярек. И не столько умер, сколько убит;
(25) А девочка, дочка: не столько красавица, сколько у нее были изумительные курчавые локоны.

Кроме того, в сферу действия *не столько... сколько* – и это хорошо видно в (25) – попадают предложения в целом[12] (при наличии общих элементов мы имеем дело с их эллипсисом, что, строго говоря, характерно для всех скалярных сравнительных структур). Поэтому и ограничения, накладываемые на предикат, практически снимаются[13]. Тем не менее количественная семантика остается, но квантификация происходит на шкале адекватности описания: описание, данное во втором компоненте (вводимом *сколько*), является, с точки зрения говорящего, более адекватным, по сравнению с описанием, данным в первом компоненте. Ср. в (26)–(27) сочетание *не столько... сколько* с *вернее (было бы сказать)*, подтверждающее, что речь идет о 'словесном' выборе говорящего:

(26) Хотя вернее было бы сказать, не столько он выиграл информационные бои, сколько мы их проиграли, особенно в начале первой чеченской кампании;
(27) Но вот Алексею Самохину мы посчитали нужным ответить. И, вернее, не столько ответить, сколько поговорить на предложенную тему. Поэтому и в рубрику вынесены слова: поговорим, читатель.

Замена *не столько ... сколько* на *больше/меньше... чем* становится невозможной, и здесь коннектор входит в конкуренцию со *скорее... чем*. Прежде чем ответить на вопрос, в чем состоит различие между этими двумя коннекторами, необходимо ответить на другой, не менее важный, вопрос: с какого момента можно говорить о функциональной омонимии наречий *столько* и *сколько* и «союза» *не столько... сколько*, и каково в таком случае его значение?

Если исходить из чисто синтаксических соображений, то о союзе можно говорить тогда, когда языковая единица выполняет в предложении только связующую функцию. Однако, как мы видели, в высказываниях типа (16)–(22), где в сферу действия *столько* и

---

[12] Трудно поэтому согласиться с утверждением С.М. Колесниковой [Колесникова 2010: 247], что *не столько... сколько* «употребляется только в предложениях с однородными членами».
[13] Ср. аналогичную ситуацию в случае *настолько... насколько* [Inkova 2009].

сколько попадают изменяемые и измеряемые признаки и сущности, наречия могут быть интерпретированы как квантификаторы или интенсификаторы. Можно привести другой аргумент в пользу того, что мы имеем здесь дело с союзом: в современном языке в структурах типа (18)–(19) *столько* употребляется только в отрицательной форме. А при сравнении двух признаков на шкале качества (16) в утвердительной форме употребляются скорее *настолько... насколько* (5), реже *так... как* (28) и *столь... сколь*:

(28) Они начали привыкать к довольно размеренной жизни, понимая, что благополучие так же недолговечно, как нечаянно, и все-таки с удовольствием пользуясь им.

Однако, если в современном русском языке употребление *столько* и *сколько* закрепляется за шкалой количества, то еще в XIX в., как известно, употребление *столько* и *сколько* распространялось и на шкалу качества:

(29) Незнакомка была столько же глупа, сколько и прекрасна (Ф.М. Достоевский);
(30) Я столько же уважал ее, сколько любил (И.С. Тургенев);
(31) Читал повесть Бернара «La femme de 40 ans» и остался ею доволен, хотя не столько, сколько бывал доволен другими его вещами (А.В. Дружинин).

Можно предположить, что современное употребление *не столько... сколько* развивается именно из подобных структур и является своего рода семантическим отрицательным коррелятом *настолько... насколько*, выражающим неравенство степени признака, и условия его употребления должны совпадать, с одной стороны, с условиями употребления *(не) настолько... насколько* и с условиями употребления *больше/меньше чем*, с другой. Сразу заметим, однако, что в (29) невозможно заменить положительную форму *столько... сколько* на отрицательную, как невозможно и употребление *скорее... чем*. В чем же дело?

Не столько... сколько имеет со своими потенциальными синонимами целый ряд различий в функционировании в различных типах сравнительных структур[14]. Так, при сравнении однородных признаков *настолько же... насколько* не может оформлять сравнение двух признаков, характеризующих один объект, когда сравниваемые признаки находятся на одной шкале, будь то противоположные половины шкалы (**Он настолько же глупый, насколько умный*) или одна и та же половина шкалы (**Он настолько же умный, насколько гениальный*). В структурах, где сравниваются два признака, принадлежащих двум разным объектам, первое ограничение для *настолько же... насколько* снимается (ср. (6) выше). В сфере неравенства *больше/меньше... чем* сохраняют оба ограничения в обоих типах структур: высказывания *Она больше умна, чем глупа* или *Петя больше умен, чем Вася глуп* звучат в равной степени неестественно, возможно, в силу прагматических причин. *Не столько... сколько* не знает таких ограничений. Можно в равной степени сказать *Он, на мой взгляд, не столько высокий, сколько низкий* или *Он не столько умный, сколько необыкновенно умный*[15], а также *Не столько его жена полная, сколько он худой*.

При сравнении неоднородных признаков *не столько... сколько* также отличается от *настолько же... насколько* и *больше/меньше... чем*. Если последние допускают сравнение неоднородных признаков, принадлежащих как одному, так и разным субъектам (*Она настолько же красива, насколько легкомысленна*; *Он настолько же разочарован*

---

[14] В целях нашего анализа мы используем типологию признаков и устройства градационной шкалы, предложенную для русского языка Ю.Л. Воротниковым [Воротников 2011] на основе работ Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Т.М. Николаевой и Л.А. Новикова. Так, все признаки разделяются на однородные и неоднородные. Однородным является такой признак, «различные степени проявления которого могут быть представлены в языке градационными формами одного и того же прилагательного (наречия), антонимическими парами прилагательных (наречий) и их средним членом, а также синонимическими рядами. Неоднородные качественные признаки представлены разными прилагательными (наречиями), не вступающими между собой в отношения антонимии или синонимии» [Воротников 2011: 158–159].

[15] Впрочем, приемлемость данных примеров не одинаково расценивается носителями языка.

результатом встречи, насколько я удивлен или *Он более умен, чем красив* и *Ты более толст, чем я лыс*[16]), то *не столько... сколько* употребляется, в основном, при сравнении двух признаков, характеризующих один объект (так, высказывание *Не столько я лыс, сколько ты толст* кажется странным, может быть, в силу того, что коммуникативные ситуации, в которых такие высказывания могут быть произнесены, достаточно редки), и только таких признаков, которые могут быть представлены как возможные альтернативные наименования одного признака. Этим объясняется, в частности, неприемлемость замены *столько же... сколько* на *не столько... сколько* в (29), где *глупа* и *прекрасна* не могут расцениваться как различные наименования, одно из которых более адекватно, одного и того же признака.

Перечисленные отличия, а также тот факт, что в высказываниях с *не столько... сколько* синтаксическое место интенсификатора в структуре предложения может быть уже занято – ср. присутствие *очень* в части, вводимой *сколько* в (32) и (33), – позволяют предположить, что в высказываниях с *не столько... сколько* сравниваются два признака безотносительно шкалы данных признаков, что эти признаки берутся абсолютно.

(32) Давыдова… оставалась не столько красивой, сколько очень интересной – благодаря особому шарму, прелести настоящей светской дамы;
(33) «Мертвая зона». Не столько страшно, сколько очень хорошо написано.

Квантификация же производится на шкале адекватности описания, а интерпретация в терминах степени проявления признака является лишь семантическим эффектом, появляющимся в сочетании с предикатами, поддающимися градации, а также, возможно, под влиянием аналогичных структур с другими квантифицирующими местоимениями. О справедливости такой трактовки говорит и тот факт, что *не столько... сколько* практически не знает ограничений на семантику связываемых им компонентов, поскольку в сферу его действия попадает предложение в целом. Об этом, как мы уже отчасти отмечали выше, говорит сразу несколько факторов:

– смещение ударения с *не столько*, а также его место в высказывании: ср. различную интерпретацию *Он читает не столько, сколько спит* (квантификация предикатов *читать* и *спать*) и, с другой стороны, *Он не столько читает, сколько спит* и *Не столько он читает, сколько я* (адекватность описания ситуации),

– тот факт, что место интенсификатора в синтаксической структуре высказывания может быть уже занято, и за *не столько... сколько* можно признать, следовательно, только связующую функцию,

– пропозициональная сфера действия *не столько... сколько*, как в (25) выше или в (34):

(34) Лева просто поздновато стал понимать, что не столько Митишатьевы его давят, сколько он позволяет им это,

– наконец, изменение значения *не столько... сколько* по сравнению с исходным значением составляющих его наречий *столько* и *сколько*.

Совокупность этих признаков позволяет, в принципе, говорить о функциональной омонимии *столько* и *сколько* и *не столько... сколько*, особенно в несвойственной этим наречиям сфере качества. Однако вопрос о необходимости такого радикального их разграничения остается для нас открытым (ср. [Инькова 2010; Inkova 2009; forthcoming]), и мы еще вернемся к нему ниже.

Что касается ограничений, которые *не столько... сколько* накладывает на соединяемые компоненты при интерпретации в терминах дескриптивной адекватности, то единственное ограничение заключается в том, что оба компонента должны интерпретироваться как характеризующие одну ситуацию. И даже если на синтаксическом уровне предложения, связываемые *не столько... сколько*, могут иметь каждый свое подлежащее и свое сказуемое, они все равно характеризуют один и тот же признак (ср. выше предложение (25), которое описывает дочку) или ситуацию (ср. (34) выше). В этой связи вы-

[16] Последние два примера заимствованы из [Воротников 2011: 153].

сказывание *Не столько его жена полная, сколько он худой*, где формально соотносятся два признака, характеризующие двух субъектов, должно быть понято как характеристика жены: «утверждение *его жена полная* в меньшей степени соответствует истине, чем утверждение *он худой*, из чего можно заключить, что его жена вовсе не полная (в отличие от исходного (6), где сравниваются два признака по степени их проявления).

Если, однако, мы признаем за *не столько... сколько* значение выражения степени адекватности описания, то вопрос о его отличии от *скорее... чем*, у которого это значение признается всеми без исключения, встает еще острее. На него мы попытаемся ответить в следующем разделе.

4. *СКОРЕЕ... ЧЕМ*

Прежде всего, отметим, что с этимологической точки зрения *скорее... чем* проходит тот же путь, что и *не столько... сколько*, превращаясь из компаратива, выражающего степень проявления признака *скорый / скоро*, в коннектор, в сферу действия которого попадает предложение в целом и который осуществляет сравнение признаков, взятых абсолютно. Два употребления, как и в случае с *(не) столько... сколько*, сосуществуют в языке. Ср. (35) с употреблением *скорее* как синтетической степени сравнения, на которую падает фразовое ударение, и (36), где *скорее... чем* является коннектором, теряя ударение и выражая различную степень адекватности описаний той или иной ситуации, данных в соединяемых им компонентах:

(35) Скрипка забывалась, так как эластичность пальцев утрачивалась скорее, чем приобреталась беглость;
(36) Он человек скорее скептический, чем восторженный.

Значение *скорее... чем*, проиллюстрированное (36) и (9) выше, признается всеми исследователями, так или иначе затрагивающими данную проблематику[17], и часто определяется – под влиянием идей Есперсена [Jespersen 1924] – как «стилистическое» (ср. [Берков 1996: 111, 155–156; Колесникова 2010]), т.е. касающееся выбора «слов» для более адекватного описания. *Скорее... чем* противопоставляется в этом своем значении *более... чем* [Берков 1996; Колесникова 2010; Воротников 2011] или *не столько... сколько* [Санников 1989], которые, по мнению исследователей, выражают степень проявления признака[18]. Однако, как мы показали в [Инькова-Манзотти 2001], у *скорее... чем* есть еще одно значение, связанное с оценкой вероятности осуществления того или иного положения вещей, как в (37) или в (10) выше, где коннектор связывает две гипотезы относительно происходящего:

(37) Весь этот разговор был как-то ненатурален: мать нападала на него скорее по привычке, чем повинуясь порыву, а он слушал ее вполуха и оба заранее как бы соглашались на ничью.

Эти два значения *скорее... чем* – степень дескриптивной адекватности и степень вероятности осуществления – возникают в разных коммуникативных условиях и на-

---

[17] Единственное, пожалуй, исключение составляет В.В. Виноградов [Виноградов 1947]. Анализируя употребление синтетических и аналитических форм прилагательных, он цитирует «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» [Опыт 1854: 201], где указывается, что в тех случаях, когда «сравнивается напряженность не одной и той же деятельности в различных предметах, а напряженность различной деятельности или качественности в одном и том же предмете», необходимо употреблять сложную форму сравнительной степени: *Он более умен, нежели справедлив*; *В нем более учтивое, нежели дружеское обхождение*. Для Виноградова [Виноградов 1947: 247] в «современном русском языке в этих случаях употребляется выражение: *скорее – чем*». С этим вряд ли можно согласиться.

[18] Хотя, строго говоря, скалярная интерпретация (по степени проявления признака) может «навязываться» контекстом и *скорее... чем*; ср.: *Костя скорее богема, чем чиновник, хотя во время войны в нем изменилось многое (кроме бурной личной жизни) и он стал больше чиновником*, где интерпретация в терминах количества признака поддерживается *больше*.

кладывают разные семантические и грамматические ограничения на соединяемые компоненты. Основное различие между ними состоит в том, что при оценке степени дескриптивной адекватности говорящий знает, каково реальное положение дел, и только колеблется в выборе слов, сравнивая два возможных описания, тогда как при оценке степени вероятности говорящий не знает, что произошло или произойдет в действительности. Ср. (38) и (39):

(38) Офицерские хромовые сапоги были скорее элегантным сооружением из семейства роялей, чем обувью;

(39) – Скажи, Толя, ты поехал бы в Чернобыль, если бы возникло такое задание? – Скорее да, чем нет.

В (38) говорящий видит перед собой сапоги и не знает, как их лучше классифицировать: определение *обувь*, с его точки зрения, им явно не подходит. Оценка соединяемых *скорее... чем* компонентов происходит на шкале адекватности описания. В (39) говорящий рассматривает два возможных развития событий – *поехать* и *не поехать* – и оценивает первое как более вероятное. Оценка соединяемых *скорее... чем* компонентов происходит на шкале вероятности.

Одной из разновидностей 'вероятностного' употребления *скорее... чем* является риторическое употребление типа «адинатон» (от греч. ἀδύνατον 'невозможное'), примером которого может служить (40):

(40) Образ настоящего, безупречного интеллигента, который читает на пяти языках, обожает Пруста и Селина, слушает Мессиана и Ксенакиса, ...и скорее умрет с голоду, чем съест сайру с тарелки «Мадонна», – это образ из эротического сна провинциальной барышни.

В высказываниях типа «адинатон» одно положение вещей (в (40) *умрет*) предпочитается другому (в нашем примере *съест сайру с тарелки «Мадонна»*), причем предпочитается несмотря на то, что первое положение вещей оценивается (всегда или в данной речевой ситуации) в той или иной степени отрицательно, занимая, таким образом, более низкую ступень на шкале предпочтений. В результате происходит инверсия[19] обычного порядка расположения явлений на шкале предпочтений, и функция предпочитаемого положения вещей заключается, прежде всего, в усилении (отрицательной) оценки второго положения вещей, поскольку его осуществления следует избежать любой ценой[20].

Еще одно различие между вероятностным и дескриптивным употреблениями *скорее... чем* (наряду с характером знаний говорящего об описываемом положении дел и оценки на шкалах разного типа) состоит в том, что соединяемые компоненты при дескриптивном описании должны восприниматься как разные наименования одного и того же признака или действия, тогда как при вероятностном употреблении компоненты должны просто расцениваться как две возможные гипотезы относительно развития

---

[19] Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1988: 278–279] называет такие высказывания «инвертированными суждениями о предпочитаемости», в которых действует принцип «извращенного предпочтения». В.З. Санников [Санников 1989: 219] называет данное значение высказываний со *скорее... чем* «значением непреклонности».

[20] В высказываниях данного типа возможно также употребление *лучше... чем*. Основное различие между двумя коннекторами заключается в использовании различного типа шкал. *Скорее... чем* опирается на шкалу вероятности, и выбор между двумя ситуациями осуществляется говорящим. *Лучше... чем* опирается на шкалу предпочтительности, и выбор осуществляется субъектом действия в целях выработки определенной программы действия. Таким образом, *лучше... чем* сравнивает действия, а *скорее... чем* гипотезы. Замена *скорее... чем* на *лучше... чем* возможна только при совпадении говорящего и субъекта действия и только с действиями, относящимися к будущему; ср. неприемлемость *лучше... чем* в (40), в отличие от *«Я скорее уйду в отставку, чем подам руку Советам» – Чемберлен во время Судетского кризиса*, где *лучше... чем* вполне возможно: *я лучше уйду в отставку, чем подам руку Советам*. Предложения «операционального предпочтения» с *лучше... чем* подробно описаны Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]; об условиях, необходимых для возникновения интерпретации типа «адинатон», см. [Инькова-Манзотти 2001; Beaulieu-Masson, Inkova-Manzotti 2003].

событий, принадлежа к одному прагматическому классу событий. Это семантическое различие находит отражение и на синтаксическом уровне. При вероятностном описании *скорее... чем* может связывать предложения, не имеющие общих элементов, как в (41), тогда как при дескриптивном описании *скорее... чем* связывает, как правило, компоненты, имеющие, как минимум, один общий элемент, который и является объектом описания. Таким образом, на основании перечисленных признаков единственно возможной интерпретацией (39)–(40) выше и (41) будет вероятностная, а (42)–(43) – описательная:

(41) Максимум, что удалось, – сделать шампанское романтичным, но оттого не менее узко востребованным. Скорее бизнесмен подарит его своей любовнице, чем молодая пара разопьет у себя дома, а уж тем более возьмет с собой на тусовку;
(42) Он быстро зашел за угол «бунгало» и тут же вышел оттуда, влача за руку странное существо, скорее уж нищую гориллу, чем человеческого мальчика;
(43) По дороге останавливался перебросится репликами с кем-нибудь, улыбался, иногда вроде даже похохатывал; вообще вел себя скорее как на коктейле, чем на панихиде поэта.

5. *СКОРЕЕ... ЧЕМ* И *НЕ СТОЛЬКО... СКОЛЬКО:* СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Первое различие, которое можно констатировать между *скорее... чем* и *не столько... сколько*, заключается в том, что *не столько... сколько* не может употребляться в вероятностном значении *скорее... чем*; ср. его неприемлемость, например, в (39) – **не столько нет, сколько да* – и в (40) с интерпретацией типа «адинатон» – **не столько съест сайру с тарелки «Мадонна», сколько умрет*. Попробуем объяснить причины этой неприемлемости.

Рассмотрим следующий пример:

(44) Голутвенный казак Митрошка справляет все по дому, а боярского сына учителя за книги посадили. Сидит он и не столько читает, сколько скучает.

Коннектор *скорее... чем* в данном контексте невозможен ни в одном из своих значений. Описательная интерпретация невозможна, поскольку *читать* и *скучать* не воспринимаются как разные наименования одного и того же признака, в отличие от (45) с *читать* и *перелистывать журнал*, где *не столько... сколько* и *скорее... чем* взаимозаменяемы.

(45) ...устраивается на шезлонге в саду, возле карликовых помидоров, и читает журнал о частной жизни звезд. Не столько читает, сколько перелистывает / ...Скорее перелистывает, чем читает.

Вероятностная интерпретация в (44) блокирована тем, что говорящий берет на себя ответственность за истинность описываемых ситуаций. Достаточно, однако, изменить контекст и ввести в него, например, показатель эпистемической модальности *наверно*, как *скорее... чем* станет приемлемым (*Сидит он и, наверно, скорее скучает, чем читает*), открывая доступ к вероятностной интерпретации. *Скорее... чем* остается, таким образом, всегда в сфере предположения, а *не столько... сколько*, при отсутствии эпистемических показателей, сигнализирует об ассерторической модальности. Ср. интересный с этой точки зрения пример (46) с гипотетической интерпретацией, где *не столько* предшествует *быть может*, а вторая часть высказывания содержит *скорее*:

(46) И мы очень хотим закрепиться в Европе. Быть может, не столько для того, чтобы много продавать, а, скорее, потому, что это дополнительная ценность работы на российском рынке.

С другой стороны, можно утверждать, что в (44) и (45) интерпретация высказывания в значительной степени опирается на «стандартное» квантитативное значение наречий *(не) столько* и *сколько*. Они вполне заменимы на *больше/меньше... чем*:

количество *читать* не равно или меньше, чем количество *скучать / перелистывать*[21]. Этим же объясняется приемлемость *(не) столько... сколько* в (37), которое мы отнесли к вероятностной интерпретации *скорее... чем*: обстоятельства причины, попадающие в сферу действия коннектора, открывают доступ к количественной интерпретации (ср. сказанное о (20)–(21) выше). Таким образом, пример (45) может быть интерпретирован двояко: либо как сравнение на шкале количества, либо как сравнение на шкале адекватности описания (поскольку он больше перелистывает, чем читает, то наиболее подходящим наименованием того, чем он занимается в настоящий момент, является *перелистывать*). А, значит, и провести границу между «союзом» *не столько ...сколько* и наречиями *(не) столько* и *сколько* в данном случае практически невозможно[22].

«Чисто описательная» интерпретация у *не столько... сколько* возникает лишь тогда, когда в сферу его действия попадают не измеряемые на шкале количества предикаты, которые при этом могут быть расценены как описания одной ситуации, а также в тех случаях, когда *не столько... сколько* вторгается в нехарактерную для него зону квантификации на шкале качества. Но, подчеркнем, в отличие от *(не) настолько... насколько* и *больше / меньше... чем*, *не столько... сколько* сравнивает не степени проявления признака, а степени адекватности описания. Иначе его употребление с предикатами, не поддающимися градации, было бы невозможно (см. выше). Одновременно с этим происходит расширение сферы действия коннектора и утрата им синтаксической функции квантификатора.

«Смешение» *скорее... чем* и *не столько... сколько* происходит, следовательно, только при наличии в высказывании предикатов, которые могут быть интерпретированы как альтернативные наименования одной ситуации. Однако и в своем описательном употреблении *скорее... чем* и *не столько... сколько* имеют различия: *скорее... чем* всегда остается в сфере гипотезы. Говорящий затрудняется в выборе адекватного наименования, сигнализируя только о том, что одно из возможных описаний, с его точки зрения, подходит больше, чем другое, что оно более точно отражает действительность. *Не столько... сколько* переводит предположение в сферу утверждения. Ср. (47) и его трансформацию (48):

(47) Основные спорные вопросы между центром и регионами носят скорее политический характер, чем административный;
(48) Основные спорные вопросы между центром и регионами носят не столько административный характер, сколько политический.

Этим же объясняется невозможность подстановки *скорее... чем* в (23), так как в сферу его действия попадает предикат *уверен* в 1 лице ед. числа. В пользу нашей гипотезы говорит и замечание Санникова [Санников 1989: 213] об «элементе неопределенности», который содержат высказывания со *скорее... чем*. Санников отмечает также невозможность использования *скорее... чем* в побуждениях, в отличие от *не столько... сколько* (*Будь не столько вежлив, сколько добр* – ??*Будь скорее вежлив, чем добр*), что также подтверждает статус гипотезы (или, в терминологии Санникова [Там же: 207], «мнения»), характеризующий компоненты, соединяемые *скорее... чем*, несовместимый с речевым актом побуждения.

Кроме того, предложения с *не столько... сколько* и *скорее... чем* отличаются коммуникативной структурой, а именно порядком следования тематического и рематического компонентов. *Не столько... сколько* сначала вводит тематический компонент, предмет полемики, указывая на то, что он менее адекватный, тогда как *скорее... чем* сначала вво-

---

[21] Интересно, что именно к такого рода высказываниям лучше всего применимо определение, которое дает [Санников 1989: 207] «союзу» *не столько... сколько*: «*не столько... сколько* – это соединение двух компонентов (событий, признаков) в разной пропорции».

[22] Заметим также, что в данных семантических структурах вместо *сколько* может быть *как*, что лишний раз подчеркивает их сравнительную основу: *Он собирал книги не столько для себя, как для маленьких друзей, приваживая их любить чтение.*

дит рематический, замещающий элемент, а потом тот, который замещен. Отсюда неприемлемость в некоторых контекстах, допускающих оба коннектора, замены одного коннектора на другой: изменение места тематического компонента, который, как известно, несет ответственность за связь предложения с текстом, может нарушать связность текста. Так, замена *не столько... сколько* на *скорее... чем* в (27) – т.е. *И даже скорее поговорить на предложенную тему, чем ответить* – нарушает тематическую прогрессию. В (49) замена *скорее... чем* на *не столько... сколько* (50) создает проблемы с разрешением анафоры во фразе, следующей за той, в которой употреблен коннектор:

(49) Ударить его по лицу? Унизить? Может, мне нужно было его раскаяние, просьбы о прощении? Странно, я испытывал ненависть скорее к матери и отчиму, чем к этому человеку, о котором ничего не знал. А вдруг он испугается, что мне от него чего-то надо? Захочет откупиться?

(50) ...Странно, я испытывал ненависть не столько к этому человеку, о котором ничего не знал, сколько к матери и отчиму. А вдруг он испугается, что мне от него чего-то надо? Захочет откупиться?

Наконец, *скорее... чем* с описательным значением сравнивает признаки, приписываемые всегда одному объекту [Инькова-Манзотти 2001: 354–356; Воротников 2011: 155–156], что находит отражение в синтаксической структуре высказывания: оба компонента должны обладать определенной симметричностью синтаксической структуры, выражающейся, как минимум, в наличии общего подлежащего. Поэтому *скорее... чем* невозможен в (25) или в (34), в отличие от *не столько... сколько*, который не знает таких ограничений.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Завершая сравнительное описание *не столько... сколько* и *скорее... чем*, мы должны ответить еще на один вопрос: какой тип логико-семантических отношений устанавливают эти языковые единицы? Насколько правомерно относить их к разряду градационных союзов? В.З. Санников [Санников 1989: 213] справедливо замечает в заключение своего анализа союзов, которые он относит к градационным, что ему «не удалось выделить единое общее основание градационности». Градация, на наш взгляд, является не столько логико-семантическим отношением, сколько семантическим механизмом, лежащим в основе разного рода языковых явлений, в том числе и различных логико-семантических отношений между высказываниями. Так, например, отношение сравнения может быть скалярным и нет. А, значит, в его рамках можно выделить сравнение, опирающееся на механизм градации и не опирающееся на него. В рамках присоединительных отношений также можно выделить группу единиц, которые опираются на градацию (*более того* в сравнении с *кроме того* или *причем*). *Вернее, точнее* могут семантически усложнять альтернативные отношения (*или, вернее*) и т.д. Семантический компонент градации отличает *скорее... чем* от *вместо того чтобы*, при этом оба коннектора на достаточно веских основаниях можно отнести к выражающим заместительные отношения [Инькова-Манзотти 2001: глава VI][23].

Достаточно спорным, напротив, является критерий, на основании которого [Санников 1989: 147–148] относит *не столько... сколько* и *скорее... чем* к соединительным союзам, а именно, что в их смысл входит сема «оба компонента (X и У) существуют». Мы показали в [Инькова-Манзотти 2001: глава VI], что с помощью *скорее... чем* говорящий всегда производит прагматический выбор одной из ситуаций[24], что отличает коннекторы замещения от коннекторов, выражающих отношение альтернативы. Впрочем, Санников [Санников 1989: 208] также говорит, анализируя *скорее... чем*, что гово-

---

[23] [РГ-80 II: 490] относит их к предложениям с сопоставительным значением.

[24] Такого же мнения придерживается и М.В. Ляпон [Ляпон 1986: 98], для которой в построениях со *скорее* «первая версия отбрасывается».

рящему принадлежит только одно из двух мнений. Ср. (51), где о существовании двух компонентов (*литература* и *мысль*) можно говорить только до употребления *скорее... чем*, так как дальнейший текст принимает во внимание только один из компонентов (*литература*):

(51) Но можно ли в свете изложенного утверждать, что за полтора века медитаций на темы провокации русская литература и русская мысль так ничего, по существу, и не добилась? Нет, добилась, причем скорее литература, чем мысль. Достоевский в «Бесах» разглядел внутреннюю пружину поведения революционеров-провокаторов.

Что касается *не столько... сколько* в дескриптивном значении, то здесь тоже довольно трудно согласиться с тем, что оба компонента существуют. Тем более что *не столько... сколько* может употребляться в высказываниях вместе с *не... а*, вводящим отношение коррекции, а также с *не то чтобы*, которое словари определяют, с одной стороны, как синоним *не столько... сколько* [МАС], а с другой, как выражающий ослабленное отрицание [Ушаков; БАС]. Так, в (52):

(52) Ее Рим – не победоносный, а стареющий и хорошеющий от времени, не столько Вечный, сколько уютный, женственный, словом – прекрасная старая дама

завершающее определение *прекрасная старая дама* вряд ли опирается на первые компоненты соединяемые *не... а* и *не столько... сколько*, соответственно, *победоносный* и *вечный*. Ср. также (53), где первая часть коннектора *не столько* поставлена в один ряд с *не то чтоб* и участвует в оформлении отношения коррекции, в котором один из компонентов исправляет, замещает другой:

(53) Говорили они, как сосед опять же утверждает, не столько дружески, не то чтоб выпить-закусить собрались, а как бы по делу, деловито так, спокойно.

Кроме того, для анализа функционирования *не столько... сколько* первостепенное значение имеет учет сферы его действия, с одной стороны, а с другой, семантической природы компонентов, которые попадают в эту сферу действия, причем, как мы показали, границу между наречным употреблением – *(не) столько* и *сколько* – и «союзным» – *не столько... сколько* – возможно провести далеко не всегда. Эта особенность сближает высказывания, оформляемые данными языковыми единицами, с другими сравнительными структурами, оформленными при помощи указательных и относительных местоимений (*настолько... насколько*, *как... так* и т.п.), с которыми у *(не) столько... сколько* есть и другие общие признаки [Инькова 2010; Inkova forthcoming]. На наш взгляд, более продуктивно рассматривать эти единицы вместе в рамках соотносительных структур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова 1988 – *Н.Д. Арутюнова*. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.

Белошапкова 1977 – *В.А. Белошапкова*. Синтаксис современного русского языка. М., 1977.

Берков 1996 – *В.П. Берков*. Семантика сравнения и типы ее выражения // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

Бодуэн де Куртенэ 1963 – *И.А. Бодуэн де Куртенэ*. Количественность в языковом мышлении // И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.

Виноградов 1947 – *В.В. Виноградов*. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947.

Воротников 2011 – *Ю.Л. Воротников*. Категория меры признака в смысловом строе русского языка. М., 2011.

Галкина-Федорук и др. 2010 – *Е.М. Галкина-Федорук, К.В. Горшков, Н.М. Шанский*. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2010.

Долинина 1996 – *И.Б. Долинина*. Количественность в сфере предикатов (категория «глагольной множественности») // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

Инькова-Манзотти 2001 – *О.Ю. Инькова-Манзотти*. Коннекторы противопоставления во французском и русском языках. Сопоставительное исследование. М., 2001.
Инькова 2010 – *О.Ю. Инькова*. Соотносительные предложения русского и французского языков: сходства и различия // L'Analisi linguistica e letteraria. 2010. XVIII.
Князев 1996 – *Ю.П. Князев*. Степени сравнения и точки отсчета // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.
Колесникова 2010 – *С.М. Колесникова*. Функционально-семантическая категория градуальности в современном русском языке. М., 2010.
Ляпон 1986 – *М.В. Ляпон*. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
МАС – Словарь русского языка в четырех томах / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981.
Опыт 1854 – Опыт общесравнительной грамматики русского языка, изданный вторым отделением императорской Академии Наук. СПб., 1854.
РГ-70 – Грамматика современного русского литературного языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1970.
РГ-80 – Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980.
Санников 1989 – *В.З. Санников*. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
Санников 2008 – *В.З. Санников*. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 2008.
Ушаков – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2001.
Черемисина 2006 – *М.И. Черемисина*. Сравнительные конструкции русского языка. М., 2006.
Шувалова 1990 – *С.А. Шувалова*. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения. М., 1990.
Янко 2001 – *Т.Е. Янко*. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
Beaulieu-Masson, Inkova-Manzotti 2003 – *A. Beaulieu-Masson, O. Inkova-Manzotti*. *Plutôt que*: de la comparaison à la substitution // L'Analisi linguistica e letteraria. 2003.
Hadermann, Inkova 2010 – *P. Hadermann, O. Inkova* (éds.). Approches de la scalarité. Genève, 2010.
Inkova 2009 – *O. Inkova*. Scalarité endophrastique *vs* scalarité exophrastique: quels types d'échelle? // Orientalia Parthenopea. 2009. V. 10.
Inkova 2010 – *O. Inkova*. De l'anaphore à la scalarité. De quelques expressions anaphoriques en russe // P. Hadermann, O. Inkova (éds.). Approches de la scalarité. Genève, 2010.
Inkova forthcoming – *O. Inkova*. Domaines de la corrélation en russe // O. Inkova, P. Hadermann (éds.). La corrélation. Aspects syntaxiques et sémantiques. Genève, forthcoming.
Jespersen 1924 – *O. Jespersen*. The philosophy of grammar. London, 1924.
Rivara 1990 – *R. Rivara*. Le système de la comparaison. Paris, 1990.
Sapir 1944 – *E. Sapir*. Grading: A study in semantics // Philosophy of science. 1944. V. 11.

Сведения об авторе:

Ольга Юрьевна Инькова / Olga Inkova
Université de Genève,
Olga.Inkova@unige.ch

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. Г. ХЕНТШЕЛЬ

БЕЛОРУССКИЙ, РУССКИЙ И БЕЛОРУССКО-РУССКАЯ СМЕШАННАЯ РЕЧЬ*

Вопреки распространенному мнению о том, что белорусско-русская смешанная речь (БРСР), известная также под названием «трасянка», совершенно негомогенна (нерегулярна) или даже хаотична в отношении распределения белорусских или русских элементов, т. е. выражений и конструкций, на основе анализа корпуса, состоящего из разговоров, зафиксированных в семейном кругу, описывается ряд тенденций к стабилизации предпочтений русских (в большинстве случаев) или же, напротив, белорусских (реже) вариантов на различных структурных уровнях. Также подчеркивается, что именно БРСР в последние десятилетия являлась для миллионов белорусов кодом первой языковой социализации, а усвоение русского и белорусского языков следует понимать как вторичный процесс в смысле изучения блокирования элементов из общего инвентаря, являющихся неприемлемыми в различных социальных контекстах, если требуется говорить по-русски или (реже) по-белорусски. При этом проводится параллель между белорусской ситуацией и языковой ситуацией в южной Германии, где в городах распространены смешанные идиомы, возникшие на основе местных диалектов и немецкого литературного языка.

Ключевые слова: языковой контакт, смешение кодов, переключение кодов, заимствование, усвоение смешанной речи, городские диалекты, «трасянка»

Contrary to common opinion that considers Belarusian-Russian mixed speech (BRMS), also known as «Trasyanka», to be highly irregular or even chaotic with respect to the distribution of Belarusian or Russian elements, i. e. expressions and constructions, a series of tendencies towards stabilisation of preferences of partially Russian (mostly), partly Belarusian (more rarely) variants at different structural levels will be described that are based on a corpus analysis of family speech. It is argued that during recent decades BRMS was the code for initial language socialisation for millions of Belarusians and that the acquisition of Russian and Belarusian is to be understood as secondary acquisition consisting in blocking elements of the complete inventory of BRMS that are inappropriate in different social contexts where either Russian or (more rarely) Belarusian is required. The Belarusian situation is placed within a series of speech situations that also encompasses South Germany, where in urban settings mixed varieties of local dialects and standard German is spoken.

Keywords: language contact, code mixing, code switching, borrowing, acquisition of mixed speech, urban dialects, Trasyanka

---

* Исследование проведено в рамках проекта «Трасянка в Белоруссии: Смешанный код как продукт белорусско-русского языкового контакта. Языковое структурирование, социолингвистические механизмы идентификации и “экономика” языка». Проект выполняется автором настоящей статьи и Бернхардом Киттелем (факультет социальных наук Ольденбургского университета, а с 2012 г. – экономический факультет Венского университета) при сотрудничестве с Белорусским государственным университетом в Минске (в частности, с Сергеем Запрудским, кафедра истории белорусского языка филологического факультета БГУ, и Давидом Ротманом, Центр социологических и политических исследований БГУ) и финансируется фондом Фольксваген (VolkswagenStiftung). Я благодарен Сергею Запрудскому, Томасу Менцелю и Светлане Теш за комментарии к черновой версии этой статьи. За ценные замечания благодарю рецензента «Вопросов языкознания». Ответственность за оставшиеся ошибки целиком и полностью лежит на мне.

ВВЕДЕНИЕ

Территория современной Белоруссии на протяжении веков являлась областью экстенсивных и интенсивных языковых контактов. В конце XIX в. русский язык сменил польский в роли языка элиты. Белорусский язык развился до уровня современного литературного языка только к концу XIX – началу XX в., достигнув наивысшего статуса в 1920-е годы благодаря либеральной и плюралистической языковой политике советской власти раннего периода. После Первой и вплоть до Второй мировой войны доминирующим языком для западной части страны вновь стал польский. На востоке, а после 1945 г. – по всей стране, значимость белорусского как литературного языка значительно снизилась вследствие укрепления власти Сталина в 1930-е гг. и последовавших за этим нескольких периодов жесткой языковой политики. В последние десятилетия в белорусском обществе значительный вес приобрел русский язык, причем не только в общественной жизни, но и в неформальной коммуникации. Исследование [Хентшель, Киттель 2011], проведенное в семи белорусских городах (столице и шести районных центрах)[1], показало, что только 18% респондетов регулярно используют белорусский язык (в частности, постоянно 2%, часто 16%), в то время как русским регулярно пользуются 73 % респондентов (в частности, постоянно 45%, часто 28%).

Белорусский и русский очень близки генетически и чрезвычайно похожи структурно. В некоторой мере они взаимопонятны, однако не полностью, как утверждают некоторые исследователи, но в степени, достаточной для полукоммуникации и постепенного сближения кодов в разговоре, причем обычно в направлении русского.

Без сомнения, в Белоруссии уже с XIX в. существовали формы смешения двух языков, например, в речи белорусов, которым для общения с русскими властями или знатью необходимо было усваивать их язык. Это нашло свое отражение в художественной литературе (см., например, комедию В.И. Дунина-Мартинкевича «Пинская шляхта»). Кроме того, в период между двумя мировыми войнами в восточной части Белоруссии, без сомнения, степень распространения смешанной белорусско-русской речи увеличивалась, особенно после того, как закончилось время либеральной советской политики в отношении национальных языков, в сельской местности прошла насильственная коллективизация, а в городах усиливалась индустриализация. Тем не менее Белоруссия до Второй мировой войны по существу оставалась аграрным регионом, и если, как отмечает [Курцова 2005], белорусские диалекты в деревнях и сегодня широко распространены, то следует предположить, что в период между мировыми войнами они явно доминировали в качестве основного средства коммуникации для подавляющей массы населения Белоруссии.

После Второй мировой войны социодемографические условия советской Белоруссии радикально изменились. Произошла массовая индустриализация, результатом которой стала массовая миграция из деревни в город и, следовательно, массовая урбанизация. Сейчас 75% населения Белоруссии живет в городах. Городская среда потребовала от новых горожан отказаться от белорусского (часто деревенского, диалектного[2]) в пользу русского – такого, который они знали (см. подробнее в [Zaprudskij 2007]). Более того, они стали учить детей говорить на этом «языке» (см. [Хентшель, Киттель 2011]), так как владение русским способствовало социальному благополучию. Это явление заложило фундамент для развития и распространения БРСР.

---

[1] Исследование основано на опросе 1 400 респондентов – по 200 из каждого населенного пункта: пос. Октябрьского и г. Слонима (на территории юго-западных говоров), поселков Шарковщины и Хотимска (на территории северо-восточных говоров), а также городов Сморгони, Рогачева и Минска (на территории переходных говоров). Во всех перечисленных населенных пунктах (за исключением Минска) проживает от 10 000 до 50 000 человек.

[2] О влиянии русского языка на белорусский язык деревни до и даже после Второй мировой войны трудно судить. Диалектологи, как правило, не обращались к этому вопросу и обычно игнорировали любые лингвистические черты или элементы, которые они считали (недавними) русскими заимствованиями. Все-таки нельзя исключать, а скорее можно предполагать, что смешанная белорусско-русская речь в белорусских деревнях в какой-то мере существовала и до начала миграции сельского населения в города.

Поэтому БРСР сегодня едва ли можно назвать продолжением смешанной белорусско-русской речи периода до Второй мировой войны (несмотря на отдельные, конкретные структурные совпадения в довоенной и послевоенной БРСР в фонетике и фонологии, морфологии, морфосинтаксисе, лексике и т.п.). Это скорее новообразованная, современная версия языка сельских мигрантов, являющихся носителями белорусских диалектов и вступающих в тесный, часто ежедневный контакт с русским языком. Тенденции к предпочтению белорусских, русских или гибридных фонетических, морфологических, морфосинтаксических или лексических вариантов, т. е. деиндивидуализация отдельных предпочитаемых элементов, отмечаются при этом на уровне социальных микроструктур, таких как семья, дружеские отношения, трудовые коллективы, появившиеся после Второй мировой войны.

Из опрошенных при подготовке исследования [Хентшель, Киттель 2011] 41% респондентов ответили, что БРСР является для них основным средством коммуникации (русский – для 55%, белорусский – для 4%). На вопрос о том, какие языки используются в их семье, 73% респондентов среди других языков назвали БРСР (русский – 54%, белорусский – 48%; разрешалось называть более одного языка)[3].

БРСР стала темой научной дискуссии только в последние два десятилетия (обзор работ см. в [Bieder (в печати)]). Что касается ее статуса, некоторые ученые (обычно белорусские: см., например, [Cychun (в печати); Mečkovskaja (в печати)]) заявляют, что смешение языков в речи происходит совершенно спонтанно, без конвенционализации и формирования смешанного языка, и подчеркивают ее высокую вариативность. Другие общие признаки, которые приписываются БРСР, – это «несистематичность», «стихийность» и даже «хаотичность» [Мечковская 2007: 91]. Мечковская описывает БРСР (точнее «трасянку») как набор отдельных, индивидуально различных русифицированных вариантов [Мечковская 1994: 313]. Т. е. имплицитно она не исключает возникновения узуса, но только в рамках идиолекта. Вряд ли можно считать это представление убедительным, если учесть наблюдение Милроя о том, что люди, которые контактируют и взаимодействуют, используют похожие языковые модели [Milroy 1987]. Предположение факта формирования узуса в различных социальных микросистемах (Милрой называет их «networks») является гораздо более обоснованным, вопрос, однако, заключается в том, насколько широки в случае БРСР социальные границы таких сетей (семья, круг друзей и коллег, город, регион и т. п.).

Другие исследователи, такие как, например, [Liskovets 2009], считают конвенционализацию автоматическим процессом и указывают на очевидные гибридные явления, фиксирующиеся на всех языковых уровнях. Недостаточно внимания уделяется наблюдениям П. Традгилла [Trudgill 1986], указавшего на то, что при возникновении новых смешанных диалектов (а структурные различия между белорусским и русским позволяют сравнивать их с диалектами) стабилизация, т. е. существенное снижение вариативности, происходит только в четвертом поколении носителей смешанной речи. Мало внимания также обращается на тот факт, что речь, частично основанная на смешанном идиоме[4], имеет тенденцию сохранять заметную вариативность все то время, пока два (или больше) исходных идиома продолжают использоваться в данном социальном контексте. Подобная ситуация, несомненно, имеет место в Белоруссии, хотя белорусский (по крайней мере, его литературный вариант) употребляется заметно реже русского и находится под угрозой постепенного вымирания.

При таком положении вещей единственным способом зафиксировать тенденцию к развитию нового смешанного идиома В является квантитативный анализ предпочтения элементов А или Б (белорусского, русского или гибридного) во множестве структурных парадигматических и синтагматических позиций, следующий установкам вариационистского подхода к (контактной) социолингвистике (см. [Dubois, Sankoff 2001]).

---

[3] Относительно распределения по социальным слоям см. [Kittel et al. 2010].

[4] Под «идиомом» понимается общий термин для обозначения различных языковых образований, особенно в тех случаях, когда определение их лингвистического статуса затруднено (см. [ЛЭС]).

Этот подход позволяет обосновать гипотезу П. Ауэра [Auer 1999], который пишет, что разные формы двух смешивающихся языков в дискурсе и речи, т. е., в его терминах, переключение кодов, смешение кодов и смешанный язык, могут налагаться друг на друга: спонтанное и конвенционализированное (в широком смысле) смешение может сосуществовать в речи, даже в речи одного индивида.

До последнего времени такой анализ не был возможен из-за отсутствия корпуса смешанной белорусско-русской речи. В ходе исследовательского проекта, названного выше, такой корпус был собран (см. [Hentschel 2008a]). Данные были получены в тех же городах, где проводились социолингвистические интервью[5]. Основная часть корпуса состоит из транскрибированных разговоров в семейной обстановке (с участием родственников, друзей, соседей), которую исследователи единогласно признают главной областью функционирования смешанной речи в Белоруссии. Анализ, приводимый далее, основывается на этом материале, за исключением особо оговоренных случаев. Корпус содержит примерно 38 тыс. высказываний, преимущественно простых, а также сложных предложений, включающих в себя 212 тыс. словоформ.

БЕЛОРУССКО-РУССКАЯ СМЕШАННАЯ РЕЧЬ (БРСР)

1. СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ БРСР

А.Е. Супрун (см. [Супрун 1987]) констатирует, что около 80% «слов» в белорусском и русском не различаются. Основная суть данного утверждения заключается в том, что, во-первых, у этих двух языков много общих элементов и черт, и во-вторых, во многих случаях сложно решить, считать ли данный элемент или признак белорусским, русским или общим. У этой классификации есть несколько измерений, важнейшие из которых будут кратко разобраны ниже (см. подробнее в [Hentschel 2008a]).

(а) Например, и в белорусском, и в русском мы находим предлог *за* со значением ‘позади, у’ в прототипическом значении места или направления; в этом значении он управляет творительным падежом. В таких контекстах, как блр. *за сталом*, русск. *за столом*, *за*, несомненно, является общим, тогда как во многих других употреблениях он должен описываться как лингвоспецифичный, например, в таких случаях, когда в одном языке в определенном контексте используется *за*, а во втором – другой предлог или другая морфосинтаксическая конструкция: блр. *больш за сорак*, русск. *больше сорока / больше, чем сорок*. Только в белорусском языке сравнительная степень прилагательных и наречий образуется при помощи предлога *за* в сочетании с винительным падежом; в русском в этом контексте мы видим управление родительным падежом или элемент *чем*, традиционно описываемый как союз. Тот же принцип контекстной обусловленности применяется при анализе морфологических элементов, например префиксов. Так, в обоих языках есть префикс *за-*: в случае блр., русск. *закуска* он описывается как общий, тогда как в следующей паре слов: блр. *забіць* vs. русск. *убить* – только в белорусском есть *за-*, и здесь он описывается как белорусский элемент.

Отметим, что в корпусе каждый морф (точнее, каждое вхождение) индексируется как белорусский, русский, общий или гибридный[6]. Характер более сложных лингвистических знаков выводится из индексации входящих в него морфов[7].

---

[5] За одним исключением: вместо г. Слонима запад территории юго-западных говоров в корпусе представлен г. Барановичами.

[6] Внутриморфемная гибридность, т. е. гибридность внутри минимального языкового знака, встречается редко. Случай гибридности в фонологическом представлении некоторых морфов будет обсуждаться ниже. С другой стороны, чем выше уровень языкового знака (морф < словоформа < словосочетание < клауза < сложное предложение...), тем выше вероятность гибридизации.

[7] В тех случаях, когда морфы данной словоформы общие для двух языков, но значение целой словоформы специфично для одного из них, используется холистический подход. Например, *жонка* в белорусском – нейтральное слово со значением ‘жена’, тогда как в русском оно может быть диминутивом от *жена* или, скорее, его стилистически сниженным эквивалентом.

(б) Достаточно сложная проблема связана с фактом, что в некоторых случаях языковые элементы или черты белорусских диалектов находят ближайшие соответствия не в литературном белорусском языке, а в литературном русском (см. [Ramza 2008]). При анализе корпуса процедура классификации проводилась следующим образом: языковой элемент, который больше похож на литературный русский, чем на литературный белорусский, получает ярлык русского. В свою очередь, элемент, больше похожий на литературный белорусский, получает ярлык белорусского. А элемент, не найденный ни в русском, ни в белорусском литературном языке, но встречающийся в диалектах региона, откуда происходит респондент[8], получает ярлык диалектного.

Как следует из (а) и (б), приписывание ярлыков «белорусскости» или «русскости» при таком анализе не означает, что соответствующий элемент конструкции «взят» из того или другого языка носителем-билингвом с примерно одинаковым знанием обоих языков (см. ниже). Скорее это является описательным утверждением о схожести с элементами или чертами (главным образом) литературных вариантов белорусского или русского.

(в) Другой важный вопрос: в какой мере фонетические характеристики слов, зафиксированных в корпусе, могут учитываться при отнесении морфа, словоформы и т. д. к белорусскому или русскому при попытке фиксации смешанного языка. Хорошо известно, что в русской речи у многих белорусов, которые хорошо и даже очень хорошо говорят по-русски, в той или иной мере наблюдается фонетическая интерференция белорусского языка. Такого рода белорусское произношение в русском является одной из главных характеристик[9] идиома, называемого белорусским нациолектом русского; ср., например, швейцарский вариант литературного немецкого, который не следует путать с так называемым «швейцарским немецким» («Schwizerdütsch»). Последний мы наблюдаем в форме алеманнских говоров и в форме городских койне на основе этих говоров. Как литературный немецкий, так и «Schwizerdütsch» используется на телевидении и радио[10]. Разумеется, не имеет смысла рассматривать вариант русского языка с заметной и регулярной фонетической интерференцией со стороны белорусского как случай смешанной речи. Отсюда одно важное методологическое следствие: если белорусская фонетика регулярно наблюдается в русской речи белорусов, то фонетические характеристики белорусского нельзя автоматически интерпретировать как указание на то, что словоформа является белорусской: не только белорусские, но и любые русские, общие и гибридные словоформы могут произноситься с белорусской фонетикой (так чаще всего и происходит, см. ниже раздел 2). Таким образом, фонические черты могут быть разделены на две группы: собственно фонические, т. е. фонетические и фонологические[11], и связанные с морфонемическими репрезентациями.

Следующие звуковые различия (блр. vs. русск.) представляют собой примеры собственно фонического типа: *будзеш* vs. *будешь*, где интервокальное [dz'] противопоставлено [d'], *бура* vs. *буря* – [r] vs. [r'], *чума* vs. *чума* – начальное [tʃ] vs. [tʃ'/tɕ]. Обе формы в приведенных парах в корпусе классифицируются как общие. Следующие различия

---

[8] Тот факт, что полного описания морфемного, словарного и т. д. состава белорусских диалектов не существует, создает некоторую, хотя и минимальную, вероятность ошибки при этой процедуре, которой нельзя избежать. Скорее всего, такого рода полного описания никогда не будет сделано: белорусские диалекты также находятся под все возрастающим влиянием русского языка.

[9] Существуют и другие языковые феномены, в первую очередь спорадические случаи употребления белорусских слов, особенно при описании белорусских реалий и упоминании ближайших родственников, т. е. уникальных или почти уникальных референтов.

[10] При этом распределяются названные разновидности следующим образом: новости мировой политики, например, идут на швейцарском варианте литературного немецкого, местные новости, новости спорта и прогноз погоды – на «швейцарском немецком» («Schwizerdütsch»).

[11] Ср. [Matras 2009: 58] о вторичном статусе собственно фонетических и фонологических явлений в этих контекстах.

относятся к морфонемическим: *будзе_* vs. *будем* – *_Ø* vs. [_t], *ён, яна* vs. *он, она* – [j_] vs. *Ø_*, *руц-э* vs. *рук-е* – [ʦ] vs. [k'/c] в конце основы.

Отсутствие конечного [t] в белорусской форме из первого примера указывает на разные окончания: блр. *-е* vs. русск. *-ет*. Конечное [t] в белорусском не запрещается фонетическими правилами. Начальное [j] в двух белорусских анафорических местоимениях не обусловлено активным фонетическим процессом протетического типа (звук [j] в формах именительного падежа развился по аналогии с формами косвенных падежей). Постальвеолярная же аффриката в белорусском предложном падеже единственного числа от слова *рука* является известным морфонемическим отражением второй славянской палатализации, произошедшей во время распада общеславянского языка на отдельные языки примерно 1 200 лет назад, – отражением, которое в русском склонении позже было утрачено в результате аналогического выравнивания. Таким образом, для базовой классификации морфов и словоформ в БРСР на белорусские, русские, гибридные или общие имеют значение только такие различия в плане выражения, которые основаны на морфонемическом противопоставлении. Однако корреляция с релевантными фонетическими чертами белорусского и русского, разумеется, должна также учитываться[12].

2. ПРОИЗНОШЕНИЕ В БРСР: НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Фонетика БРСР в основном белорусская, независимо от отнесенности морфов или словоформ к русскому или белорусскому языку по другим признакам. (Эта точка зрения в целом разделяется всеми учеными, занимающимися БРСР.) Однако есть некоторые явления в рамках БРСР, которые требуют более точного разделения, поскольку оно может позволить нам лучше понять, как один из двух генетически близких языков может влиять на другой в области фонетики.

(а) В белорусском (в литературном и в диалектах, также как в украинском и в южнорусских диалектах) есть фрикативный /ɣ/, тогда как в русском (в литературном и в северных и центральных диалектах) ему соответствует взрывной /g/. Взрывной [g] отмечается в некоторых заимствованиях в литературном белорусском (он также обозначается графемой «г»), однако в речи он часто заменяется на [ɣ].

(б) И в белорусском, и в русском происходят процессы, ведущие к сильной редукции гласных в безударных слогах. Один из них важен в данном контексте, поскольку он дает совершенно разные фонетические результаты в белорусском и в русском. Речь идет о редукции в первом предударном слоге с палатализованным согласным перед гласной. Грубо говоря, в белорусском языке фонетической реализацией фонем /e, a, o/ в этой позиции является [a], тогда как в русском они реализуются как [ɪ] (так же, как и безударный /i/). Данное явление в белорусском называется яканьем, в русском – иканьем. Иканье не отражается в русской орфографии, в то время как большинство случаев яканья отражается в белорусской: ср. блр. *яму* и русск. *ему* [jɪmu].

Некоторые белорусские исследователи признают (например, [Рамза 2011: 53]), что даже убежденные носители литературного белорусского достаточно часто не произносят ясного открытого [a], которого требует норма. До настоящего времени этот вопрос остается недостаточно исследованным, но можно заметить, что получающийся компромиссный звук обычно сдвинут в направлении [e]. Кроме того, в белорусском есть словоспецифичные случаи иканья, как в *німа* vs. *няма* 'нет'.

(в) В белорусском часто возникают протетические согласные, даже в кодифицированном стандарте: ср. блр. *гэтаму* vs. русск. *этому*; блр. *яна* (см. выше) vs. русск. *она*. Протетический звук [ɣ], *г* возник в результате исторического (сегодня уже неак-

[12] Описание взаимодействия фонетического с более абстрактными уровнями, например при переключении кодов и при смешанной речи (ср. [Bullock 2009]), – одна из будущих целей проекта.

туального) процесса; начальный [j] в формах именительного падежа анафорических местоимений, как уже было сказано, развился по аналогии. В то же время в современном белорусском языке мы находим слова или словоформы, начинающиеся с э-, *а-* без протетических согласных.

Однако один из протетических согласных употребляется почти без исключений и поэтому традиционно считается все еще относящимся к области фонологии, хотя некоторые исследователи уже говорят о том, что он превращается в морфонемическую черту, специфичную для определенных морфем или слов (ср. [Лукашанец 2007: 17–18]). Речь идет о блр. фонеме /v/ перед ударными /u, o/, отсутствующей в литературном русском[13]: блр. *вуліца* vs. русск. *улица*.

Во всех трех явлениях, перечисленных выше, содержатся более или менее выраженные указания на переход из фонического, т. е. фонетическо-фонологического в морфонемический статус. В каждом случае различия могут быть легко замечены и повторены белорусом, в отличие от других, чисто фонических, различий. В этом отношении они являются легко заметными и, следовательно, служат идеальными кандидатами для сознательной имитации (в смысле, предложенном в [Trudgill 1986: 12–16]), благоприятствующей неосознанной аккомодации.

В проанализированном корпусе частота белорусских и русских вариантов для разных явлений различна:

(а) Примерно в 94% из 11 000 случаев наблюдается белорусское [ɣ].

(б) Почти в 18 000 релевантных случаев транскрипторы отмечали [i] или [a] с равной частотой: на каждый вариант приходится приблизительно по 40%. В 20% случаев наблюдался промежуточный [e][14]. (Такое произношение, называемое «еканьем», типично для многих русских диалектов и было нормой русского языка около ста лет назад.)

(в) В 88% случаев фиксируется русский вариант, т. е. формы без протетического [v].

Как можно объяснить эти различия, особенно большое расхождение между (а) и (в)?

В [Trudgill 1986: 16] утверждается: «Хорошо заметные черты становятся центром притяжения при аккомодации, за исключением тех случаев, когда другие факторы замедляют, ослабляют или даже блокируют аккомодацию». Эта закономерность очевидно действует и здесь.

В случае (а) аккомодации к русскому варианту в большинстве случаев не происходит. Препятствующие факторы здесь следующие. Во-первых, несмотря на то, что нормативным произношением для русского языка является [g], многие люди, происходящие с юга России, произносят [ɣ] (или [x] вместо [k] в позициях оглушения). Во-вторых, фрикативный [ɣ] имеет церковные коннотации, так как в литературном русском слово *Бог* до сих пор содержит фрикативный звук (старый след влияния киевского церковнославянского), хотя в других словах, даже в русском изводе церковнославянского, произносится [g], ср. [Plähn 1978: 82]. Так или иначе, произношение [ɣ] по меньшей мере не несет негативных коннотаций. Для пункта (в) таких препятствующих факторов нет. Напротив, протетический согласный в русском, за исключением нескольких закрепленных в норме случаев, считается признаком деревенской речи. В случае (б), где мы находим среднюю степень аккомодации к русскому, факторы, мешающие аккомодации до степени [ɪ], следующие: во-первых, уровень четкости в безударных слогах определенно меньше, хотя в позиции первого предударного слога он выше, чем в других безударных слогах (в них редукция сильнее), во-вторых, некоторые носители русского языка произносят [e] вместо [ɪ] в этой позиции; в-третьих, артикуляция последне-

---

[13] В русском встречается словоспецифичный застывший протетический [v]: ср. блр. *восем* и русск. *восемь* с польск. *osiem*.

[14] Использовалась скорее общая транскрипция, в которой различаются только <i, e, a>. Экспериментальный анализ данного феномена в БРСР см. в [Хентшель, Целлер 2011].

го (за несколькими исключениями) не поддерживается орфографией ни в белорусском (где этого и не ожидается), ни в русском.

В представленном исследовательском проекте анализируются еще три фонических феномена. Здесь также более или менее явно доминируют белорусские варианты. Наблюдаются следующие количественные отношения: блр. [ts'/dʒ'] (цеканье / дзеканье) 95,7% – русск. [t'/d'] 4,3% (n = 14 537); блр. твердые [ʧ/ʃʧ] (*ч/шч*) 83,0% – русск. мягкие [tɕ/ctɕ] (*ч/щ*) 17,0% (n = 6 242); блр. твердое [r] 68,8% – русск. мягкое [r'] 31,2% (n = 5 451). Различная степень руссификации этих трех явлений должна быть рассмотрена отдельно.

3. СКОЛЬКО КОДОВ СУЩЕСТВУЕТ?

Во-первых, анализ данных корпуса показывает, что более 50% всех форм происходят из предложений, где есть (не считая общих) как белорусские, так и русские элементы более глубокого уровня, чем фонический; около 30% предложений содержат только общие и русские элементы, и лишь 12% – только белорусские и общие. Остальное – это короткие высказывания, возможные в обоих языках (опять же, если не учитывать фонетических черт, которые в основном белорусские), т. е. содержащие только общие элементы.

Во-вторых, необходимо учитывать некоторые тенденции при выборе кода в смешанной речи у отдельных носителей:

1) Большинство респондентов способны производить сравнительно большие речевые фрагменты либо только на русском (не считая белорусских фонических черт), либо смешивая два языка.

2) Только небольшое количество респондентов иногда продуцируют фрагменты чистой белорусской речи. Как правило, в добавление к чисто белорусской речи эти респонденты активно используют смешанную речь. Лишь у двоих из них наблюдаются большие фрагменты и на белорусском, и на смешанной речи, и на русском.

3) Людей, которые используют только смешанную речь, без больших фрагментов по-белорусски или по-русски, тоже немного. Таким образом, в рамках длительного дискурса большинство респондентов продуцируют либо смешанную речь, либо русскую, реже белорусскую[15].

На данном этапе необходимо упомянуть о генезисе и распространении БРСР на протяжении нескольких поколений. Для первого поколения белорусской миграции из деревни в город, т. е. для периода 1970–1980-х гг., БРСР может считаться интеръязыком[16], с языком цели – русским. Этих носителей можно в полном смысле слова назвать

---

[15] Разумеется, во многих дискурсивных ситуациях наблюдались случаи, когда респонденты строят высказывания по-русски, по-белорусски и с использованием смешанной речи одно за другим, в любом порядке, без всякой очевидной дискурсивной мотивации для изменения кодов. Необходимо принимать во внимание, что большая часть словоформ были определены как неспецифические, общие – ввиду высокой степени структурного сходства между белорусским и русским языками (см. ниже). Следовательно, белорусскость или русскость отдельных высказываний (особенно коротких, которые составляют большинство в непринужденной коммуникации) в отдельных случаях может зависеть от использования в рамках одного высказывания только одной белорусской или русской словоформы наряду с несколькими общими, а значит, в большой степени зависит от случайности. Только относительно крупных фрагментов русской, белорусской или смешанной речи, продуцируемых одним человеком, мы можем быть более или менее уверены в том, что он сознательно, или во всяком случае функционально, выбрал тот или иной код. На уровне отдельных высказываний или даже словосочетаний и словоформ русское произношение может служить знаком функционального переключения на русский (что происходит очень редко), в то время как белорусское произношение не может быть показательным.

[16] Впервые понятие «интеръязыка» применительно к БРСР, или «трасянке», использовано в [Лисковец 2003].

билингвами, поздними последовательными билингвами[17], которые усвоили русский, хотя и не достигли в нем полной активной компетенции, после белорусского (диалектного и литературного), как правило, после начальной школы. Но если мы согласимся с тем, что добровольно признают многие люди в Белоруссии и что было подтверждено результатами [Хентшель, Киттель 2011], а именно – что это поколение говорило на БРСР со своими детьми, то нам придется сделать вывод, что их дети провели по крайней мере первые годы своей жизни в «монолектной обстановке»: окружение, в котором проходила их языковая социализация, значительно отличалось от окружения детей, которые до сих пор становились объектом исследования билингвального изучения первого языка, или, другими словами, раннего сбалансированного и одновременного билингвизма.

Как указывает Матрас [Matras 2009: 63], чаще всего изучаемым прототипом является ребенок, растущий на Западе в городской, обычно монолингвальной, среде, но имеющий контакт с двумя языками благодаря иностранному происхождению одного или обоих родителей. Для таких ситуаций типично явное отделение языка семьи от языка окружающего мира или языка одного родителя от языка другого, при этом один из языков может, хотя и не обязан (в таком случае мы имеем дело с трилингвизмом), быть языком окружающего сообщества. В обоих случаях дети регулярно получают языковой инпут на каждом из языков по отдельности. В семьях белорусских мигрантов из деревни в город, старавшихся говорить на русском (а так происходило чаще всего), инпут обычно представлял собой смешанную речь.

Дети, чьи родители в разговоре с ними разделяют два языка (между собой родители говорят при этом на одном языке), очевидно, способны усвоить достаточно много синонимичных или функционально эквивалентных выражений и проводить различие между синонимическими парами, требующееся для общения с тем или иным родителем, в возрасте одного года девяти месяцев – двух лет (см. [Matras 2009: 12–17]). До достижения этого возраста активных навыков различать слова у ребенка нет, даже в таких «ранних и последовательно разделенных» контекстах. Современные исследования усвоения родных языков билингвами приписывают смешение на ранней стадии неконвергентным пробелам в двух лексиконах, сложности разговора со сменяющимися собеседниками или просто ошибкам из-за недостатка опыта [Там же: 63–66]. С другой стороны, есть свидетельства того, что дети начинают пассивно различать языки намного раньше. То же исследование показало (см. детальный отчет в [Там же: 61–100]), что даже те дети, которые встречались с достаточно строго разделенным языковым материалом и действиями собеседников, направленными на то, чтобы они различали языки в своей речи, усваивают не две системы в строгом смысле, а общий инвентарь выражений и конструкций, который они учатся разделять, когда их поощряет или заставляет среда (собеседники, социальный контекст, тема и т. д.).

Что это означает применительно к поколению детей белорусских мигрантов из деревни в город, выросших в 1970-е и 1980-е гг. – во время массовой индустриализации и урбанизации республики? Систематические стимулы разделять языки (коды) появлялись достаточно поздно: в семье доминировала смешанная речь. Конечно, в советское время городские дети от одного до трех лет нередко проводили до 10 часов каждого буднего дня в яслях. Но было бы опрометчиво заявлять, что там белорусский и русский языки сколько-нибудь систематически разделялись[18]. В детских садах

---

[17] Последовательными билингвами (sequential bilinguals) называют людей, которые становятся билингвами, выучив сначала один язык, а затем другой. – *Прим. ред.*

[18] Хорошо известно, что большую часть работы с детьми в этом заведении выполняли «нянечки», т. е. женщины без профессионального образования, часто пожилые. Они обычно говорили на смешанной речи, как и родители детей, и в любом случае не способствовали умению детей отделять белорусский от русского.

(для детей до 6–7 лет) дела обстояли примерно так же. Даже тот факт, что формально проводилось разделение между русско- и белорусскоязычными детскими садами, не означает, что разделение двух языков было педагогической целью. Очевидно, более строгое противопоставление языков всегда имело место в школе. Следовательно, во-первых, по меньшей мере в 1970-е и 1980-е гг. в городах Белоруссии дети до трех лет (широко принятая демаркационная линия для усвоения первого языка) выучивали язык не как белорусско-русские билингвы, а как монолингвы – носители смешанного «языка». Во-вторых, так как в несемейной среде (прежде всего в школах и других учебных заведениях) требовался скорее русский, чем белорусский, основной задачей дальнейшего языкового развития белорусских детей было отфильтровывание элементов, неподходящих или даже невозможных в контекстах, когда требовалось говорить по-русски. По возможности каждое языковое выражение и конструкция, усвоенные детьми в семейном окружении, должны были быть «проверены» относительно их приемлемости для русского дискурса. В принципе, то же задание существовало и по отношению к белорусскому языку. Но так как белорусский как основной язык образования всегда играл меньшую роль в школе и университете (уже с 1930-х гг.), а также прочие официальные и формальные социальные контексты требовали выбора в пользу русского, навыки фильтрации небелорусских элементов и конструкций усваивались в меньшей степени. В результате этого для большинства белорусов стало сложным продуцировать большие фрагменты «чистой» белорусской речи.

По крайней мере в этом смысле БРСР может считаться самостоятельным кодом. Несмотря на традиционную точку зрения нормативных лингвистов и «лингвистов-националистов», БРСР дает индивиду полный инвентарь языковых возможностей, которыми можно пользоваться, когда нет необходимости отделять белорусский от русского. Выбор, таким образом, есть между тремя альтернативами: русским, белорусским и БРСР, и этот выбор, независимо от того, является он сознательным или неосознанным, зависит от обычных факторов, выделяемых для функционального переключения кодов: собеседника, темы дискурса, коммуникативной стратегии («мы»-код, «они»-код) и др.

Однако, когда мы пытаемся понять, развивается ли смешанная речь в новый идиом, при анализе могут быть приняты во внимание только данные из смешанных высказываний (т. е. тех высказываний, внутри которых наблюдается смешение белорусского и русского языков). Это БРСР в узком смысле, которая противопоставляется смешанному русско-белорусско-БРСР-дискурсу (БРСР в широком смысле).

Что касается разных уровней структуры языка, общее мнение исследователей заключается в том, что не только произношение по большей части является белорусским, но и морфология, особенно словоизменительная. Лексика же, как считается, в основном русская. Если бы это было так, то в БРСР было бы заметно некоторое расщепление между грамматикой и лексиконом, которое в [Matras, Bakker 2003] признается решающим критерием определения смешанного языка. Но перед нами иная, более сложная, ситуация.

4. МОРФОЛОГИЯ

4.1. Некоторые квантитативные обобщения

В гибридных высказываниях корпуса содержится примерно 42 000 словоформ существительных, глаголов и прилагательных и 20 000 словоформ местоимений. Если мы определим каждый морф как общий, белорусский, русский или гибридный, то получим следующую картину относительной частоты вхождений (по причинам, изложенным выше, не учитываются фонические черты):

	часть речи	общие	белорусские	русские	гибридные
основа	N/V/Adj	69%	6%	24%	*0%*[19]
	Pro	59%	19%	18%	1%
окончание	N/V/Adj	82%	10%	6%	0%
	Pro	70%	19%	10%	*0%*

Во-первых, большинство морфов – общие. Во-вторых, мы видим, что русский оказывает более сильное влияние на лексикон, чем на грамматику. В неместоименных самостоятельных частях речи – существительных, глаголах, прилагательных – в четыре раза больше русских основ, чем белорусских. В основах местоимений, т. е. в более грамматических единицах, белорусский и русский занимают одинаковое положение. Но среди окончаний как местоимений, так и лексических частей речи белорусских морфем в два раза больше, чем русских. Тем не менее уже эти цифры демонстрируют, что между лексиконом и грамматикой нет четкого противопоставления, как в прототипических смешанных языках. Вместо этого они указывают на феномен, похожий на нивелирование различий между диалектами одного языка (dialect levelling).

Необходимо подчеркнуть тот факт, что в минимальных языковых знаках – морфах – почти нет гибридности. Вся наблюдаемая здесь гибридность относится к их морфонемному представлению. Самый обычный и частый случай демонстрирует основа указательного местоимения ближнего дейксиса. Как описано в [Hentschel 2008b], существует сильная тенденция использовать русский вокалический анлаут (*э* вместо белорусского *гэ*), но избегать русской алломорфии с мягким [t'] во множественном числе и в творительном падеже мужского и среднего рода и твердым [t] в остальных случаях: например, в БРСР широко распространены формы м. / ср. р. в тв. п. ед. ч. *этым* вместо блр. *гэтым* и русск. *этим* или в род. п. мн. ч. *этых* вместо блр. *гэтых* и русск. *этих*.

Даже на уровне словоформ общие элементы являются наиболее частотными, но конечно, их доля уменьшается в языковых единицах, которые состоят из основы и окончания (и, может быть, нескольких аффиксов), из-за возможности сочетания общей основы или окончания с белорусским или русским окончанием или аффиксом.

часть речи	общие	белорусские	русские	гибридные	*n*
N/V/Adj	40%	21%	31%	6%	41 862
Pro	40%	33%	22%	4%	19 962

На первый взгляд кажется, что гибридных форм довольно мало. Но, как указывает [Tesch (в печати)], нужно учитывать следующее: гибридные формы состоят как минимум из двух морфов, среди которых один белорусский и один русский, также в них возможны общие морфы. Белорусские же и русские словоформы могут содержать только один морф, относящийся к одному или другому языку. Это значит, чтобы оценить влияние гибридизации на морфологию, нужно сравнивать частоту гибридных словоформ с частотой белорусских или русских словоформ, в которых есть как минимум два морфа из соответствующего языка. Мы ограничим наш квантитативный анализ основами и окончаниями:

основа	окончание	N/V/Adj (n = 2730)	Pro (n = 3200)
блр.	блр.	19%	30%
русск.	русск.	49%	56%
русск.	блр.	31%	12%
блр.	русск.	*0%*	*0%*

[19] «0%» курсивом означает, что $n > 0$, но относительная частота ниже 0,5%.

Эти цифры говорят о том, что морфологическая гибридизация широко распространена среди лексических (собственно знаменательных) частей речи и меньше – среди местоимений. Последнее связано с высокой частотой местоименных вхождений: по крайней мере, в определенных грамматических значениях они усваиваются и воспроизводятся целиком. Что касается лексических основ, нужно подчеркнуть, что гибридность характерна преимущественно для русских основ в сочетании с белорусскими окончаниями, например, смешанное *втар-ы* vs. блр. *друг-і* и русск. *втор-ой*, *зеркал-ы* vs. *люстр-ы* и *зеркал-а*, *палуча[j]-е* vs. *атрымліва[j]-е* и *получа[j]-ет*. Эти формы встречаются даже чаще, чем полностью белорусские, т. е. содержащие белорусские основу и окончание. Случаев комбинации белорусской основы с русским окончанием очень мало, например, смешанное *ніяк-ава* [-ава] vs. блр. *ніяк-ага* [-аɣа] и русск. *никак-ого* [-ovə], *прыйдз-ёт* [-ot] vs. *прыйдз-е* и *прид-ёт*. Это отражает хорошо известный и, возможно, универсальный факт, что носители одного языка или идиома усваивают лексические единицы другого языка легче, чем грамматические.

4.2. Окончания

Как было сказано выше, принято считать, что в словоизменительной морфологии БРСР доминируют белорусские черты. И, конечно, такая позиция небезосновательна.

Один из примеров – окончания прилагательных, причастий и местоименных прилагательных (адъективные окончания) в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода, а также – в случае их отнесенности к одушевленным существительным – винительного падежа мужского рода. В белорусском в этой позиции фиксируется окончание типа /-VɣV/, и это сближает его с другими славянскими языками, в которых видим или дорсальный фрикатив /ɣ/ (/ɦ/), или взрывной /g/, – за исключением русского с его лабиодентальным фрикативом, т. е. /VvV/. Более того, в русском языке это единственный случай, где /v/ графически передается не буквой *в*, а буквой *г*, обычно обозначающей /g/, что указывает на исторически дорсальный характер согласного. Среди 800 проанализированных вхождений в 70% случаев предпочтение было оказано белорусскому варианту. Квантитативное соотношение очень стабильно для всех семи населенных пунктов, где собирался материал.

Другой пример – предпочтение белорусского окончания в 3 лице единственного числа настоящего времени глагола. В белорусском это окончание имеет вид /-V/ или /V̩ts'/, а в русском – всегда /-Vt/ (за исключением нескольких нерегулярных форм, которые мы здесь не рассматриваем). В нашем корпусе около 2 900 вхождений таких словоформ; примерно в 2 200 из них белорусские и русские варианты явно различаются[20]. Среди последних мы видим явное предпочтение белорусских окончаний. Окончания русского типа составляют только около 21%. Белорусские окончания можно разделить на относящиеся к литературному языку (62%) и диалектные (17%). Эта тенденция отмечается в каждом из семи населенных пунктов.

Хотя данные факты словоизменения и подтверждают общее мнение, что белорусский в этой области доминирует, другие факты явно противоречат этому утверждению.

Первый противоречащий феномен мы видим в родительном падеже мужского рода единственного числа. В обоих языках здесь представлены окончания /-a/ и /-u/, но в разных языках они частично распределяются по-разному. Так, и в русском, и в белорусском одушевленные имена могут иметь только окончание /-a/. Неодушевленные существительные могут иметь оба окончания в обоих языках, но в русском употребление /-u/ очень ограничено. За исключением некоторых идиоматических выражений вроде *из дому*, /-u/ появляется только тогда, когда одно из неисчисляемых существительных (не любое) в выражении обозначает неопределенное количество вещества (например, *немножко чаю*). Это употребление иногда называется партитивным. Все такие

---

[20] Примерно в 700 случаях из-за процесса ассимиляции (например, перед возвратным постфиксом *-ся*) сложно сказать, где мы имеем дело с белорусским /-ʦ'/, а где – с русским /-t/.

существительные в других контекстах родительного падежа получают окончание /-a/[21]. В белорусском языке употребление окончания /-u/ более распространено. Существительные с окончанием /-u/ в белорусском языке сгруппированы по семантическим признакам. Однако есть и исключения, например, среди неисчисляемых существительных (*нямнога рыс-у /хлеб-а*). В корпусе 420 вхождений существительных мужского рода в родительном падеже единственного числа, где два языка противопоставлены. Мы обнаруживаем явное предпочтение русского варианта /-a/: 84%. Опять же эту тенденцию мы наблюдаем во всех населенных пунктах.

Второй случай предпочтения русского окончания мы видим в адъективных формах (см. выше) мужского и среднего рода предложного падежа единственного числа. В то время как в русском в этой позиции стоит окончание, отличное от окончания творительного падежа, в белорусском языке эти формы совпадают (ср. русск. *велик-ом* vs. *велик-им* и блр. *вялік-ім* в обоих падежах). За вычетом тех случаев, когда из-за описанных выше процессов редукции безударных гласных нельзя определить, является окончание белорусским или русским, почти 90% окончаний (при $n = 100$) относятся к русскому типу, формально различающему творительный и предложный падежи. И так во всех семи городских подкорпусах.

Третий пример – именительный и винительный падежи множественного числа среднего рода. Различия по роду в парадигмах множественного числа отражены намного слабее, чем в парадигмах единственного числа. Существует довольно регулярная историческая тенденция сглаживать этот контраст. В белорусском языке отсутствуют различия по роду в окончаниях существительных множественного числа; стандартным окончанием служит /-i/, *-і/-ы*. В русском языке окончание /-i/ доминирует в именительном падеже слов мужского[22] и женского рода, однако в большинстве слов среднего рода представлено окончание /a/. Несмотря на то, что белорусское выравнивание различий по роду является более простым вариантом, в корпусе количественно преобладает русское окончание /-a/: на его долю приходится примерно 80% ($n = 180$). Опять же это количественное соотношение с несущественной вариативностью наблюдается во всех подкорпусах.

5. МОРФОСИНТАКСИС

Наряду с другими похожими случаями, немецко-польский контакт в Силезии – контакт между языками различной структуры – показывает, что в области морфосинтаксиса один язык может с легкостью вступать в интерференцию с другим и таким образом изменять его (ср. [Tambor 2008: 171–172]). В [Tesch (рукопись)] эта проблема рассматривается для нескольких феноменов, где белорусский и русский различаются. (Во многих других случаях морфосинтаксические структуры двух языков конгруэнтны.)

Первое явление, которое мы рассмотрим, – выбор падежа для существительных в сочетании с числительными ‘два’, ‘три’, ‘четыре’ (также выступающих в качестве последней части сложного числительного) и ‘оба’ в именных группах, которые без числительного имели бы именительный или винительный падеж. (В контекстах с другими падежами различий между языками не возникает.) В литературном белорусском мы наблюдаем согласование (как и в контекстах с другими падежами). Существительное и числительное получают один и тот же падеж и – в случае с числительным ‘два’ – род,

---

[21] Необходимо отметить, что мы ориентируемся на стандартный инвентарь из шести морфологических падежей для русского языка. Описанный феномен – один из случаев, когда при использовании более строгого подхода к выделению морфологических падежей (см. [Зализняк 1967: 36–55]) следовало бы выделять еще один падеж. Эти случаи употребления окончания /-u/ у неисчисляемых существительных называют «вторым родительным» или «партитивом».

[22] Конечно, есть несколько существительных мужского рода с окончанием /-a/ (перетягивающим на себя ударение) в именительном падеже множественного числа (см. [Hentschel 1991]), но они нерелевантны для рассматриваемой проблемы.

причем существительное стоит во множественном числе. Здесь существительное может считаться контролером согласования. В литературном русском мы находим конструкцию с достаточно сложным сочетанием согласования и управления при доминировании последнего. Здесь только числительное получает именительный или винительный падеж, тогда как существительное имеет форму родительного падежа[23], причем из подпарадигмы единственного числа[24]. Очевидно, числительное управляет падежом и числом существительного. С числительным 'два' существительное выполняет функцию контролера согласования по роду: мужской род – *два стола*, женский род – *две змеи*. Другая сложность заключается в том, что в обоих языках для существительных женского и среднего рода формы родительного падежа единственного числа, с одной стороны, и именительного и винительного падежа множественного числа, с другой стороны, часто совпадают. Русск. *две комнаты* можно интерпретировать и как родительный падеж единственного числа, и как именительный (винительный) множественного.

Еще одно осложнение имеет другую природу: обе морфосинтаксические модели могут быть обнаружены в белорусских диалектах с преобладанием конгруэнтного типа на юго-западе и управления – на северо-востоке.

Если мы, следуя за [Tesch (рукопись)], сконцентрируем внимание на конструкциях с паукальными числительными, в которых мы можем однозначно определить, какая модель используется – белорусская или русская, мы увидим, что более сложная русская модель явно преобладает: из 172 вхождений в корпусе ей следуют 72%. Модель с управлением в той или иной мере доминирует во всех семи подкорпусах. Только в одном населенном пункте, где в окружающих диалектах доминирует модель с согласованием, количественная корреляция между двумя вариантами является почти сбалансированной. (Это указывает на возможность того, что в разных областях страны при выборе типа конструкции могут побеждать разные тенденции.) Однако наиболее привлекательной по-прежнему остается модель с управлением.

Следующее явление – вопрос об управлении предлогов блр. *па*, русск. *по*: о выборе ими дательного или предложного падежа[25]. В русском *по* почти всегда управляет дательным падежом (за исключением нескольких особых контекстов, где возможно употребление предложного падежа). В белорусском же одни контексты требуют дательного падежа, как в русском, другие – предложного. Мы не будем здесь описывать достаточно сложные правила выбора между ними. Анализ С. Теш [Там же] сосредоточен на контекстах с возможностью выбора и показывает, что предпочтение отдается дательному падежу (88% из 159 случаев) – то есть речь идет в том числе и о тех случаях, когда белорусский язык требует предложного падежа. Модель, характерная скорее для русского языка, вновь побеждает во всех городских подкорпусах.

Последний морфосинтаксический феномен, который мы упомянем, – конкуренция между русским предлогом *из* (не засвидетельствованным в белорусском) и белорусским *з* при именных группах, таких как блр. *прывезці з вёскі*, русск. *привезти из деревни*, блр. *адно з двух*, русск. *одно из двух*. Во многих других контекстах такое существительное или местоимение в русском языке маркируется предлогом *с*: русск. *снять с полки*, блр. *зняць з паліцы*. Из-за регулярной ассимиляции по вокализованности блр. *з* и русск. *с* часто не различаются в речи. В примере выше в обоих случаях произносится [s].

---

[23] В сочетании с паукальными числительными некоторые русские существительные имеют формы, отличающиеся от обычного родительного падежа ударением: *важность ша́га* vs. *два шага́*. По этой причине [Зализняк 1967: 46–48] постулирует дополнительный падеж – *счетную форму*.

[24] Когда в такой группе есть прилагательное, оно тоже стоит в родительном падеже, но принимает форму множественного числа: *два больших стола*. Мы игнорируем подобные группы, потому что они встречаются в нашем корпусе крайне редко и на основании их анализа нельзя сделать никаких выводов.

[25] В обоих языках есть конструкции, где *по* сочетается с винительным падежом, нерелевантные для данного рассмотрения.

В [Там же] содержится анализ контекстов корпуса смешанной речи, где русский требовал бы предлога *из*. Мы снова получаем ясный результат, но на этот раз русский проигрывает. В 89% из 267 релевантных случаев видим белорусский *з* [z/s]. Вероятно, эта тенденция поддерживается существованием в русском языке варианта *с*, хотя он и употребляется в других контекстах.

6. ЛЕКСИКА

Корпус содержит всего 212 000 вхождений словоформ и, конечно же, не может служить основой для подробного исследования лексики смешанной речи. Однако мы можем рассмотреть те случаи лексической вариативности, где эквивалентные единицы из русского и белорусского языков демонстрируют высокую частоту употреблений, которая чаще всего наблюдается, конечно, у служебных слов.

6.1. Неизменяемые служебные слова

Неизменяемые служебные слова гетерогенны по своей функции. Это полярные частицы ‘да, нет’, указательные местоименные наречия ‘теперь, тогда ...’, союзы ‘или, но ...’, модальные операторы ‘необходимо, чтобы’, частицы ‘только, даже ...’ и многие другие[26]. При анализе пар, троек и т. д., содержащих как минимум один русский и один белорусский эквивалент, мы также находим, что в одних случаях явно доминирует тот или другой, а в других количественное соотношение сбалансировано (см. подробнее в [Hentschel (в печати)]).

Явными случаями предпочтения русского варианта белорусскому (белорусский вариант[27] всегда приводится первым) являются: *таксама* < *тоже* (99%, *n* = 332), *по́тым* < *пото́м* (99%, *n* = 347), *так* < *да* (98%, *n* = 472), *трэба* < *надо* (91%, *n* = 641); фиксируется и много других случаев с меньшим, но значительным процентным преобладанием. Случаи предпочтительного выбора белорусского слова: *тады* > *тогда* (86%, *n* = 54), *не* > *нет* (84%, *n* = 704), *дзе* > *где* (80%, *n* = 345), *яшчэ* [_ɛ] > *ещё* [_ɔ] (67%, *n* = 691). Среди 25 самых частотных эквивалентных пар (троек...), проанализированных в [Hentschel (в печати)], случаев, когда предпочтение чаще оказывается белорусскому варианту, явно меньше. Более того, в случаях преобладания белорусских вариантов их перевес меньше, чем перевес русских вариантов в случаях их доминирования. Необходимо заметить, что соотношение белорусских и русских эквивалентов, кажущееся сбалансированным в целом, может иметь разный характер в разных населенных пунктах. Например, из последней пары (*яшчэ – ещё*) русский вариант предпочитается только в одном из семи городов.

Таким образом, прослеживаются очевидные различия в выборе элементов коррелирующих пар в БРСР, с одной стороны, и литературным русским или белорусским – с другой. Ср. в этой связи выражения полярности: блр. *так – не*, русск. *да – нет*, БРСР *да – не*.

Принципы выбора белорусского или русского варианта (на фоне общей ориентации на русский язык) могут сильно варьироваться, по социо- и структурно-лингвистическим причинам, которые в рамках этой статьи не могут быть подробно рассмотрены (см., однако, [Hentschel (в печати)]). Только два из этих факторов будут упомянуты здесь вместе с соответствующими примерами. Например, в паре *тут – здесь*, также упоминаю-

---

[26] Классификация подобных элементов в литературе очень разнообразна. Мы принимаем подход Гроховского [Grochowski 1997], однако не рассматриваем здесь предлоги, так как их целесообразнее рассматривать в рамках морфосинтаксиса, т. е. вместе с именами, которыми они управляют.

[27] Во многих случаях и белорусские, и русские элементы демонстрируют высокую фоническую вариативность, на которой мы не заостряем наше внимание, а цитируем только варианты из литературных языков.

щейся в [Hentschel (в печати)], последний (русский) вариант встречается крайне редко (4%, *n* = 466). Однако «выигрывающий» вариант *тут* нельзя охарактеризовать как специфичный для белорусского. Он присутствует в обоих языках. В русском он функционирует как синоним слова *здесь* в локальном значении. В других контекстах *тут* не может использоваться везде, где употребляется *здесь*, и наоборот. Там, где возможны оба варианта, *здесь* принадлежит к более высокому стилистическому регистру. Как бы то ни было, в распределении этих эквивалентных элементов есть явная регулярность: в тех случаях, когда специфичный для того или иного языка (русского, как в этом случае, или белорусского) вариант соревнуется со своим функциональным эквивалентом, общим для обоих языков, как правило, побеждает последний.

Другой интересный случай описывается в [Ленкевич 2011]. Блр. *дык*[28] встречается в корпусе очень часто и присутствует во всех семи подкорпусах. Это очень многофункциональный элемент. В зависимости от функции его можно перевести несколькими разными русскими выражениями. Например, в качестве союза он эквивалентен русск. *то* в значении 'тогда' в конструкции *если... то...* Он соответствует русскому *так* в смысле 'так что', как в *Мы сделали свою работу, так что можем идти.* Как частица он может переводиться русским *ведь* (*Он ведь болен* 'Он болен, как ты знаешь/разве ты не помнишь'). Для других контекстов могут быть предложены другие русские эквиваленты. Очевидно, что именно разделение функций между несколькими русскими эквивалентами делает *дык* устойчивым к вытеснению одним из русских соответствий.

6.2. Дискурсивные маркеры и полнозначные слова

Известно, что в условиях билингвизма дискурсивные маркеры легко заимствуются из того языка, который индивиды или группы хотят перенять. В [Katsiura 2011] анализируются несколько соревнующихся дискурсивных маркеров БРСР. Многие из них образованы от глагольных форм 2 лица единственного числа (реже множественного) или от форм повелительного наклонения. В некоторых случаях предпочтение русскому элементу отдается действительно очень сильное. Во всех случаях (*n* = 115) из пары блр. *разумееш* – русск. *понимаешь* выбирается последний вариант. Менее значительным, но все-таки явным можно назвать перевес русского элемента в парах блр. *бачыш* < русск. *видишь* (*n* = 157, 85%) и блр. *чуеш* < русск. *слышишь* (*n* = 31, 74%) (это выражение используется в первую очередь как императив 'ты должен слушать'). И здесь мы снова видим контрастирующие пары с одним общим и одним специфичным элементом: общее *знаеш / знаешь* > блр. *ведаеш* (*n* = 271) и общее *глядзі / гляди* > русск. *смотри* (*n* = 139). В анализе Кацюры определенно доминирует общий вариант (99% и 73% соответственно), независимо от того, какому языку принадлежит специфичная форма. Таким образом, мы наблюдаем явную тенденцию выбирать те образованные от глаголов дискурсивные маркеры, которые происходят из русского или являются общими.

---

[28] Если *дык* рассматривать здесь как «специфически белорусский» элемент, то это соответствует нашей методике анализа элементов БРСР, которая была описана выше. Это, в первую очередь, касается сравнения форм в корпусе с формами белорусского и русского литературных языков. *Дык* является распространенным элементом не русского, а белорусского литературного языка. Но этот элемент обнаруживается и в субстандартных русских идиомах. Таким образом, как было сказано выше, никакая методика не позволяет в случае конкретного вхождения точно определить, из какого именно языка или идиома говорящий берет определенный элемент. В работе [Ленкевич 2011] показано, что в нашем корпусе БРСР *дык* выступает в полном спектре употреблений, которые найдены в белорусском литературном языке. Это подтверждает нашу классификацию элемента как «специфически белорусского». Вполне возможно, что присутствие *дык* в русских субстандартных идиомах поддерживает сопротивление этого элемента замене элементами русского литературного языка. Вопрос о том, какие явления русского просторечия (в сколько-нибудь значительной степени) обнаруживаются в БРСР, а какие нет (и почему?), – тема специального (будущего) исследования.

Кацюра также указывает на то, что похожие предпочтения наблюдаются при выборе между вариантами перечисленных пар и в тех случаях, когда формы используются не как дискурсивные, а как обычные глагольные формы в предложениях.

В [Zaprudski, Janenka 2011] содержатся первые примеры анализа соревнующихся полнозначных слов. Применительно к нескольким лексическим парам их исследование поддерживает общее мнение о русском характере лексики БРСР (белорусский вариант всюду приводится первым): *гадзіна* < *час* (*n* = 197, 98%), *час* < *время* (*n* = 188, 98%), *пытанне* < *вопрос* (*n* = 108, 93%), *вёска* < *деревня* (*n* = 145, 75%). Однако есть случаи, где мы находим достаточно сбалансированное количественное соотношение: *шукаць – искать* (*n* = 58, 54% vs. 46%), *грошы – деньги* (*n* = 225, 45% vs. 55%) и *мова – язык* (*n* = 84, 38% vs. 62%). Наконец, есть показательная пара, где белорусский вариант с большим перевесом выигрывает: *бацька* > *отец* (*n* = 145, 91%).

Последний пример представляет собой образец стабильности автохтонных (субстратных) слов с высокой частотой употребления, обозначающих объекты частной сферы. То же самое наблюдается и в случае с уменьшительно-ласкательными формами лексемы *мама*: как показывает наш анализ, в корпусе есть 33 вхождения варианта *мамка*, привычного для белорусского языка, в то время как более русский вариант *мамочка* встречается только один раз. Однако и в области разговорной лексики ситуация неоднозначная: так, распространенное в русском языке *парень* в корпусе БРСР встречается довольно редко, в то время как *хлопец* весьма часто (8,5% vs. 91,5%, *n* = 106). Обратное соотношение характерно для русского *мальчик* в сравнении с белорусским *хлопчык* (83,9% vs. 16,1%, *n* = 62). *Хлопец* и *хлопчык* являются типичными выражениями белорусского литературного языка. Оба элемента встречаются в русском (не литературном) языке относительно редко. Но степень их распространенности в БРСР явно различается.

Лексические переменные с вариантами из обоих языков со сбалансированным количественным соотношением необходимо проанализировать более тщательно, в том числе на предмет диалектного влияния. В целом полнозначные лексемы в БРСР, за исключением общих, чаще всего «похожи» на русские (см. выше). Большинство белорусских вариантов частотных лексических переменных редко достигает более 20% частотности по сравнению с их русскими эквивалентами, за исключением тех упомянутых лексических переменных, где белорусские элементы устойчивы или даже преобладают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенное выше описание правил распределения белорусских, русских (и общих) эквивалентных единиц на разных структурных уровнях ясно указывает на то, что не существует одного гомогенного смешанного белорусско-русского идиома как относительно стабильного смешанного кода, используемого по всей Белоруссии. Однако есть несколько стабильных случаев перераспределения функционально эквивалентных белорусских и русских элементов и черт на всех языковых уровнях. Более того, в разных населенных пунктах (в разных частях страны) наблюдаются противоположные тенденции в выборе между русским и белорусским вариантами. Схематически ареальная дистрибуция соревнующихся элементов или черт *б* и *р* из белорусского и русского языков выглядит следующим образом:

Регион:	А	Б	В	Г	Преобладает …
Переменные типа 1	*б*	*б*	*б*	*б*	*б*
Переменные типа 2	*р*	*р*	*р*	*р*	*р*
Переменные типа 3	*б*	*р*	*р*	*б*	*б* или *р* (в разных регионах)
Переменные типа 4	*б* ≈ *р*	*б* ≈ *р*	*б* ≈ *р*	*б* ≈ *р*	ни *б*, ни *р*

Это означает, что в одних случаях белорусский вариант *б* явно оказывается предпочтительным во всех населенных пунктах (переменные типа 1: например, блр. [γ], а не русск. [g]; блр. *бацька*, а не русск. *отец*), в других предпочтение отдается русскому (переменные типа 2: например, русск. *-а* в род. п. ед. ч. м./ср. р., а не блр. *-у*; русск. *тоже*, а не блр. *таксама*). Выбор между *б* и *р* может варьироваться по регионам (переменные типа 3: например, в Барановичах, Хотимске и Октябрьском сильно преобладает русск. *уже*, но в Шарковщине и Смаргони блр. *ужо*; в Барановичах и Смаргони гораздо чаще употреблются союзы *каб(ы)*, а в Хотимске, Октябрьском и Рогачеве *чтоб(ы)*); но есть и такие случаи, когда для некоторой переменной нет явно выраженной тенденции (переменные типа 4: например, в Минске сбалансировано употребление русск. *уже* и блр. *ужо*, в Шарковщине, Минске и Рогачеве – русск. *чтоб(ы)* и блр. *каб(ы)*)[29]. Конечно, другие комбинации на основании этих четырех основных схем также возможны.

Тот факт, что мы наблюдаем ареальную неоднородность, сам по себе неудивителен. Можно провести параллель со смешанными идиомами, возникшими на основе сельских диалектов и литературного языка, например, в Германии (преимущественно на юге). В городах и городских районах на юге Германии коммуникация коренного населения осуществляется на смешанных идиомах (регионолектах, урбанолектах), которые характеризуются наличием разных диалектных (например, франконских, баварских, швабских) субстратов. При общении с жителями Северной Германии, а также «настоящими иностранцами» «южане» переходят (в зависимости от индивидуального владения литературным немецким) на устную версию стандартного немецкого, которую они знают из школы и средств массовой информации и в которой проявляется значительная южнонемецкая интерференция, особенно в фонетике и в некоторых лексических единицах. Современные южные регионолекты можно сравнить с региональными вариантами БРСР (ср. похожее в [Klimaй (в печати)]). Поскольку структурные различия между немецкими диалектами, как правило, более значительны, чем между диалектами славянских языков, ареальных различий в БРСР скорее всего меньше, чем в немецких регионолектах. В свою очередь южнонемецкая версия стандартного немецкого вполне сравнима с белорусским вариантом русского языка, в котором имеются небольшие региональные отличия.

Социальное, политическое и психологическое отличие в том, что в Германии есть только один литературный язык, который считается «автохтонной» нормой, тогда как в Белоруссии есть два соревнующихся литературных языка: белорусский и русский, и решающее влияние на формирование смешанной речи из-за его доминирующей роли в обществе имеет последний. Однако он ощущается как неавтохтонный, иностранный. Эта смесь «своего и чужого» беспокоит элиту, поддерживающую белорусский язык. (Но, конечно, элита страны, предпочитающая русский язык, тоже относится к БРСР скорее с презрением.)

Какова сейчас ситуация с системностью БРСР и ее языковым статусом? В работе [Цыхун 1998; Cychun (в печати)] автор придерживается мнения Н. Мечковской, которая считает, что узуса не существует, и приходит к выводу, что о специальной системе не может быть и речи. Наше приведенное выше утверждение о том, что нет однородного смешанного белорусско-русского идиома, может быть неправильно истолковано как подтверждение позиции минских ученых. Конечно, субстандартный идиом, такой как БРСР, не имеет такого узуса, как кодифицированный литературный язык. Если минские коллеги именно это имели в виду, то они правы, но тривиальным образом. То, что не существует однородного узуса, справедливо и для старых коренных, «автохтонных»

---

[29] Контексты, в которых белорусский и русский варианты демонстрируют относительно одинаковую частотность (т. е. случаи отсутствия статистически значимых различий), весьма редки, если в корпусе в целом, а также в городских подкорпусах находится достаточное количество соответствующих примеров. Этого и следовало ожидать: эквивалентность в значении (денотации и коннотации) или функции противоречит принципу экономии в языке, поэтому такие варианты обречены на исчезновение или распределение по функциям / значению.

ареальных диалектов (например, в немецком языковом пространстве – для баварских, алеманнских, франконских и некоторых верхненемецких диалектов), каждый из которых имеет не один единый узус, а много узусов, которые могут отличаться даже от деревни к деревне. Это делает разговор о единой системе практически невозможным. Данный факт установил известный лингвист Уриэль Вайнрайх в своей знаменитой работе 1954 года «Is a structural dialectology possible?» [Weinreich 1954]. Он предложил понятие «диасистемы» как абстракции сложной системы, состоящей из нескольких отдельных систем, каждая из которых имеет конкретный узус[30]. Со времени исследований В. Лабова (впервые в [Labov 1966]) известно, что отличия в узусе субвариантов (городских, региональных и других специфически групповых) друг от друга и от стандартных идиомов носят не столько качественно-детерминистический, сколько количественно-вероятностный характер, то есть проявляются в различных преференциях, предпочтениях конкурирующих вариантов различных языковых переменных. Для БРСР последнее было доказано выше большим количеством примеров на разных уровнях описания.

Конечно, в субстандартных идиомах всегда присутствует высокая степень изменчивости и колебаний, возникающих в результате контакта со стандартным идиомом или с другими субстандартными идиомами. В смешениях диалектных (в основном) субстратов и стандартного идиома, т. е. в региолектах и урбанолектах[31], отражаются, конечно, старые ареальные различия, хотя они и менее заметны, чем в старых диалектах или говорах, не в последнюю очередь по причине унифицирующего влияния суперстрата, литературного языка. Кроме того, материал, описанный выше, позволяет, как было показано, распознавать разнообразные преференции: выраженные в БРСР в целом (в немалом количестве) или различающиеся ареальным распространением[32].

Наша интерпретация БРСР как множества смешанных региолектов, которые все же демонстрируют некоторое сходство, ставит это явление на один уровень с развитием субстандартных идиомов во многих других европейских регионах. Старые коренные диалекты исчезают, новая умеренная ареальная дифференциация проявляется в идиомах, возникающих в результате смешения литературного языка и (в существенной степени) диалектных субстратов. Белорусская специфика заключается в том, что доминирующим стандартом является один, с одной стороны, генетически и структурно сходный, но, с другой стороны, «неавтохтонный» «язык-крыша» («Dachsprache»), т. е. русский. При этом другой (генетически и структурно, как правило, более похожий) конкурирующий «автохтонный», коренной «язык-крыша», т. е. белорусский, играет гораздо более скромную роль.

Возвращаясь к структурным аспектам, кроме всего прочего, следует указать на то, что уже сам факт стабильного предпочтения белорусского или русского варианта для существенного количества переменных свидетельствует о существовании смешанного

---

[30] Как показано в [Chambers, Trudgill 1998: 35–40], даже это понятие не в состоянии отразить весь спектр разнообразных изменений в нестандартных идиомах.

[31] Исходя из вышеизложенного, по теоретическим и эмпирическим причинам мы не можем принять утверждение Н. Мечковской о том, что «трасянка и суржик не могут превратиться в новый диалект (в региолект, в интердиалект, в сверхдиалект)» [Mečkovskaja (в печати)]. Более подробный анализ понятий «систем» и «системность» см. в [Хентшель 2011].

[32] Анализируемый здесь корпус включает, как было сказано выше, данные по семи городам, то есть по всем трем традиционно рассматриваемым диалектным регионам Белоруссии (по северо-востоку, юго-западу и по центральному региону). Тем не менее он, конечно, не может претендовать на ареальную репрезентативность. Можно, очевидно, предположить, что языковой узус в маленьком или среднем городе, где по социально-экономическим причинам обнаруживается большое число изначально русскоговорящих мигрантов, отличается от узуса города, население которого состоит (почти) исключительно из коренных жителей ближайших деревень. Осознание различий в речевой практике в стране является, с точки зрения автора, одной из важнейших задач белорусского языкознания, решение которой, сопровождаемое заботой и вниманием демократической общественности, может открыть реальные перспективы для подлинного возрождения белорусского языка.

идиома хотя бы в зарождающемся состоянии (или же речь может идти о нескольких ареальных смешанных идиомах с существенными совпадениями в структуре). Несмотря на ряд исключений, особенно в области фонетики, фонологии, а также грамматики (определенные флексии, морфосинтаксические конструкции, служебные слова), наблюдается общая тенденция к доминированию русских элементов и черт[33]. Это тоже неудивительно. Во-первых, БРСР возникла в социальном контексте, в котором белорусы должны были адаптироваться к социальным нормам Советской России, включая языковые. Современная БРСР, таким образом, рождалась как результат стремления говорить по-русски, т. е. первоначально была отражением неполноценного выучивания русского языка. Во-вторых, тот факт, что сейчас есть поколение носителей, способных хорошо и бегло говорить по-русски (и обычно довольно плохо говорящих по-белорусски), которые часто переходят на БРСР в определенных контекстах, не только означает, что для многих людей использование БРСР не коррелирует с плохим знанием русского[34], но и свидетельствует о том, что русский имеет, и скорее всего, будет иметь большее влияние на БРСР, чем белорусский. В [Мечковская 2002] высказывается гипотеза, что для большинства белорусов белорусский язык ценен как символ – в том числе для тех, кто использует его редко или не использует никогда. Если белорусскому обществу в ближайшие десятилетия придется завершить переход на русский как «общественный язык», это будет значить, что белорусский исчезнет «полностью»[35] и вместо него роль языкового воплощения белорусской идентичности будет выполнять БРСР, которая при-

---

[33] И это согласуется с нашей интерпретацией БРСР как субстандартного идиома с региолектной дифференциацией. Как отмечается в [Hoppenbrowers 1982], региолекты, как правило, демонстрируют тенденцию к сближению с литературным языком (и в этом отношении в Белоруссии доминирует, как известно, русский язык), в то время как социолекты удаляются от него. Сближение со стандартом не обязательно значит, что региолекты являются переходными явлениями и в конце концов исчезнут. Если общество их не стыдится, они могут быть очень устойчивыми. Так, например, немецкая земля Баден-Вюртемберг – кстати, сегодня очень богатый и успешный регион с такими известными фирмами, как «Даймлер-Бенц» или «Бош» и с такими элитными университетами, как в Гейдельберге, – в рекламах официально и открыто гордится лозунгом «мы умеем делать все, только не умеем говорить на литературном немецком». От этого либерального подхода к «культурному явлению языка» тоталитарные или посттоталитарные общества на востоке Европы (включая, как правило, и их антитоталитарные группировки), конечно, далеки.

[34] Нам не кажется разумным пытаться ограничивать изучение БРСР, или белорусской «трасянки», теми носителями, которые не могут переключаться на русский (хотя бы и с белорусской фонической интерференцией) и/или даже на белорусский, когда коммуникативная ситуация требует такого разделения языков; другими словами, людьми, которые говорят только на БРСР из-за неумения отделять ее по крайней мере от русского. Такое предложение сделано, например, в [Liskovets 2009]. Во-первых, противопоставление двух дискретных групп: «разделяющих» (говорящих, по крайней мере, на русском и БРСР) и «неразделяющих» (говорящих только на БРСР) носителей – кажется невозможным. Обратим внимание на то, что почти все наши респонденты могли произносить большие фрагменты речи по-русски. Вопрос скорее в уровне владения им. Во-вторых, даже если бы мы могли выделить множество носителей, которые абсолютно не могут говорить ни на относительно «чистом» русском, ни на «чистом» белорусском, и ограничили бы наше исследование ими, это были бы люди с достаточно неглубоким образованием. Тогда традиционное мнение, что БРСР – черта менее образованных людей, будет верно, так сказать, по определению или, точнее, будет имплицировано методологией. (Тогда как [Хентшель, Киттель 2011] показывает, что БРСР обнаруживается во всех группах, выделенных на основании уровня образования.) В-третьих, такой подход не отразит широкое распространение БРСР в белорусском обществе. Правильнее было бы вместо этого сравнивать варианты БРСР, используемые людьми с разным образованием.

[35] Автор хотел бы надеяться на то, что белорусские власти будут в большей мере поддерживать белорусский язык, чем это было в последние 15 лет, – выделяя деньги на распространение школьного преподавания по-белорусски, альтернативного русскому, и альтернативного университетского образования по всем предметам, а также требуя хорошего владения русским и белорусским от госслужащих.

мет роль субварианта при диглоссии русского и БРСР. Нечто похожее случилось с языком кажунов (Луизиана, США, см. [Dyer 2007: 102]). В то время как люди старшего поколения говорят на луизианском французском и американском английском (часто с интерференцией французского), многие молодые люди отказались от французского и в официальных контекстах говорят на литературном американском английском, «а английский с сильным французским акцентом» используют как язык внутриплеменного общения[36].

Что касается БРСР, сохраняется вопрос, какую роль структурные и социальные факторы играют при принятии решения о выборе между функционально эквивалентными элементами и чертами белорусского или русского языков. К сожалению, здесь мы не можем уделить достаточно внимания этой проблеме. Однако, можно с уверенностью сказать, что далеко не всегда при такой конкуренции выбирается самый простой в структурном плане вариант. Хотя такие случаи, конечно, и бывают – например, когда в БРСР русский вариант сочетания предлога *по* с дательным падежом предпочитается белорусскому, где *па* требует то дательного, то предложного падежа. То же происходит, когда русское окончание родительного падежа единственного числа мужского рода /-a/ одерживает победу в БРСР над сложным дополнительным распределением /-a/ и /-u/ в белорусском. Однако простота сама по себе, по крайней мере в случае белорусского, очевидно, не является решающим фактором: достаточно сложный русский морфосинтаксис в контекстах с паукальными числительными выбирается вместо простого согласования, наблюдаемого в белорусском. Подобным образом и белорусская генерализация /-i/ как окончания именительного падежа множественного числа всех существительных уступает более сложной русской модели с отдельным окончанием /-a/ существительных среднего рода. С другой стороны, многофункциональная белорусская частица *дык*, обладающая высокой частотностью в БРСР, побеждает свои разнообразные эквиваленты из русского языка (которые в нем так же частотны). В целом социальное превосходство русского в Белоруссии, очевидно, является главным общим фактором. Но есть дополнительные социальные и структурные факторы выбора, специфичные для конкретной переменной, которые мотивируют устойчивость белорусских вариантов к их вытеснению русскими.

Конечно, на разных структурных уровнях степень доминирования русских черт и элементов разная. Однако резкого противопоставления лексики и грамматики, которое считается решающим критерием для постулирования существования смешанного языка в [Matras, Bakker 2003], в БРСР явно нет, хотя оно и играет некоторую роль. Но эта роль ограничивается тенденцией. Материал БРСР демонстрирует следующую иерархию степени влияния русского языка:

фонетика / фонология < окончания (местоимений < полнозначных слов) < местоименные основы / служебные слова[37] < основы неместоименных полнозначных слов < < дискурсивные частицы.

Чем «правее» структурный подуровень в этой иерархии, тем сильнее в нем влияние русского и слабее – белорусского. Однако, без сомнения, на каждом уровне есть элементы обоих языков, и эта картина отличается от случаев строгого распределения элементов того или иного языка в похожих иерархиях, которые приводятся в [Matras, Bakker 2003: 1–8]. Но все примеры этой работы касаются пар типологически и структурно различных языков. Белорусский и русский же и на уровне диалектов (субвариантов), и на уровне литературных языков в большой степени конгруэнтны, и скорее всего, именно

---

[36] Исследование, проведенное Ольденбургским университетом, свидетельствует о существовании третьего поколения говорящих на БРСР (в настоящее время – школьников), по крайней мере, в небольших городах (см. [Kraŭčanka 2012]), хотя среди молодых людей есть заметная тенденция реже использовать БРСР [Хентшель, Киттель 2011].

[37] Эти две области не сравнивались напрямую. Однако служебные (неизменяемые) слова демонстрируют меньше влияния со стороны русского, чем лексические основы, а местоименные основы – меньше, чем местоименные окончания.

по этой причине распределение белорусских и русских элементов и черт по структурным подуровням носит градационный характер.

Приведенная выше и подтвержденная материалом БРСР иерархия очень напоминает известные иерархии склонности элементов к тому, чтобы быть заимствованными в другой язык (см. [Field 2002: 34–40]). Однако здесь нельзя говорить о заимствовании в традиционном смысле. На фоне описанных феноменов было бы неверно рассматривать БРСР как результат массового заимствования из русского в белорусский, хотя БРСР является феноменом белорусского общества. Было бы неправильно говорить и о заимствовании из белорусского в русский, хотя русские признаки преобладают не только в лексиконе, но даже в нескольких областях грамматики. Эту проблему, по крайней мере на уровне терминологии, может решить концепт репликации, предложенный Матрасом [Matras 2009: 146–165][38]. Элементы, черты и конструкции обоих языков устойчиво отражаются в смешанной речи, в данном случае в БРСР. Некоторые из них чаще строятся на основе одного языка, некоторые – на основе другого, третьи, гибриды, берут элементы обоих, и наконец, некоторые элементы могут быть инновациями, основанными на способности всех людей к языковому творчеству. Возникающие в смешанной речи предпочтения могут стабилизироваться, если они используются в течение достаточно долгого времени и на достаточно обширном пространстве, каким является Белоруссия, но смешанные варианты, особенно субварианты, конечно, будут всегда характеризоваться высокой степенью варьирования (из-за сосуществования конвенционализированного и спонтанного смешения), пока в данном сообществе используется один, два или больше языков-доноров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зализняк 1967 – *А.А. Зализняк.* Русское именное словоизменение. М., 1967.

Курцова 2005 – *В.М. Курцова.* Стан дыялектнага маўлення ў другой палове XX ст. і яго месца ў сістэме сельскіх сацыяльна-камунікатыўных зносін // Скарбы народнай мовы. Дыялекталагічны зборнік. Мінск, 2005.

Ленкевич 2011 – *В. Ленкевич.* Значения и функции элемента дык в белорусско-русской смешанной речи. Paper read on the conference «Belarusian Trasjanka – a "mixed variety" as a product of Belarusian-Russian language contact» (Oldenburg, Germany, March 29th – 31st). Oldenburg, 2011.

Лисковец 2003 – *И. Лисковец.* Новые языки новых государств: явления на стыке близкородственных языков на постсоветском пространстве // http//www.eu.spb.ru.

Лукашанец 2007 – *А.А. Лукашанец.* Кароткая граматыка беларускай мовы: Фаналогія, марфаналогія, марфалогія. Ч. 1. Мінск, 2007.

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Мечковская 1994 – *Н. Мечковская.* Языковая ситуация в Беларуси: Этические коллизии двуязычия // Russian linguistics. 1994. V. 18. № 3.

Мечковская 2002 – *Н. Мечковская.* Язык в роли идеологии: национально-символические функции языка в белорусской ситуации // K. Gutschmidt (eds.). Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Dresden, 2002.

Мечковская 2007 – *Н. Мячкоўская.* Трасянка ў кантынууме беларуска-рускіх ідыялектаў: хто і калі размаўляе на трасянцы? // Веснік БДУ. Сер. IV. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2007. № 1.

Рамза 2011 – *Т. Рамза.* Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан. Мінск, 2011.

Супрун 1987 – *А.Е. Супрун.* Содержание обучения русскому языку в белорусской школе. Минск, 1987.

---

[38] Матрас предлагает «репликацию» в качестве замены для традиционных терминов «заимствование» и «трансфер» и более нового термина «копирование», недавно предложенного в [Johanson 2008]. «Репликация» обладает тем преимуществом, что она не предполагает метафорически, что соответствующий элемент должен быть возвращен (как в случае «заимствования») или что он был передан или даже скопирован с сохранением всех черт, которые он имел в плане выражения и содержания в языке-доноре.

Хентшель 2011 – *Г. Генчаль.* Тэарэтычнае асэнсаванне сістэмнасці мяшанага беларуска-рускага маўлення // Актуальныя праблемы паланістыкі. Мінск, 2011.

Хентшель, Киттель 2011 – *Г. Хентшель, Б. Киттель.* Языковая ситуация в Беларуси: мнение белорусов о распространенности языков в стране // Социология. 2011. № 4. (Немецкая версия в G. Hentschel, B. Kittel. Urteile von Weißrussen über die Verbreitung «ihrer Sprachen» im Lande // Wiener Slawistischer Almanach 67. 2011.)

Хентшель, Целлер 2011 – *Г. Хеншель, Я.П. Целлер.* Яканье, еканье, иканье в белорусско-русской смешанной речи: наблюдения на основе экспериментально-акустического анализа // Г.И. Шевченко (ред.). Актуальные проблемы филологии: античная культура и славянский мир. Минск, 2011.

Цыхун 1998 – *Г. Цыхун.* Трасянка як аб'ект лінгвістічнага даследавання // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канф. (Мінск, 22–24 кастрычніка 1997 г.). Мінск, 1998.

Auer 1999 – *P. Auer.* From code-switching via language mixing to fused lects: Toward a dynamic typology of bilingual speech // The international journal of bilingualism. 1999. № 3.

Bieder (в печати) – *H. Bieder.* Die weißrussisch-russische Mischsprache (Trasjanka) als Forschungsproblem // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Bullock 2009 – *B. Bullock.* Phonetic reflexes of code-switching // B. Bullock, A. Toribio (eds.). The Cambridge handbook of linguistic code-switching. Cambridge, 2009.

Chambers, Trudgill 1998 – *J.K. Chambers, O. Trudgill.* Dialectology. 2nd ed. Cambridge, 1998.

Cychun (в печати) – *H.A. Cychun.* Soziolinguistische, soziokulturelle und psychologische Grundlagen gemischten Sprechens // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Dubois, Sankoff 2001 – *S. Dubois, D. Sankoff.* The variationist approach toward discourse structural effects and socio-interactional dynamics // D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds.). The handbook of discourse analysis. Malden (Mass.), 2001.

Dyer 2007 – *J. Dyer.* Language and identity // C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (eds.). The Routledgecompagnion of sociolinguistics. London, 2007.

Field 2002 – *F. Field.* Linguistic borrowing in bilingual contexts. Amsterdam; Philadelphia, 2002.

Grochowski 1997 – *M. Grochowski.* Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków, 1997.

Hentschel 1991 – *G. Hentschel.* Роль схем формальной дифференциации в развитии флективной системы русского языка // Russian linguistics. 1991. V. 15.

Hentschel 2008a – *G. Hentschel.* Zur weißrussisch-russischen Hybridität in der weißrussischen «Trasjanka» // P. Kosta, D. Weiss (eds.). Slavistische Linguistik 2006/2007. München, 2008. (= Slavistische Beiträge 464), 2008.

Hentschel 2008b – *G. Hentschel.* On the development of inflectional paradigms in Belarusian Trasjanka: The case of demonstrative pronouns // G. Hentschel, S. Zaprudski (eds.). Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: Structural and social aspects of their description and categorization (Studia Slavica Oldenburgensia 17.). Oldenburg, 2008.

Hentschel (в печати) – *G. Hentschel.* Zur Systemhaftigkeit der weißrussisch-russischen gemischten Rede: Phänomene der Redistribution von weißrussischen und russischen Varianten von Funktionswörtern // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Hoppenbrowers 1982 – *C.A.J. Hoppenbrowers.* Language change. A study of phonemic and analogical change with particular reference to S. E. Dutch dialects (Diss.). Groningen, 1982.

Johanson 2008 – *L. Johanson.* Remodeling grammar: copying, conventionalization, grammaticalisation // P. Siemund, N. Kintana (eds.). Language contact and contact languages. (Hamburg Studies on Multilingualism 7.). Amsterdam, 2008.

Katsiura 2011 – *Ju. Katsiura.* Diskursmarker in der gemischten weißrussisch-russischen Rede. Paper read on the conference «Belarusian Trasjanka – a "mixed variety" as a product of Belarusian-Russian language contact» (Oldenburg, Germany, March 29th – 31st). Oldenburg, 2011.

Kittel et al. 2010 – *B. Kittel, D. Lindner, S. Tesch, G. Hentschel.* Mixed language usage in Belarus. The sociostructural background of language choice // International journal of the sociology of language. 2010. V. 206.

Klimaŭ (в печати) – *I. Klimaŭ.* Trasjanka und Halbdialekt: Zur Abgrenzung von Phänomenen der parole und der langue // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Kraŭčanka 2012 – *N. Kraŭčanka.* Sprachliche Präferenzen der jüngsten belarussischen Bevölkerung. (Auf Grundlage einer Umfrage, durchgeführt in sieben belarussischen Städten) // S. Behensky (ed.). m*OST 2010: Österreichische Studierendentagung für SlawistInnen (Beiträge der Konferenz m*OST 2010, 18–20 November 2010 am Fachbereich Slawistik der Universität Salzburg). München; Berlin, 2012.

Labov 1966 – *W. Labov.* Sociolinguistic patterns. Philadelphia, 1966.

Liskovets 2009 – *I. Liskovets.* Trasjanka: A code of rural migrants in Minsk // International journal of bilingualism. 2009. № 13.

Ljankevič (в печати) – *A. Ljankevič.* Die Einstellung zu den gemischten sprachlichen Codes in Weißrussland (am Material eines Matched Guise Tests) // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Matras 2009 – *Y. Matras.* Language contact. Cambridge, 2009.

Matras, Bakker 2003 – *Y. Matras, P. Bakker* (eds.). The study of mixed languages // Y. Matras, P. Bakker (eds.). The mixed language debate. Theoretical and empirical advances. Berlin; New York, 2003.

Mečkovskaja (в печати) – *N. Mečkovskaja.* Weißrussische Trasjanka und ukrainischer Suržyk: quasi-ethnische Substandards mit russischen Merkmalen in der Geschichte sprachlicher Konstellationen // *G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski* (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Milroy 1987 – *L. Milroy.* Language and social networks. Oxford, 1987.

Plähn 1978 – *J. Plähn.* Der Gebrauch des modernen russischen Kirchenslavisch in der Russischen Kirche. Hamburg, 1978.

Ramza 2008 – *T. Ramza.* Die Evolution der Trasjanka in literarischen Texten // Zeitschrift für Slawistik. 2008. V. 53. № 3.

Tambor 2008 – *J. Tambor.* Mowa górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna. Katowice, 2008.

Tesch (в печати) – *S. Tesch.* On morphological hybrids: Byelorussian-Russian word forms in Trasyanka // G. Hentschel, O.O. Taranenko, C. Woolhiser, S.M. Zaprudski (eds.). Studies on Belarusian Transjanka and Ukrainian Suržyk as results of Belarusian- and Ukrainian-Russian language contact. (Papers from a conference, Oldenburg, June 15th – 18th 2007.) Frankfurt am Main, (в печати).

Tesch (рукопись) – *S. Tesch.* Syntagmatische Aspekte der gemischten weißrussisch-russischen Rede: Kodewechsel und Kodemischung. (Dissertation, Universität Oldenburg, Deutschland, in Vorbereitung.) (рукопись).

Trudgill 1986 – *P. Trudgill.* Dialects in contact. Oxford, 1986.

Weinreich 1954 – *U. Weinreich.* Is a structural dialectology possible? // Word. 1954. V. 10. № 2–3.

Zaprudskij 2007 – *S.N. Zaprudskij.* In the grip of replacive bilingualism: the Belarusian language in contact with Russian // International journal of the sociology of language. 2007. V 183.

Zaprudski, Janenka 2011 – *S.M. Zaprudski, N. Janenka.* On the possibilities and limitations of lexical variants processing and some first findings based on individual variants. Paper read on the conference «Belarusian Trasjanka – a "mixed variety" as a product of Belarusian-Russian language contact» (Oldenburg, Germany, March 29th – 31st). Oldenburg, 2011.

Перевод с английского М.В. Шкапы при участии автора

Сведения об авторе:

Герд Хентшель
Universität Oldenburg
gerd_hentschel@web.de

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. Н.В. МАКЕЕВА

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И КОРРЕЛЯТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В ЯЗЫКЕ КЛА-ДАН И ДРУГИХ ЮЖНЫХ МАНДЕ*

Данная статья посвящена типологически необычной синтаксической конструкции, характерной для южных языков манде, относящихся к семье манде нигеро-конголезской макросемьи. Речь идет о конструкции с вложенной коррелятивной клаузой – коррелятивной клаузой, способной занимать позиции, предназначенные для топика: позиции адъюнкта к клаузе, послеложной группе, глагольной группе. Существование такой конструкции обусловлено двумя факторами: особенностями послеложной группы, занимающей позицию адъюнкта к клаузе; распространением топикальных синтаксических позиций на коррелятивные клаузы. В статье также осуществляется попытка установить диахроническую связь между топикализованными ИГ и коррелятивными клаузами в кла-дан, что может внести вклад в типологию диахронических процессов, связанных с механизмами топикализации и коррелятивизации.

Ключевые слова: манде, релятивизация, коррелятивные клаузы, топикализация, фокализация, экстрапозиция

This paper deals with typologically unusual syntactic construction, which is characteristic of Southern Mande languages (Mande > Niger-Congo). It discusses a construction with embedded correlative clause, which can occupy positions reserved for topic: position of adjunct to the finite clause (clause-initial position), adjunct to the postpositional phrase and adjunct to the verb phrase. Existence of such a construction can be explained by two facts: clause-level adjunction of postpositional phrases and generalizing positions available for topicalized NP to correlative clauses. We try to find a diachronic relationship between topicalized NP and correlative clauses in Kla-Dan, that can contribute to the typology of diachronic processes concerning mechanisms of topicalization and correlativization.

Keywords: Mande, relativization, correlative clauses, topicalization, focalization, extraposition

1. КОРРЕЛЯТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В КЛА-ДАН И ДРУГИХ ЮЖНЫХ МАНДЕ

1.1. Краткая характеристика языка кла-дан

Кла-дан является одним из идиомов языковой общности, или макроязыка, дан, который наряду с такими языками, как мано, тура, муан, гуро, яурэ, уан, бен, гбан, входит в южную группу семьи манде нигеро-конголезской макросемьи. Дан распространен на территории трех стран – Кот-д'Ивуара, Либерии и Гвинеи. Районом проживания носителей языка кла-дан является один из двух северных анклавов дан, расположенный к западу от г. Туба: супрефектура Уанину, прилегающая к гвинейской границе, и четыре деревни на территории Гвинеи. В этой работе мы будем использовать мате-

* Данная работа осуществлена при поддержке гранта Фонда фундаментальных лингвистических исследований, проект № А-07-2011 «Полевое исследование языков манде Гвинеи и Кот-д'Ивуара».

Я благодарю Т.В. Никитину, чьи советы и замечания по проблематике данной статьи помогли мне лучше понять суть проблемы.

риалы, полученные в ходе работы с двумя носителями: Чемоко Бамба (Bamba Tiémoko, далее BT; диалект санта) и Кпосо Саи Бамба (Bamba Kposso Sahi, далее BKS; диалект зузуплё)[1].

1.2. Стратегии релятивизации в кла-дан

В кла-дан существуют две стратегии релятивизации – релятивизация генитивного типа, или левосторонняя релятивизация, и коррелятивная стратегия. Левосторонняя релятивизация[2] является стратегией с внешней вершиной и устроена по модели субстантивного определения в генитивной синтагме[3]: слева от вершины релятивизации помещается зависимая клауза, вершиной которой является бессуфиксное отглагольное имя:

(1) Kùà [**Ø**$_i$ wɔ̰́ yà kʌ̀] **ɓ̰ɪ̰̀**$_i$ ká.
1PL.INCL.EXI дело плохой делать человек.REF с
'Мы грешники'. (BKS)

(2) [Ò **Ø**$_i$ dà̰ɑ̰̀] **wɔ̀**$_i$ yɛ̀ gbɛ̃ɛ̀.
2SG.NSBJ учить голос 3SG.EXI трудный
'Язык, который ты учишь, сложный'. (BKS)

Левосторонние релятивные клаузы являются грамматически редуцированными: выражение граммем вида, времени, модальности и полярности невозможно. Как правило, релятивные клаузы при такой стратегии интерпретируются хабитуально.

Данная работа посвящена второй стратегии релятивизации – коррелятивным конструкциям. В этой полипредикативной конструкции зависимая (релятивная) клауза содержит релятивизуемую ИГ (ИГ$_{рел}$), в главной клаузе ее коррелятом является местоименный предикативный показатель (МПП)[4] или несубъектное / посессивное местоимение

---

[1] Обозначение информанта Кпосо Саи Бамба как носителя диалекта зузуплё весьма условно: он является уроженцем деревни Кпо 1 и проживает в настоящее время попеременно в городе Ман и в деревне Зузуплё. За исключением особо оговоренных случаев, свойства коррелятивных конструкций и коммуникативных стратегий в диалектах санта и зузуплё одинаковы.

[2] Левосторонняя релятивизация в кла-дан подробно описана в [Макеева 2012].

[3] В кла-дан в генитивной синтагме определяющее имя предшествует определяемому, а в адъективной синтагме прилагательное, числительное или герундий следует за определяемым существительным.

[4] Местоименный предикативный показатель занимает позицию вершины клаузы и кумулятивно с лицом и числом выражает категории ТАМ, а также полярность и синтаксический статус клаузы. Значения этих категорий образуют серии МПП. Выделяются следующие серии: экзистенциальная, сопряженная, перфектная, проспективная, императивная, оптативная, имперфективно-отрицательная, перфективно-отрицательная, прохибитивная, консекутивная.

В кла-дан также имеется четыре серии местоимений: автономная, контрастивная, несубъектная, посессивная. Автономные местоимения выступают в позиции подлежащего в презентативных неглагольных предложениях с копулой *ɓà* и с копулой-дейктикой *kè* (в глагольном предложении функция субъектного местоимения выполняется местоименным предикативным показателем):

а) Ɓá̰ ɓà.
1SG.AUT это
'Это я'.

б) Yé kè.
3SG.AUT вот
'Вот он'.

Контрастивные местоимения выступают при фокализации, топикализации (см. 2.1) и сочинении ИГ. Несубъектные местоимения выступают во всех синтаксических позициях, за исключением подлежащего: позиции прямого дополнения, зависимого внутри послеложной группы косвенного дополнения или сирконстанта, посессора внутри генитивной синтагмы, если вершина выражена относительным именем. Посессивные местоимения выступают в позиции посессора внутри генитивной синтагмы, если вершина выражена автосемантичным именем.

3 лица – в зависимости от того, соответствует его синтаксическая позиция подлежащему или дополнению (прямому или косвенному) / посессору соответственно.

Так, в примере (3) к ИГ$_{рел}$ *ɓɛ̰̀ kéɛ̰̀* 'человек который' в главном предложении отсылает МПП имперфективно-отрицательной серии 3 ед. *yáá*, а в примере (4) ИГ$_{рел}$ *lè kéɛ̰̀ lṵ̰̀* 'женщины которые' соответствует в главном предложении несубъектное местоимение 3 мн. *ȁlṵ̰̀* в позиции генитивного зависимого.

(3) [**Bɛ̰̀** **kéɛ̰̀** yá lɛ̰̀kʌ̀ ɓà̰ ȁ gɪ̰̀ɛ̰̀ gɯ́]
человек REL 3SG.JNT боль чувствовать.JNT 3SG.NSBJ нога в

yáá bɯ̰̀ŋ̀ ɓà̰ yɛ̀ tɑ̃-sɯ́.
3SG.NEG.IPFV мочь на 3SG.OPT хождение-брать
'Человек, который чувствует боль в ногах, не может ходить'. (BKS)

(4) [**Lè** **kéɛ̰̀** lṵ̰̀ wá yɑ̃ ɓɛ̃ɛ̰̀ kpȁ] **ȁlṵ̰̀** lɔ̰̀
женщина REL PL 3PL.JNT еда хороший готовить.JNT 3PL.NSBJ любовь

yɛ̀ gɔ̰̀ kʌ̀.
3SG.EXI мужчина делать.NTR
'Мужчины любят женщин, которые вкусно готовят'. (BKS)

Если главная клауза является неглагольным презентативным предложением, структура которого не содержит МПП, а релятивизуемой ИГ должно было бы соответствовать ее подлежащее, то последнее выражается местоимением автономной серии:

(5) [**Kɔ́** **kéɛ̰̀** tólú yá ɓɔ̀-ká] **yé** kè.
дом REL крыша 3SG.JNT протекать-INF 3SG.AUT вот
'Вот дом, крыша которого течет'. (BKS)

Подлежащее главной неглагольной клаузы может быть выражено также ИГ с вершиной-существительным:

(6) [Kúá kà **lè** **kéɛ̰̀** yè lɔ̃ɔ̃kúɤ́ɤ̰̀ lɤ̀] **Zɑ̰̃** **bɔ́ɔ́** ɓà.
1PL.INCL.JNT RETR женщина REL видеть.JNT рынок в Зан жена COP
'Женщина, которую мы видели на рынке, жена Зана'. (BKS) (букв. 'Женщина, которую мы видели на рынке, это жена Зана'.)

В диалекте зузуплё ИГ$_{рел}$ маркируется релятивизатором *kéɛ̰̀*. В диалекте санта релятивизатор имеет вид *ké*, если же ИГ$_{рел}$ занимает позицию прямого дополнения или зависимого внутри послеложной группы, за релятивизатором следует местоименная реприза в виде несубъектного местоимения 3 лица, которое может образовывать с первым контрактивную форму *kéɛ̰̀ (< ké ȁ)*:

(7) [Lè á yì gbà **tɔ̃ɔ̃** **kéɛ̰̀** gɯ́ ɛ̀]
женщина 3SG.JNT 1PL.EXCL.NSBJ давать соус REL.3SG.NSBJ в MT

pɤ́ ɓɪ̰̀ gbà̰ wȁȁ ɓɤ̀-ká zùɤ̀ɤ̃ yɔ̀ɔ́
деревня человек весь 3PL.EXI>3SG.NSBJ есть сердце успокаиваться

gbɛ́gbɛ́ gɯ́.
многочисленный в
'Женщина дала нам соус, который все жители деревни едят с большим удовольствием'. (BT)

В диалекте санта показатель релятивизации следует за показателем множественного числа, в диалекте зузуплё он ему предшествует.

В наших материалах встретилось небольшое число коррелятивных клауз, где ИГ$_{рел}$ не имеет при себе релятивизатора:

(8) [**Yà̰ŋ́ɓɔ̰̀** yá kà ȁ zɔ̃ yɔ̰̃ gbà̰ pà]
кот 3SG.JNT RETR 3SG.NSBJ пчела масло весь лакать.JNT

ȁ wáȁlṵ̀-sɯ̀ yɛ̀ yɛ̰̃ɛ̰̀ lʌ̀.
3SG.NSBJ лежать-GER 3SG.EXI солнце для
'Кот, вылакавший весь мед, лежит на солнце'. (BKS)

(9) [Sɔ̀ **ŋ́ŋ̃** dɑ̃ ɛ̀] **yáá** zìì.
одежда 1SG.JNT>3SG.NSBJ носить.JNT MT 3SG.NEG.IPFV старый
'Одежда, которую я ношу, не старая'. (BT)

Внутри релятивной клаузы ИГ$_{рел}$ может быть вынесена в крайнюю левую позицию, т.е. топикализована. В таком случае ее исходная синтаксическая позиция оказывается занята несубъектным местоимением 3 лица. В следующем примере ИГ$_{рел}$ *ŋ̀ɓɑ̃ kɔ́ ké* 'мой дом который' вынесена из послеложной группы с вершиной-послелогом *ká* в начальную позицию в релятивной клаузе, а на ее месте находится несубъектное местоимение 3 ед. Вторая отсылка к ИГ$_{рел}$ содержится в главном предложении также в виде несубъектного местоимения 3 ед.:

(10) [**ŋ̀ɓɑ̰̃** **kɔ́** **ké** lɯ̃ klòó-sɯ̃ yáá **ɑ̃** ká
1SG.POSS дом REL дерево окружать-GER 3SG.NEG.IPFV 3SG.NSBJ с
à] ɓɑ̰̃ɑ̰̃ lʌ̰́ lṳ̃ wà kɔ́ dɔ̀ **ɑ̃** tóó lɤ̀.
MT птица ребенок PL 3PL.PRF дом строить 3SG.NSBJ крыша в
'На крыше моего дома, вокруг которого нет деревьев, птицы свили гнездо'. (BT)

Как при топикализации ИГ$_{рел}$, так и без нее ИГ$_{рел}$ либо, соответственно, анафорическое местоимение могут занимать любую синтаксическую позицию – прямого дополнения (6), косвенного дополнения / сирконстанта (7, 10), посессора (генитивного зависимого) (5). Если ИГ$_{рел}$ занимает позицию подлежащего (3, 4), то стратегия с топикализацией ИГ$_{рел}$ не отличима от стратегии без топикализации, поскольку подлежащее занимает начальную позицию в предложении.

В типологических работах, посвященных релятивизации [Andrews 2004; Lehmann 1986], утверждается, что коррелятивные клаузы, не имея никакой синтаксической функции в главной клаузе, располагаются либо на левой, либо на правой ее границе. В подавляющем большинстве случаев коррелятивные клаузы языка кла-дан находятся в препозиции к главной клаузе. Встречаются и релятивные клаузы, которые постпозитивно примыкают к главной клаузе.

(11) Yà**ɑ̃** dɔ̀ ɓlɑ̃ɑ̃ lṳ̃ gɔ̃ [**ɓɑ̰́ŋ́glòŋ́** **kéɛ̃** **lṳ̃** wá
3SG.PRF>3SG.NSBJ давать баран PL у манго REL PL 3PL.JNT
kà bù yɑ̰́ɑ̰́lɛ̃].
RETR гнить.JNT вчера
'Она дала баранам плоды манго, которые вчера сгнили'. (BKS)

В то же время в кла-дан, как и в других южных манде, коррелятивная клауза может быть линейно вложена в главную клаузу и занимать ту позицию, которая соответствует ИГ$_{рел}$ в главном предложении. Необходимость местоименной репризы непосредственно после релятивной клаузы при этом сохраняется. При такой стратегии релятивная клауза в кла-дан может быть вложена в главную только в постглагольной позиции в препозиции к послеложной группе.

(12) **ŋ̀** yɑ̃ɑ̃kɪ̃ yà dɑ̃ [kúá kà kò
1SG.NSBJ мысль 3SG.PRF класть 1PL.INCL.JNT RETR 1DU.NSBJ
kó dɔ̀ **yì** **kéɛ̃** ká] **ɑ̃** tɑ̃.
друг.друга знать.JNT день REL с 3SG.NSBJ на
'Я помню день, когда мы познакомились'. (BKS)

(13) [**ɓɛ̰́** **kéɛ̃** yá ɓáálá-kʌ̀-ká Sɪ̀gí ká] ŋ̀
человек.EMPH REL 3SG.JNT работа-делать-INF Сиги с 1SG.EXI
ɑ̃ dɔ̃.
3SG.NSBJ знать.NTR
'Я знаю человека, который работает вместе с Сиги'. (BKS)

(13') *ŋ̀ [**ɓɛ̰́** **kéɛ̃** yá ɓáálá-kʌ̀-ká Sɪ̀gí ká]
1SG.EXI человек.EMPH REL 3SG.JNT работа-делать-INF Сиги с
ɑ̃ dɔ̃.
3SG.NSBJ знать.NTR
'То же'.

В диалекте санта, помимо релятивизатора, при маркировании релятивизации используется также маркер правой границы релятивной клаузы. Сегментная основа последнего имеет следующие варианты: *à, ɛ̀, àà, ɛ̀ɛ̀*. Если предшествующая стопа назализованная, показатель тоже может получать факультативную назализацию. Тон показателя расподобляется с предшествующим тоном: после ультранизкого, высокого и ультравысокого тона он получает низкий тон, а после низкого тона – высокий.

(14) [Wù ké ɑ̃ wù á lɛ̃ɛ̃lɛ̃ɛ̃ ɛ̀ɛ̀ / ɛ̀ɛ̀]
животное REL 3SG.NSBJ мясо 3SG.JNT вкусный MT
yàɑ̃ zʌ̀.
3SG.PRF>3SG.NSBJ убивать
'Он убил животное, мясо которого вкусное'. (BT)

(15) Ɓá̰ tɑ̃-sɯ́ [bɯ̃lɛ̃ kʌ̀ ɓɪ̰̀ ké
1SG.PRF путешествие-брать поле делать человек.REF REL
kúáá kà ɑ̃ɓɑ̃ wʌ́ʌ̃ lɛ̃-gè á] ɑ̃ ká.
1PL.INCL.NEG.IPFV RETR 3SG.POSS деньги давать MT 3SG.NSBJ с
'Я путешествовал с земледельцем, которому мы не заплатили денег'. (BT)

1.3. Коррелятивные конструкции в южных языках манде

Типологически необычная вложенная коррелятивная клауза является в то же время очень характерной для южных языков манде. Она имеется также в дан-гуэта [Выдрин 2008], муан [Perekhvalskaya 2007], уан [Nikitina 2012], тура [Bearth 1971], гуро [Kuznetsova 2008]. Встречаются, хотя и чрезвычайно редко, коррелятивные клаузы и в языке бен, где на синхронном уровне коррелятивная стратегия оказалась переинтерпретированной в стратегию с внешней вершиной [Паперно 2008]. Коррелятивным конструкциям в юго-западных манде посвящена работа [Nikitina 2012], где также предлагается гипотеза их возникновения (см. Таблицу 1). Согласно автору, различия, которые обнаруживаются между конструкциями в различных южных языках манде, не имеют отношения к их синтаксическому устройству и носят инновационный характер. Имеется два параметра, по которым различаются коррелятивные конструкции.

Первый параметр – это показатели релятивизации и их свойства: являются они обязательными и специализированными или факультативны и употребляются также в ряде других грамматических контекстов. Кроме того, показатели могут маркировать ИГ$_{рел}$ либо правую границу релятивной клаузы. Так, в уан нет специализированных маркеров ИГ$_{рел}$: в качестве маркеров релятивизации используются указательное местоимение *kɛ̄* 'тот' и определенный артикль, следующие за ИГ$_{рел}$, один из них может быть опущен. Также в уан имеется полуграмматикализованный факультативный финальный маркер релятивной клаузы, восходящий к пространственно-дейктическому наречию *yɑ̰̄* 'там' [Nikitina 2012]. В тура имеется специализированный маркер ИГ$_{рел}$ – морфема, представленная гласным, идентичным предшествующему гласному, со средним тоном. Правую границу релятивной клаузы может маркировать один из финальных показателей, которые, напротив, являются неспециализированными и факультативными. Таких маркеров три: *láà*[5], который обозначает временну́ю или пространственную удаленность события, а также его известность и причинность; *é*, который представляет событие как очевидное; *le / lā / la*, который служит для эмфатического выделения всей клаузы [Bearth 1971]. В муан используется специализированный маркер ИГ$_{рел}$ *là* [Perekhvalskaya 2007]. В бен релятивизатор *fɛ̰̄*, вводящий релятивную клаузу при внешней вершине, в коррелятивной клаузе выступает в качестве детерминатива при ИГ$_{рел}$. Правая граница клаузы маркирована одним из условных союзов *dɛ́ɛ̄* или *nɪ̰̄* либо временным союзом *ná*.

В то же время имеются различия, связанные и с синтаксическим устройством коррелятивной конструкции: если в уан речь идет скорее о паратаксисе, то в кла-дан кор-

[5] В [Bearth 1971] используются следующие обозначения тонов: ´ – высокий тон; ¯ – средне-высокий тон; ` – низкий тон; отсутствие знака над гласным обозначает средне-низкий тон. В диалекте *ɓɔɔ* тональная система трехуровневая: высокий vs. средний vs. низкий.

релятивная клауза является синтаксически зависимой. Формальным признаком синтаксически зависимого статуса клаузы является замена МПП экзистенциальной серии на МПП сопряженной серии.

Другой параметр – это синтаксическая позиция, которую способна занимать коррелятивная клауза. Коррелятивная клауза занимает позицию адъюнкта, характерную для топикализованных составляющих, но при этом различаются уровни, на которых осуществляется экстрапозиция коррелятивной клаузы. Выделяются три позиции: позиция адъюнкта к клаузе, т.е. крайняя левая позиция[6], позиция топика внутри послеложной группы и позиция топика внутри глагольной группы. О том, что коррелятивная клауза занимает внутри послеложной и глагольной групп позицию топика, являясь адъюнктом, свидетельствует необходимость так называемой местоименной репризы: именно несубъектное местоимение заполняет валентность послелога или глагола и является комплементом внутри послеложной или глагольной группы соответственно. Как уже было сказано выше, в кла-дан коррелятивная клауза может занимать первые две позиции (см. примеры (14) и (15) соответственно). Такая же ситуация наблюдается, например, в языке уан. Но такие языки, как тура и дан-гуэта, пошли дальше: в них коррелятивная клауза способна занимать позицию топика к глагольной группе. Приведем пример из языка тура [Bearth 1971: 405, глоссирование наше].

(16) Bè [pɔ̄ɔ̄-̄ è sɛ̄ɛ-à ī -nɛ̀] à pɛ̄ ŋ̄
2SG.IMP вещь-MI 3SG.SBJ нравиться-FUT ты для 3SG.NSBJ говорить я
-nɛ̀.
для
'Скажи мне то, что тебе бы понравилось'.

Следует сказать несколько слов об альтернативном анализе коррелятивов в кла-дан и других южных манде как адъюнктов к ИГ коррелята. Такой подход был предложен в работах [Srivastav 1991] и [Bhatt 2003] для анализа коррелятивов в хинди[7]. Коррелятивы, являющиеся адъюнктами к ИГ (и факультативно передвигающиеся в позицию адъюнкта к клаузе), встречаются также в тибетском языке наравне с коррелятивами, являющимися адъюнктами к главной клаузе [Cable 2009].

Для интерпретации коррелятивных клауз в кла-дан и других южных манде анализ коррелятивов как адъюнктов к ИГ коррелята не представляется адекватным. Во-первых, имеется существенное различие между коррелятивными клаузами в хинди (а также венгерском [Lipták 2005]) и в южных манде, касающееся релятивизуемой ИГ. В хинди полная ИГ может выступать как в главной клаузе, так и в коррелятивной либо в

---

[6] Идея о том, что коррелятивные клаузы ведут себя сходным образом с ИГ, выносимыми в крайнюю левую позицию, появилась в работе [Creissels 2009]. На материале диалекта Кита языка манинка он показывает, что наличие релятивизатора меняет синтаксические свойства клаузы, в которую он входит, таким образом, что последняя получает дистрибуцию, сходную с дистрибуцией ИГ. ИГ в манинка может либо занимать позицию, приписываемую ей ее семантической ролью, либо выноситься в крайнюю левую позицию. Коррелятивные клаузы, в отличие от ИГ, имеют ограниченную дистрибуцию и могут находиться лишь на границе главной клаузы.

В работе [Lipták 2005], посвященной коррелятивным конструкциям в венгерском языке, показано, что венгерские коррелятивы передвигаются на левую периферию предложения точно так же, как другие топикализованные составляющие. Более того, коррелятивы разделяют с топиками не только синтаксические свойства, но и семантику: они являются неконтрастивными топиками (aboutness topic).

[7] Согласно [Srivastav 1991], коррелятивная клауза в хинди является адъюнктом к главной клаузе и не образует единой составляющей с коррелятом. Исключение составляют предложения, содержащие более одной коррелятивной клаузы [Srivastav 1991: 674–676]. В [Bhatt 2003] было показано, что в хинди все коррелятивные клаузы, содержащие одну $ИГ_{рел}$, являются адъюнктами к ИГ, но могут быть передвинуты на левую периферию в позицию адъюнкта к главной клаузе. Коррелятивы, содержащие более одной $ИГ_{рел}$, в обеих работах анализируются как адъюнкты к главной клаузе.

обеих клаузах одновременно[8], при этом ИГ-коррелят должна обязательно быть определенной и содержать указательное местоимение[9] [Lipták 2009: 3–4]. В кла-дан же, как и в других южных манде, коррелятом является анафорическое местоимение 3 лица. В кла-дан в качестве коррелята, обозначающего лицо, может выступать также ИГ *ȁ tìí* 'человек, упоминавшийся ранее', где несубъектное местоимение 3 лица служит показателем ситуативной определенности:

(17) [Ó dȁ **ɓɛ̨́** **kéȅ** gɔ̃-gɯ́] **ȁ** **tìí**
2SG.JNT обманывать.JNT человек.EMPH REL голова-в 3SG.NSBJ человек
yá gɯ́ láŋ̃-ɓò ò lɛ̃ zɯ́.
3SG.NEG.IPFV NEG.FUT вера-осуществлять 2SG.NSBJ перед больше.не
'Человек, которого ты обманываешь, больше тебе не поверит'. (BKS)

Эти факты свидетельствуют в пользу анафорического подхода к коррелятивным конструкциям [Беляев 2011].

Во-вторых, если бы адъюнкция коррелятивов происходила к группе детерминатива, она осуществлялась бы независимо от позиции последнего [Nikitina 2012]. Напротив, как было показано выше, в некоторых южных манде коррелятивная клауза может выступать только в постглагольной позиции, но не в позиции прямого дополнения. Более того, в языке тура, который допускает коррелятивные клаузы в позиции прямого дополнения, такая стратегия является редкой, предпочтительной же позицией для коррелятивной клаузы оказывается позиция адъюнкта к клаузе – крайняя левая позиция [Bearth 1971: 404–405][10].

Таким образом, имеется важное отличие коррелятивов в кла-дан и других южных манде от коррелятивов в других языках. В таких языках, как хинди [Bhatt 2003] и тибетский [Cable 2009], коррелятив может непосредственно предшествовать корреляту внутри клаузы и является при этом адъюнктом к ИГ (Dem-XP). В венгерском [Lipták 2005] непосредственное предшествование коррелятивной клаузы корреляту предпочтительно, но при этом они не образуют единой составляющей. В таком случае, однако, они должны находиться на левой периферии и не могут располагаться внутри главной клаузы. В кла-дан же и других южных манде коррелятивы не являются адъюнктами к ИГ коррелята, но могут быть вложены в главную клаузу, непосредственно предшествуя корреляту.

Т.В. Никитина объясняет процесс расширения дистрибуции коррелятивов как следствие другой типологически нестандартной черты синтаксиса языков манде – а именно, положения послеложных групп в структуре предложения. Языки манде характеризуются строгим порядком слов S-O-V-X. Ряд синтаксических тестов показывает, что постглагольные послеложные группы в уан являются адъюнктами к клаузе [Nikitina 2009; 2012], что и позволяет коррелятивной клаузе внедряться в постглагольную позицию. Один из таких тестов – это местоположение послеложной группы косвенного дополнения к нефинитной форме глагола, в свою очередь управляемой главным предикатом клаузы. В уан послеложная группа косвенного дополнения не может находиться в той же глагольной группе, что и нефинитная форма глагола. Вместо этого она следует за главным глаголом клаузы, оказываясь оторванной от глагола, который ей управляет. Такая позиция послеложной группы косвенного дополнения является единственно возможной:

(18) È [yrē é ló]$_{VP}$ ságlā.
3SG работа DEF делать начинать
'Он начал делать работу' [Nikitina 2009: 321].

---

[8] В венгерском языке использование полной ИГ в коррелятивной клаузе и в главной клаузе одновременно является нежелательным [Lipták 2005: 4].

[9] Помимо определенных ИГ с указательными местоимениями, в качестве коррелятов могут выступать кванторы общности *sab* 'все' и *dono* 'оба' [Srivastav 1991: 656].

[10] Для подтверждения данной гипотезы следовало бы также исследовать сочинение коррелятивных клауз в постглагольной позиции, являющихся зависимыми одного и того же послелога.

(19) È [**kúnà**]$_{VP}$ ságlā. [**yrē** **é** **gó**]$_{PP}$
3SG взбираться начинать дерево DEF в
'Он начал взбираться на дерево' [Nikitina 2012: 321].

Аналогичным образом, если нефинитная клауза, управляемая главным глаголом, оформляется послелогом (20), то косвенное дополнение, относящееся к глаголу нефинитной клаузы, следует за послелогом, который эту нефинитную клаузу оформляет. Более того, между двумя послеложными группами может быть помещено темпоральное наречие, что свидетельствует о том, что две послеложные группы не образуют составляющей (21):

(20) È dāgā [yrē ló]$_{VP}$ mì
3SG заканчивать работа делать на
'Он закончил работать' [Nikitina 2012: 322].

(21) È dāgā [**klɛ̰́nɛ̰̀** **tálà**]$_{VP}$ mì (klɔ̰́) [**bɔ̀lè** **mù** **klā**]$_{PP}$
3SG заканчивать камень бросать на вчера птица PL после
'Он закончил бросать камни в птиц (вчера)' [Nikitina 2012: 322].

К сожалению, мы не располагаем на данный момент достаточным количеством данных по этому вопросу в кла-дан, но во всех примерах подобной синтаксической структуры наблюдается та же картина, что и в уан. Так, в примере (22) послеложная группа *lȕȁȁlȅŋ̀ gɯ́* 'в зеркале' расположена после послеложной группы *dȅ gȁ-sɯ̏ ká*, управляемой главным глаголом клаузы *kʌ̀* 'делать', хотя семантически относится к глаголу в нефинитной форме *gȁ-sɯ̏* 'смотреться':

(22) Pʌ́ ɓóȍ kʌ̀ [dȅ gȁ-sɯ̏ ká]$_{PP}$ [lȕȁȁlȅŋ̀
вещь.EMPH 2SG.PROSP>3SG.NSBJ делать сам смотреть-GER с зеркало
gɯ́]$_{PP}$ lṳ̀ kòó ŋ̀ tȁ-ɓò.
в приходить чтобы.2SG.OPT 1SG.NSBJ поверхность-осуществлять
'Вместо того, чтобы смотреться в зеркало, приходи мне помочь'. (BKS)

Процесс возникновения типологически необычной вложенной коррелятивной конструкции, описанный в [Nikitina 2012], удобно представить в виде таблицы:

Таблица 1

Паратаксис: в первой клаузе релятивизуемая ИГ маркируется демонстративом ↓	некоторые диалекты манден, например кояга
Коррелятивная конструкция: первая клауза теряет независимость, демонстратив реинтерпретируется как специализированный релятивизатор ↓	бамана
Поскольку коррелятивная клауза занимает позицию, аналогичную позиции топикализованных ИГ в экстрапозиции, по аналогии с последней она получает способность занимать позицию топика внутри послеложной группы ↓	уан, муан
Топикализация ИГ внутри клаузы распространяется с адъюнкта к послеложной группе на адъюнкт к глагольной группе ↓	кла-дан
По аналогии с топикализованными ИГ коррелятивы получают способность предшествовать глагольной группе	тура, дан-гуэта

Согласно автору, различия в наборе допустимых для коррелятивов синтаксических позиций в разных южных языках манде обусловлены синтаксическим поведением в них топикализованных и фокализованных ИГ. В то же время в кла-дан наборы позиций, которые способны занимать коммуникативно выделенные ИГ и коррелятивные клаузы, не совпадают, что мы и продемонстрировали в Таблице 1. Прежде чем обратиться к этой проблеме, опишем стратегии фокализации и топикализации в кла-дан и некоторых других южных манде.

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В КЛА-ДАН И ДРУГИХ ЮЖНЫХ МАНДЕ

2.1. Коммуникативные стратегии в кла-дан

Фокус выражается показателем *lɛ̰̀*[11]. Существуют две стратегии фокализации: фокализация с выносом фокализуемой составляющей и фокализация без выноса фокализуемой составляющей. Рассмотрим эти стратегии по очереди.

1) Фокализация с выносом фокализуемой составляющей.

– Фокализация ИГ: ИГ выносится в крайнюю левую позицию и оформляется показателем фокуса. Если в клаузе ее синтаксическая роль соответствует синтаксическим позициям прямого дополнения, косвенного дополнения / сирконстанта или посессора, то позицию вынесенной ИГ в клаузе занимает несубъектное местоимение 3 лица. В случае если фокализуется ИГ из послеложной группы сирконстанта со значением места, его позицию в клаузе занимает наречие *ɓɯ̰́* 'там'. При фокализации посессора вершины ИГ подлежащего, выраженной автосемантичным именем, его позицию в клаузе занимает посессивное местоимение. МПП экзистенциальной серии заменяется на МПП сопряженной серии.

(23) **Tɔ̃̀ sɯ̃ɯ̃ lɛ̰̀** sɛ̃ á kàɑ̃̀ ɓɤ̃̀ kùɛ̀ɛ̃̀ bìɛ̃̀ŋ̃.
курица укрытие FOC огонь 3SG.JNT RETR.3SG.NSBJ есть.JNT год прошлый
'Это курятник огонь сжег в прошлом году'[12]. (BT)

(24) **Ɑ̃̀lɑ̰̀ɑ̰̀ gɯ̰̃ŋ̃ lɛ̃̀ lɛ̰̀** ŋ́ kà yì-zʌ̀ **ɓɯ̰́**.
3PL.POSS двор место FOC 1SG.JNT RETR сон-бить.JNT там
'Это в их дворе я спал'. (BT)

(25) Kà lɛ̰̀ kàɑ̃̀ sɔ̀ á sĩɑ̃ɑ̃̀.
2PL.NSBJ FOC 2PL.POSS одежда 3SG.JNT на.земле
'Это ваша одежда на земле'. (BT)

При фокализации подлежащего или генитивного зависимого в группе подлежащего данная составляющая всегда занимает крайнюю левую позицию. Но замена МПП экзистенциальной серии на МПП сопряженной показывает, что в данном случае фокализованная ИГ линейно расположена вне клаузы.

(26) ŋ̀̀ dʌ̀ lɛ̰̀ á wʌ́ʌ̃̀ dɔ̀-ká ŋ̀ gɔ̃̀.
1SG.NSBJ отец FOC 3SG.JNT деньги давать-INF 1SG.NSBJ у
'Мне дает деньги мой отец'. (BT)

(27) Ɓɑ̰̀ lɛ̰̀ ŋ̀ɓɑ̰̀ ɓlɑ̃ɑ̃ á kà ɤ̀ɓɑ̃̀ ɓɯ̰̀ŋ́ ɓɤ̃̀.
1SG.CNTR FOC 1SG.POSS баран 3SG.JNT RETR 2SG.POSS рис есть.JNT
'Это мой баран съел твой рис'. (BT)

---

[11] Показатель фокуса в кла-дан маркирует как собственно фокус (new information focus [Neeleman et al. 2009: 15]) – информацию, выдвигаемую в предложении на первый план [Ibid.: 16] (26), так и фокус контраста (contrastive focus [Ibid.: 15]), предполагающий существование некоторого множества элементов, из которого осуществляется выбор с противопоставлением [Ibid.: 17] (28).

[12] В примерах на коммуникативную структуру мы для краткости не будем приводить предтекст, однако при опросе информанта предложения давались в контексте, свидетельствующем о коммуникативном выделении той или иной группы.

(28) Bì lɛ̀ ɤ̀ lɔ̃ á ŋ̀ kʌ̀.
2SG.CNTR FOC 2SG.NSBJ любовь 3SG.JNT 1SG.NSBJ делать.JNT
'Это тебя я люблю'.

– Фокализация ГГ: глагольная группа преобразуется в именную путем номинализации глагола при помощи показателя *sʉ̀*, далее фокализация осуществляется так же, как и с другими ИГ, причем несубъектное местоимение 3 ед., отсылающее к ИГ, занимает позицию прямого дополнения при глаголе *kʌ̀* 'делать':

(29) **Yɛ̀ kʌ̀-sʉ̀ lɛ̀ ɓą́ą́ ã̀ *kʌ̀*.**
работа делать-GER FOC 1SG.NEG.IPFV 3SG.NSBJ делать
'Я не работаю'. (BT)

2) Фокализация без выноса фокализуемой составляющей.

– Фокализация ИГ: фокализуемая ИГ не выносится в крайнюю левую позицию, но остается в той позиции, которая соответствует ее синтаксической функции, справа от нее располагается показатель фокуса. Фокализованная составляющая, хотя и линейно помещена внутри клаузы, тем не менее является адъюнктом к той или иной группе, а соответствующая синтаксическая позиция в клаузе занята несубъектным местоимением 3 лица. Если ИГ выражена местоимением, то выбирается местоимение контрастивной серии.

(30) Bą̀ą́ yī lɛ̀ɛ̀ ɓʉ̀.
1SG.PROSP вода FOC.3SG.NSBJ пить
'Я буду пить воду'. (BT)

(31) Ŋ̀ ɓɔ̃ ɓì lɛ̀ ɤ̀ ɓą̀.
1SG.EXI быть похожим.NTR 2SG.CNTR FOC 2SG.NSBJ на
'Это на тебя я похож'. (BT)

(32) Yɛ̃ yą́ą́lɛ̃ lɛ̀ɛ̀ wɔ̀ ĩ̃ãŋ̀-zʌ̀-ká.
3SG.EXI вчера FOC.3SG.NSBJ дело.REF речь-бить-INF
'Я говорил тебе про вчерашний день'. (BT)

– Фокализация ГГ: показатель фокуса располагается сразу после глагольной группы.

(33) [– Ты купил это футу на рынке?]
Krèè̀, ŋ̀ gà ã̀ kpã̀ lɛ̀.
нет 1SG.EXI RETR 3SG.NSBJ готовить.NTR FOC
'Нет, я его приготовил'. (BKS)

(34) Yì gbą̀ sɛ̀ŋ̀ lʌ́ yɛ̃̀ gà-ká lɛ̀ ĩ̀
день весь все ребенок 3SG.EXI умирать-INF FOC 1PL.EXCL.POSS
pɤ́ ɛ̃̀ɛ̃̀ *gʉ́* *lɛ̀*
деревня этот в FOC
'В нашей деревне дети все время умирают'. (BKS)

Показатель фокуса может оформлять предложение целиком:

(35) Bɛ́ á wɛ̃̀ zɔ̃́ɔ̃́bì ɓà lɛ̀.
человек.EMPH 3SG.JNT там знахарь быть FOC
'Этот человек знахарь'. (BT)

(36) [Blãã á wɛ̃̀] ŋ̀bą̀ yáá pɤ́ lɛ̀.
баран 3SG.JNT там 1SG.POSS 3SG.NEG.IPFV COP FOC
'Этот баран не мой'. (BT)

Показателем т о п и к а является детерминатив *dʌ̃̀* [13]. При топикализации используются те же две стратегии, что и при фокализации:

---

[13] Показатель топика в кла-дан маркирует как собственно топик (aboutness topic [Neeleman et al. 2009: 15]) – то, о чем говорится в высказывании [Ibid.: 17] (38), так и контрастивный топик

1) Топикализация с выносом топикализуемой составляющей.

– Топикализация ИГ: топикализуемая ИГ (из позиции, отличной от позиции подлежащего) выносится в крайнюю левую позицию и оформляется показателем топика *dʌ̀*, а его синтаксическую позицию в клаузе занимает несубъектное местоимение. МПП экзистенциальной серии не заменяется на МПП сопряженной серии. Если ИГ выражена местоимением, то используется местоимение контрастивной серии.

(37) **Bì** **dʌ̀** ŋ̀ kà **ɤ̀** yɛ̃ bɯ̃ lɤ̀.
2SG.CNTR TOP 1SG.EXI RETR 2SG.NSBJ видеть.NTR лес в
'Тебя я видел на поле'. (ВТ)

(38) **ŋ̀** **lą̃** **dʌ̀** **à** ŋ̀ ɓɔ̃ **ã** ɓą̃.
1SG.NSBJ бабушка TOP MT 1SG.EXI быть.похожим.NTR 3SG.NSBJ на
'Моя бабушка, я на нее похож'. (ВТ)

(39) **Yè** **dʌ̀** **ŋ́ŋ̃** wɔ̰̃ lɪ̃ãŋ̃-zʌ̀ yì gbą̀.
3SG.CNTR TOP 1SG.JNT>3SG.NSBJ дело.REF речь-бить.NTR день весь
'О нем я говорю каждый день'. (ВТ)

– Топикализация ГГ: глагольная группа преобразуется в именную путем номинализации глагола при помощи показателя *sɯ̃*, далее топикализация осуществляется так же, как и с другими ИГ. Как и при фокализации глагольной группы, номинализуемая ИГ заменяется несубъектным местоимением 3 ед., помещаемым в позицию прямого дополнения к глаголу *kʌ̀* 'делать':

(40) Yɛ̀ kʌ̀-sɯ̃ dʌ̀ ã lɔ̃ yáá ŋ̀ *kʌ̀*.
Работа делать-NMLZ TOP 3SG.NSBJ любовь 3SG.NEG.IPFV 1SG.NSBJ делать
'Работать, это я не люблю'. (ВТ)

Топикализация без выноса топикализованной составляющей осуществляется так же, как соответствующая фокализация:

(41) ŋ̀ kà ɓì dʌ̀ ɤ̀ yɛ̃ yą́ą́lɛ̃.
1SG.EXI RETR 2SG.CNTR TOP 2SG.NSBJ видеть.NTR вчера
'Тебя я видел вчера'. (ВТ)

(42) ŋ̀ ɓɔ̃ ɓì dʌ̀ ɤ̀ ɓą̃.
1SG.EXI быть.похожим.NTR 2SG.CNTR TOP 2SG.NSBJ на
'Ты, я на тебя похож'. (ВТ)

При топикализации ИГ подлежащего и генитивного зависимого в группе подлежащего различие между этими двумя стратегиями нейтрализуется, поскольку топикализуемая составляющая занимает крайнюю левую позицию и неясно, расположена она линейно внутри клаузы или вне ее, а МПП экзистенциальной серии не заменяется на МПП сопряженной серии.

(43) ŋ̀ dʌ̀ dʌ̀ yɛ̃ ɓɔ̃ɔ̃.
1SG.NSBJ отец TOP 3SG.EXI охотиться.NTR
'Мой отец охотится'. (ВТ)

(44) Wò dʌ̀ à ãlṳ̃ lɔ̃ yɛ̃ ŋ̀ kʌ̀.
3PL.CNTR TOP MT 3PL.NSBJ любовь 3SG.EXI 1SG.NSBJ делать.NTR
'Их я люблю'. (ВТ)

(contrastive topic [Ibid.: 15]), предполагающий существование некоторого множества элементов, из которого осуществляется выбор с противопоставлением [Ibid.: 17]:

ŋ̀ yɛ̀ kʌ̀ kɛ̃ɛ̃ yè dʌ̀ yáá wɔ̃́ ɓá kʌ̀.
1SG.EXI работа делать.NTR но 3SG.CNTR TOP 3SG.NEG.IPFV дело некий делать
'Я работаю, а он ничего не делает'. (ВТ)

Вынесенная топикализованная ИГ может оформляться маркером *à*, факультативно использующимся также при маркировании границы релятивной клаузы.

(45) **Yè** **dʌ̀** **à** ŋ̀ kàā̀ gbā̀ wʌ́ʌ̀ gɯ́.
3SG.CNTR TOP MT 1SG.EXI RETR.3SG.NSBJ давать.NTR деньги в
'Он, я дал ему денег'. (ВТ)

При топикализации послеложных групп и глагольных групп с выносом в крайнюю левую позицию топикализованная группа может оформляться просто показателем границы клаузы.

(46) Bɯ̃ gɯ́ à ŋ̀ ɓɔ̀ɔ̀-ká.
лес в MT 1SG.EXI охотиться-INF
'В лесу я охочусь'. (ВТ)

(47) **Yì-zʌ̀-sɯ̀** **à** ŋ̀ŋ̀ kʌ̀.
сон-бить-NMLZ MT 1SG.EXI>3SG.NSBJ делать.NTR
'Спать, это я делаю'. (ВТ)

2.2. Коммуникативные стратегии в южных языках манде

Сходные средства коммуникативного выделения представлены и в других южных манде. Так, в близкородственном языке дан-гуэта имеются показатель контрастивного фокуса *dʌ̂ʌ̱* / *dɯ̱̄* и показатель контрастивного топика *zʌ̀*, участвующие в сходных стратегиях фокализации и топикализации соответственно [Выдрин (рукопись)]. С другой стороны, в дан-гуэта существуют и другие стредства коммуникативного выделения: суффикс *-dɛ̄*, выражающий «селективную фокализацию» со значением «именно данного сорта» при прилагательных; суффикс фокализации *-sɯ̀*, использующийся как показатель «актуальной селективной фокализации» при существительных и показатель контрастивной фокализации при прилагательных, и др. [Выдрин 2010].

В языке бен имеются следующие средства выражения коммуникативного выделения:

– топик, выражающий тему высказывания и строящийся по схеме P + (частица *nɑ̱́*) + S, где P – топикализованная группа, а S – следующее за ней предложение;

– контрастивный топик, строящийся по следующей схеме: (именная группа) + местоименный аргумент + *pɔ̄ lɛ̀, pɔ̄ drɛ̄ nɑ̱́* + S;

– контрастивный фокус, имеющий схему P + *ɲɛ̱̄* + S + частица ɛ̄ или *nɑ̱̂*.

При топикализации ИГ и глагольных групп, подвергающихся номинализации (так же, как это имеет место в кла-дан и дан-гуэта), коммуникативно выделенная составляющая вынесена в крайнюю левую позицию, т.е. используется только стратегия с выносом коммуникативно выделенной составляющей. Фокализация и топикализация in situ возможны только в том случае, если выделенные составляющие выражены независимыми местоимениями. Как и в кла-дан, при этом требуется так называемая местоименная реприза, т.е. валентность при глаголе заполняется не независимым местоимением, а субъектным или несубъектным. При помощи дейктического имени *blɔ̄* 'именно здесь, именно там' осуществляется фокализация локативной составляющей [Паперно 2011].

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И КОРРЕЛЯТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стратегии фокализации, топикализации и коррелятивизации в кла-дан сближаются по нескольким параметрам.

Во-первых, топикализованные ИГ и коррелятивные клаузы имеют тождественный факультативный финальный показатель.

Во-вторых, топикализованные ИГ и коррелятивные клаузы сближаются по параметру серии МПП, используемой в (главной) клаузе. При коррелятивизации, как и при экстрапозиции топикализованной ИГ в позицию адъюнкта к клаузе, вершиной (глав-

ной) клаузы могут являться МПП экзистенциальной серии. При выносе же фокализованной ИГ в позицию адъюнкта к клаузе МПП экзистенциальной серии заменяются на сопряженные.

В-третьих, о близости всех трех стратегий свидетельствует типологически нестандартная синтаксическая конструкция, где коррелятивная клауза находится в позиции топикализованного адъюнкта к послеложной группе. Этой конструкции соответствуют стратегии топикализации и фокализации без выноса в начальную позицию топикализованной и фокализованной групп соответственно. В отличие от коррелятивных клауз, топикализованные и фокализованные ИГ могут занимать позицию адъюнкта не только к послеложной, но и к глагольной группе. Рассмотрим эти три пункта по очереди.

3.1. Финальный маркер

Маркер правой границы коррелятивной клаузы используется также в функции показателя топика – дополнительного, но в некоторых случаях и единственного. Это свидетельствует о диахронической близости топикализованных ИГ и коррелятивных клауз. Можно предположить такой сценарий, согласно которому копула *dɨ̀*, употреблявшаяся в коррелятивной клаузе, грамматикализовалась в показатель топика. Данное диахроническое развитие является типологически распространенным [Nikitina 2012]. При таком сценарии употребление финального маркера в качестве факультативного показателя топика объясняется реинтерпретацией в показатель топика предикативного элемента, за которым он следовал.

Подтверждение этой гипотезы усматривается в конструкции с коррелятивной клаузой с дейктическим наречием wɛ̃̀, которая употребляется при коммуникативном выделении ИГ, занимающей в клаузе позицию подлежащего:

(48) [Yɛ̀ kʌ̀-sɯ̃̀ á wɛ̃̀] ã̀ lɔ̃̀ yáá̰
работа делать-GER 3SG.JNT там 3SG.NSBJ любовь 3SG.NEG.IPFV
ŋ̀ kʌ̀
1SG.NSBJ делать
'Работать я не люблю' / 'Я не люблю (как раз) работать'. (BT)

Если коррелятивная клауза выполняет функцию топикализации ИГ, тогда стандартный показатель топика отсутствует:

(49) [Lɔ̀ɔ́ á wɛ̃̀] ɓą́ą̃̀ tà zìì.
ямс 3SG.JNT там 1SG.PRF>3SG.NSBJ сеять давно
'Ямс, его я посеял давно'. (BT)

Если жѐ коррелятивизация используется в целях фокализации, то в таком случае, как правило, используется также одна из двух стратегий фокализации – с выносом фокализованной группы или без ее выноса. При выносе фокализованной ИГ показатель фокуса оформляет непосредственно коррелятивную клаузу (50) либо контрастивное местоимение, которое дублирует фокализованную ИГ (51)[14]:

(50) [Yĩ á wɛ̃̀] lɛ̰̀ ɓą́ą̃̀ ɓɯ̰̀.
вода 3SG.JNT там FOC 1SG.PRF>3SG.NSBJ пить
'Я буду пить воду'. (BT)

(51) [ɤ̀ dʌ̀ á wɛ̃̀] yè lɛ̰̀ ŋ́ kàã̀
2SG.NSBJ отец 3SG.JNT там 3SG.CNTR FOC 1SG.JNT RETR.3SG.NSBJ
yè yą́ą́lɛ̃̄.
видеть.JNT вчера
'Это твоего отца я вчера видел'. (BT)

---

[14] Возможно, коррелятивные клаузы с дейктическим наречием *wɛ̃̀* маркируют неконтрастивный топик (aboutness topic), а коррелят, не образуя с коррелятивной клаузой единой составляющей, может являться как топиком, так и фокусом. Аналогичная ситуация представлена в венгерском языке [Lipták 2005].

Интересно отметить, что показатели релятивной клаузы и топика совпадают также в языке бен, хотя на синхронном уровне здесь преобладает стратегия релятивизации с внешней вершиной. Релятивная клауза с внешней вершиной может завершаться не только вышеупомянутыми условными союзами *dɛ́ɛ̄* и *nɪ̄*, но также временным союзом *nā́*, который совпадает с показателем топика. Если первые два союза выражают обычное условие, то *nā́* вносит значение его истинности. Примечателен тот факт, что при топикализации ИГ, включающей релятивную клаузу, оканчивающуюся на союзы *nā́* и *dɛ́ɛ̄*, показатель топика отсутствует:

(52) [Flɔ́ɔ̄]$_{NP}$ nā́ ŋ̄ vɪ̄-lí è
сегодня TOP 1SG любить-AG это
'Сегодня она мой друг'.

(53) [Flɔ́ɔ̄ [fɛ̄ à lɛ́ŋ̀ nɪ̀ ó ŋ̄ wɔ̄lì nā́]$_{REL}$]$_{NP}$ (*nā́) ŋ̄
сегодня REL 3SG ребенок DEF ST+ 1SG у TOP (TOP) 1SG
vɪ̄-lí è.
любить-AG это
'Сегодня, когда ее дочь у меня, она мой друг' [Паперно 2008: 316–317].

Кроме того, одним из редких случаев использования коррелятивной стратегии в бен являются презентативные коррелятивные клаузы в позиции топика, сходные с коррелятивными клаузами с наречием *wɛ̀* в кла-дан:

(54) [Pɔ̄ fɛ̄ è nā́]$_{NP}$ wà-ā pɔ̄ bì lɛ̀ dɔ̄-lɛ̀ ɛ́.
вещь REL это TOP 3SG-ST вещь этот DEF знать-RES NEG
'Что это за вещь – он не знает' [Паперно 2008: 316].

3.2. Сопряженная серия МПП

В связи с описанной выше дистрибуцией сопряженной серии МПП возникает следующее предположение. Конструкция с вынесенным влево фокусом очевидно восходит к конструкции клефта, то есть к бипредикативной конструкции, где главная клауза представляет собой рему, а зависимая – тему. Сценарий развития показателя фокуса из копулы главного предложения клефта объясняет ряд фактов. Во-первых, требование сопряженной конструкции в главной клаузе при вынесении фокализованной ИГ связано с тем, что исходно эта главная клауза являлась зависимой. Экстрапозиция же фокализованной ИГ внутри послеложной группы, по-видимому, стала возможной уже после того, как исходный предикативный элемент развился в фокусный показатель. Именно поэтому при данной стратегии фокализации не происходит замены экзистенциальных МПП на сопряженные. Во-вторых, наша гипотеза объясняет, почему при симметричных стратегиях топикализации и фокализации первая, как и коррелятивизация, не требует замены экзистенциальных МПП на сопряженные: если показатель фокуса восходит к предикативному элементу главной клаузы, то показатель топика, напротив, восходит к предикативному элементу зависимой клаузы.

Данная гипотеза подтверждается материалом других южных языков манде – уан и муан, где показатель фокуса совпадает с презентативной связкой. Так, в языке муан презентативная связка *lè*, помимо собственно презентативных предложений (55), употребляется также в клефтовых предложениях (56) и модальных конструкциях со значением необходимости и долженствования (57) [Перехвальская (рукопись)]:

(55) Tɔ̰̀mɪ̄ Lè
кузнец это
'Это кузнец'.

(56) ŋ́ gbú lè nū à kpɛ̄ yɔ̄ɔ̄ dɛ̄-lɛ̄
я сам COP FUT его всё след убивать-IRR
'Я сам это запишу'.

(57) Yrɪ̄ dɪ̄ŋ ɛ́ gbɛ̄ tā lè kā̰
дерево дерево ART рука на COP резать
'Ветку этого дерева нужно будет срезать'.

Как видно из примера (56), речь идет не о каноническом клефте, а о презентативной копуле, грамматикализовавшейся в конструкции клефта в показатель фокуса.

3.3. Позиция топика

В связи с экстрапозицией ИГ и местоположением коррелятивных клауз можно выделить следующие три позиции.

– Позиция адъюнкта к клаузе: здесь могут находиться прежде всего топикализованные ИГ; фокализованные ИГ и коррелятивы оказываются в данной позиции по историческим причинам: фокализованная ИГ восходит к главному предложению клефта, коррелятивная клауза восходит к первой клаузе паратаксиса.

– Позиция адъюнкта к послеложной группе: благодаря ослабленной связи послеложной группы с остальным материалом клаузы, между ними могут внедряться вынесенные из послеложной группы топикализованные ИГ. Данная позиция также, по-видимому, изначально была предназначена для топика. Но в связи с тем, что фокализованные ИГ и коррелятивы заняли позицию топика на левой границе клаузы, эта вторая позиция по аналогии распространилась и на последние.

– Позиция адъюнкта к глагольной группе: эту позицию могут занимать только топикализованные и фокализованные ИГ.

Продемонстрируем распределение коммуникативно выделенных ИГ и коррелятивных клауз по трем позициям в таблице:

Таблица 2

	Адъюнкт к клаузе	Адъюнкт к послеложной группе	Адъюнкт к глагольной группе
Коррелятивная клауза	+	+	–
Топикализованная ИГ	+	+	+
Фокализованная ИГ	+	+	+

Вероятно, имели место два независимых процесса аналогического выравнивания, основанных на совпадении крайней левой позиции, разделяемой всеми тремя единицами. Первый процесс – распространение топикальных позиций на коррелятивные клаузы, которые также, как и топикализованные ИГ, выражают фоновую информацию. Другой процесс – распространение топикальных позиций на фокус как на вторую коммуникативную функцию, в результате чего можно говорить о позиции коммуникативного выделения. Эти два процесса сопровождали процессы расширения набора собственно топикальных позиций.

По-видимому, фокализованными и топикализованными ИГ, а также коррелятивными клаузами список синтаксических единиц, занимающих позицию топика, не ограничивается. Так, вероятно, к их числу относятся ИГ с релятивизатором *ké* в диалекте санта. Как уже было сказано выше, если $ИГ_{рел}$ занимает позицию прямого дополнения или зависимого внутри послеложной группы, за релятивизатором следует местоименная реприза в виде несубъектного местоимения 3 ед., которое может образовывать с первым контрактивную форму *kéɛ̃* (< *kéɑ̃*). Так, в примере (58) $ИГ_{рел}$ занимает позицию подлежащего, функция анафорической отсылки к ней осуществляется МПП перфектной серии 3 ед., наряду с функцией выражения значений ТАМ.

(58) [Lè ké yà glɔ̃ɔ̃ yè] yɛ̃ ɓãlɔ́-kʌ̀-ká ɑ̃ pɛ̃.
женщина REL 3SG.PRF оставаться.долго здесь 3SG.EXI беседа-делать-INF 3SG.NSBJ в
'Он разговаривает с женщиной, которая живет здесь уже долго'. (BT)

В примерах (59а) и (59б) ИГ$_{рел}$ *ȁ ɓʌ̀ŋ́ ké* ‘его ребенок’ занимает в релятивной клаузе позицию косвенного дополнения. За ИГ$_{рел}$ следует местоименная реприза, представленная несубъектным местоимением 3 ед., как это видно в предложении (59а). В примере (59б) релятивизатор и реприза образуют контрактивную форму: *ké ȁ* → *kéȅ*.

(59а) Wɔ̀ŋ́bɔ̃lʌ̰́ á à kɪ̰́ɛ̰́ɛ̰̃ tò ȁ ɓʌ̀ŋ́
старик 3SG.JNT 3SG.REFL наследство оставлять.JNT 3SG.NSBJ ребенок
ké ȁ gɔ̃ yà sɛ́ɛ̃lɛ̃ bɔ̀ɔ̃ ɓã̰.
REL 3SG.NSBJ у 3SG.PRF письмо посылать.3SG.NSBJ на

(59б) Wɔ̀ŋ́bɔ̃lʌ̰́ á à kɪ̰́ɛ̰́ɛ̰̃ tò ȁ ɓʌ̀ŋ́
старик 3SG.JNT 3SG.REFL наследство оставлять.JNT 3SG.NSBJ ребёнок
kéȅ gɔ̃ àà yà sɛ́ɛ̃lɛ̃ bɔ̀ɔ̃ ɓã̰.
REL.NSBJ у MT 3SG.PRF письмо посылать.3SG.NSBJ на
‘Старик отправил письмо своему ребенку, которому оставил наследство’. (ВТ)

В диалекте зузуплё форма *kéȅ* уже неразложима, более того, она расширила свою дистрибуцию до всех синтаксических позиций ИГ$_{рел}$: она употребляется также при релятивизации подлежащего (см. примеры (3), (13)).

Явление местоименной репризы чрезвычайно широко распространено в языке бен [Паперно 2011], где личные местоимения могут употребляться после полных ИГ в позиции подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения, обладаемого (генитивного зависимого) в зависимости от ряда факторов: синтаксической позиции, числа и определенности дублируемой ИГ. Согласно этой работе, функционально личные местоимения оказываются аналогами согласовательных аффиксов, однако данную трактовку не позволяет принять их отделимость.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в данной работе была рассмотрена коррелятивная конструкция с вложенной коррелятивной клаузой. Эта конструкция, чрезвычайно распространенная в южных языках манде, является в то же время типологически необычной. Исследование проблемы возникновения данной конструкции в южных манде невозможно в отрыве от исследования коммуникативных стратегий – фокализации и топикализации. Стратегии топикализации ИГ оказываются стержневыми в развитии синтаксических свойств коррелятивных клауз, с одной стороны, и фокализованных ИГ, с другой стороны. Расширение набора топикальных позиций, основой которого является ослабленная связь между послеложными группами и остальными синтаксическими группами клаузы, инициирует два процесса аналогического выравнивания – процесса расширения доступности позиций для фокализованных ИГ и для коррелятивных клауз. В основе этих процессов лежит формальное и функциональное сходство рассматриваемых синтаксических единиц. Фокализованная ИГ и коррелятивная клауза занимают исходно начальную позицию в клаузе, позицию адъюнкта, причем фокализованная ИГ восходит к главной клаузе клефта, а коррелятивная клауза – к первой клаузе паратаксиса. Функциональное сходство топикализованных ИГ и коррелятивов заключается в том, что они несут фоновую информацию, а топикализованные ИГ и фокализованные ИГ объединяет коммуникативная выделенность. Процессы распространения топикальных позиций на фокализованные ИГ и коррелятивные клаузы, по-видимому, осуществляются независимо друг от друга, в связи с чем позиции, занимаемые фокализованными (и топикализованными) ИГ, с одной стороны, и коррелятивными клаузами, с другой стороны, не совпадают, хотя и связаны исторически.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МПП – местоименный предикативный показатель
AG – суффикс имени деятеля
ART – определенный артикль
AUT – автономная серия местоимений
CNTR – контрастивная серия местоимений
COP – копула
DEF – определенный артикль
EMPH – замена лексического тона высоким, показатель эмфатически-определенной формы некоторых существительных с генерическим значением
EXCL – эксклюзивное местоимение
EXI – экзистенциальная серия МПП
FOC – показатель фокуса
FUT – будущее время
GER – герундий
IMP – императивная серия МПП
INCL – инклюзивное местоимение
INF – суффикс инфинитива
IRR – ирреалис
JNT – сопряженная серия МПП; мена лексического тонального контура глагола в сопряженных конструкциях
MI – показатель идентичности
MT – финальный маркер
NTR – мена лексического тонального контура глагола в нейтральновидовой конструкции
NEG – частица отрицания
NEG.FUT – показатель отрицания в будущем времени
NEG.IPFV – имперфективно-отрицательная серия МПП
NSBJ – несубъектная серия местоимений
OPT – оптативная серия МПП
PL – множественное число, показатель множественного числа
POSS – посессивная серия местоимений, показатель посессивной связи
PRF – перфектная серия МПП
PROSP – проспективная серия МПП
REF – референциальная мена тона существительного
REFL – рефлексивное местоимение
REL – показатель релятивизации
RES – суффикс результатива
RETR – показатель ретроспективного сдвига
SBJ – субъектная серия местоимений
SG – единственное число
ST – видо-временной показатель (состояние, актуально-длительное действие, будущее время)
TOP – показатель топика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беляев 2011 – *О.И. Беляев.* Кореферентность в коррелятивах: связывание переменной или анафора? // Н.Н. Казанский (ред.). Acta linguistica petropolitana. Труды ИЛИ РАН. Т. 7. Ч. 3. СПб., 2011.

Выдрин 2008 – *В.Ф. Выдрин.* Стратегии релятивизации в языках манде (на примере дан-гуэта и бамана) // В.Ф. Выдрин (ред.). Африканский сборник – 2007. СПб., 2008.

Выдрин 2010 – *В.Ф. Выдрин.* Синтаксис и семантика прилагательных в дан-гуэта (южные манде) // Проблемы грамматики и типологии: Сборник статей памяти В.П. Недялкова (1928–2009). М., 2010.

Выдрин (рукопись) – *В.Ф. Выдрин.* Восточный якуба (дан-гуэта) // Языки мира: Языки манде. (рукопись).

Макеева 2012 – *Н.В. Макеева.* Стратегии релятивизации в языке кла-дан // А.Ю. Желтов (ред.). Африканский сборник – 2011. СПб., 2012.

Паперно 2008 – *Д.А. Паперно.* Относительные конструкции языка бен // В.Ф. Выдрин (ред.). Африканский сборник – 2007. СПб., 2008.

Паперно 2011 – *Д.А. Паперно.* Грамматический очерк языка бен // Н.Н. Казанский (ред.). Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. Т. 7. Ч. 2. СПб., 2011.

Перехвальская (рукопись) – *Е.В. Перехвальская.* Язык муан. (рукопись).

Andrews 2004 – *A.D. Andrews.* Relative clauses. Draft. 2004. http://arts.anu.edu.au/linguistics/PeoPLe/AveryAndrews/Papers/ 14.05.2009.

Bearth 1971 – *Th. Bearth.* L'Énoncé toura (Côte d'Ivoire). Doctoral thesis. Norman, 1971.

Bhatt 2003 – *R. Bhatt.* Locality in Correlatives // Natural language & linguistic theory. 2003. V. 21.

Cable 2009 – *S. Cable.* The syntax of the Tibetan correlative // A. Lipták (ed.). Correlatives cross-linguistically. Amsterdam, 2009.

Creissels 2009 – *D. Creissels.* Les relatives corrélatives: le cas du malinké de Kita // Langages. 2009. V. 174.

Kuznetsova 2008 – *O. Kuznetsova.* Les constructions relatives dans la langue guro // V. Vydrin. (éd.). Langues et linguistique mandé: 2e Colloque international, St. Petersbourg (Russie), 15–17 septembre 2008. Communications et résumés. St. Petersbourg, 2008.

Lehmann 1986 – *Ch. Lehmann.* On the typology of relative clauses // Linguistics. 1986. V. 24. № 4.
Lipták 2005 – *A. Lipták.* Correlative topicalization. 2005. Manuscript.
Lipták 2009 – *A. Lipták.* The landscape of correlatives: An empirical and analytical survey // A. Lipták (ed.). Correlatives cross-linguistically. Amsterdam, 2009.
Neeleman et al. 2009 – *A. Neeleman, R. Vermeulen, H. van de Koot, E. Titov.* A syntactic typology of topic, focus and contrast // J. van Craenenbroeck (ed.). Alternatives to cartography. Berlin, 2009.
Nikitina 2009 – *T. Nikitina.* The syntax of postpositional phrases in Wan, an «SOVX» language // Studies in language. 2009. V. 33. № 4.
Nikitina 2012 – *T. Nikitina.* Clause-internal correlatives in Southeastern Mande: A case for the propagation of typological rara // Lingua. 2012. V. 122.
Perekhvalskaya 2007 – *E. Perekhvalskaya.* Les propositions relatives en mwan // Mandenkan. 2007. V. 43.
Srivastav 1991 – *V. Srivastav.* The syntax and semantics of correlatives // Natural language and linguistic theory. 1991. V. 9. № 4.

Сведения об авторе:

Надежда Владимировна Макеева
Институт языкознания РАН
umuta11@yandex.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

© 2013 г. М.Б. КОНОШЕНКО

ЛИЧНО-ЧИСЛОВОЕ МАРКИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ КПЕЛЛЕ: К ТИПОЛОГИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПО ЛИЦУ И ЧИСЛУ

Хорошо известно, что в африканских языках часто встречаются сложные системы согласования по именному классу, – таковы, например, языки банту и многие другие представители макросемьи нигер-конго. В языках семьи манде нет именной классификации и согласования по классу, но это не значит, что в манде вовсе нет согласования. В статье на примере языка кпелле (< юго-западные манде) показано, что в некоторых языках манде есть согласование по лицу и числу. Также в работе демонстрируется, что в кпелле типологически не уникальные дистрибутивные свойства лично-числовых маркеров в совокупности создают нетривиальную конфигурацию согласования по лицу и числу, неодинакового в различных синтаксических областях.

Ключевые слова: согласование, лицо, число, манде, кпелле, синтаксическая область, предикативный показатель, притяжательная именная группа, послелог

It is a well-known fact that African languages have complicated noun class agreement systems, i.e. Bantu and many other Niger-Congo languages, but there is no noun class agreement in Mande languages. However, this does not mean that Mande languages do not have any agreement at all. The goal of the article is to show that some Mande languages, such as Kpelle (< South-Western Mande), have agreement in person and number. I also show that in Kpelle typologically common distributive properties of person-number markers form non-trivial configurations of person and number agreement which are not identical in different syntactic domains.

Keywords: agreement, person, number, Mande, Kpelle, syntactic domain, auxiliary, possessive construction, postposition

1. ВВЕДЕНИЕ

Согласование – один из базовых способов маркирования синтаксической связи. В то же время это явление без преувеличения можно назвать одним из самых сложных для лингвистического осмысления и описания. Согласованию посвящено огромное количество специальных статей и книг. Не имея возможности перечислить все эти работы, назовем лишь [Givón 1976; Кибрик 2002 (1977); Moravcsik 1978; Lehmann 1982; Barlow, Ferguson 1988; Corbett 2006; Мельчук 1993; Siewierska 1999; 2001; 2004].

В литературе существует множество определений согласования. Некоторые авторы дают громоздкие определения, стремясь учесть все тонкости данного явления, – см. [Moravcsik 1978: 333; Lehmann 1982: 203; Мельчук 1993: 31]. В других работах представлено более лаконичное понимание согласования – см. [Кибрик 2002 (1977): 116; Barlow, Ferguson 1988: 1; Corbett 2006: 4]. В целом согласование предполагает наличие пары грамматических элементов, связанных бинарным отношением синтаксической зависимости и изменяющихся по одной или нескольким грамматическим категориям. При этом грамматические характеристики одного элемента изменяются в зависимости от грамматических характеристик другого. Грамматическими элементами, связанными согласованием, могут быть две словоформы, две синтаксические группы (составляющие), либо это может быть группа и словоформа. Например, в русских словосочетаниях *белая корова – белые коровы* адъективная словоформа согласуется с именной словоформой по роду, числу и падежу, то есть имеет место согласование как отношение меж-

ду словоформами. Однако при глагольном согласовании в русском языке имеет смысл постулировать согласование глагольной словоформы с целой синтаксической группой подлежащего, а не отдельной именной словоформой, например: [$_{\text{ИГмн. ч.}}$ [$_{\text{ИГед. ч.}}$ *Саша*] *и* [$_{\text{ИГед. ч.}}$ *Лена*]] *пришли* – ср. [Тестелец 2001: 376]. Здесь глагол появляется в форме множественного числа, потому что такова суммарная характеристика сочиненного подлежащего, хотя оба имени в составе подлежащего стоят в единственном числе. Иными словами, в этом случае в отношение согласования вступают синтаксическая группа и словоформа.

Элемент (словоформа, группа), задающий грамматические характеристики, называется **контролером** согласования. Контролер согласования определяет грамматические характеристики мишени согласования. Минимальную составляющую, внутри которой находятся мишень и контролер, называют **областью согласования**. Сходные грамматические характеристики мишени и контролера являются граммемами одной или нескольких **согласовательных категорий**.

Для обсуждения согласования важно также противопоставление **локального** и **нелокального** контролера. Локальный контролер расположен в той же клаузе, что и мишень, ср. русск. [*Петя*$_{3sG}$ *пляш-ет*$_{3sG}$]. Нелокальный контролер отделен от мишени по крайней мере одной границей клаузы. Такая ситуация возникает при анафорической связи, ср. русск. [*Петя*$_{3sG}$ *не поет*]. [*Он*$_{3sG}$ *пляшет*]. Забегая вперед, заметим, что в настоящей работе принято узкое понимание согласования, которое предполагает только локальное расположение контролера.

Основные согласовательные категории – это род (класс), а также лицо и число.

Сложнейшие системы согласования по классу обнаруживаются в языках банту, атлантических и некоторых других [Welmers 1973; Childs 2003; Creissels et al. 2008]. Согласование по классу можно проиллюстрировать примером из языка суахили (< банту):

(1) m-tu a-me-potea
1-человек 1-PRF-теряться
'Человек потерялся'.

(2) ki-tasa ki-me-potea
7-замок 7-PRF-теряться
'Замок потерялся' [Welmers 1973: 161–162].

В примерах (1–2) на всех словоформах имеются префиксальные показатели класса. В (1) глагол согласуется с подлежащим по 1 классу, а в (2) – по 7.

Согласование по лицу и числу можно проиллюстрировать на материале русского языка:

(3) Я пиш-у
(4) Ты пиш-ешь
(5) Он пиш-ет

В примерах (3–5) глагольная словоформа получает соответствующий лично-числовой префикс в зависимости от лица и числа подлежащего, которое может быть выражено местоимением или именем существительным.

Диахронически лично-числовые показатели обычно происходят из личных местоимений [Givón 1976; Siewierska 1999; 2004]. Историческая связь между личными местоимениями и согласовательными показателями проявляется в наличии множества переходных случаев. В подавляющем большинстве языков мира согласовательные показатели способны употребляться с нелокальным контролером для осуществления анафорической связи [Siewierska 1999]. В этом случае они функционально подобны полноценным местоимениям – ср. русск. *Петя пришел. Он голодный*. В результате многие лингвисты предлагают считать анафорическую связь разновидностью согласования, тем самым расширяя само понятие согласования, – см. [Givón 1976; Кибрик 2002

(1977); Moravcsik 1978; Bresnan, Mchombo 1987; Siewierska 1999; 2004; Corbett 2003; 2006]. Противоположная позиция представлена в [Мельчук 1993; Тестелец 2001; Плунгян 2003] – в отечественной лингвистической традиции принята скорее вторая точка зрения. На наш взгляд, отсутствие противопоставления анафорической и локальной связи может затемнять некоторые интересные явления, которые будут обсуждаться в данной статье. Поэтому мы принимаем узкое определение согласования, которое предполагает обязательное наличие локального контролера.

Данная статья посвящена проблематике согласования по лицу и числу. Мы будем рассматривать западноафриканский язык кпелле, который относится к языковой семье манде, группе юго-западных манде.

Ни в типологической литературе по согласованию, ни в общих обзорах грамматических особенностей африканских языков не встречаются упоминания о манде как о языках, имеющих лично-числовое согласование. Ничего не говорится на эту тему также и в специальной литературе по языкам манде. Для части языков обсуждаемой семьи это совершенно справедливо. Например, таковы языки подгруппы манден – бамана, манинка, мандинка и др. – см. [Creissels 1983; Dumestre 1987; Выдрин 2008], а также раздел 2. Однако это не совсем верно для некоторых других языков манде, к которым, как будет показано ниже, принадлежит и язык кпелле. Забегая вперед, кратко обрисуем ситуацию.

В интересующих нас языках, в частности в кпелле, есть служебные слова, выражающие, с одной стороны, лично-числовые значения, а с другой – различные предикативные (вид-время, модальность, полярность), посессивные и другие значения. Эти словоформы, имеющие непрозрачную морфологическую структуру и называемые морфемами-портманто (или кумулятивными морфемами), очевидно, возникли в результате слияния личных местоимений и грамматических показателей [Выдрин 2006б: 333]. При этом изменение служебных слов по лицу и числу вполне может интерпретироваться как согласование, несмотря на несколько нетривиальную морфологическую природу лично-числовых показателей.

Отсутствие работ, постулирующих согласование в кпелле и подобных языках, нельзя объяснить «невнимательностью» мандеистов. Действительно, лично-числовое маркирование служебных слов в таких языках очень сильно отличается от аффиксального, регулярного, обязательного согласования типа русского *я пиш-у*, *ты пиш-ешь*, *он пиш-ет* и т.д. Поэтому неудивительно, что лингвисты не описывали лично-числовое маркирование в языках манде как согласование – именно в силу его непрозрачной морфологии и сложной синтаксической конфигурации, которая будет обсуждаться в этой статье.

Данная статья преследует две цели. Во-первых, мы покажем, почему применительно к кпелле можно говорить о согласовании по лицу и числу. Во-вторых, мы познакомим читателя с несколькими особенностями согласования по лицу и числу в кпелле. Ни одна из этих черт по отдельности не является типологической редкостью для согласовательных систем, однако если рассматривать эти черты в совокупности, то получится не совсем тривиальная картина.

В разделе 2 настоящей статьи представлена общая информация о языковой семье манде, а также даются некоторые примеры из языка бамана, который отличается прозрачной морфологической структурой и не имеет лично-числового согласования. В разделе 3 доказывается, что в языке кпелле некоторые лично-числовые показатели следует считать согласовательными. Раздел 4 посвящен двум особенностям лично-числовых маркеров в кпелле, которые в совокупности создают нетривиальную конфигурацию согласования. В разделе 5 подводятся итоги.

2. ЯЗЫКИ МАНДЕ

Языки манде – семья, распространенная в Западной Африке, от Сенегала до западной Нигерии и от севера Мали до Кот-д'Ивуара. В эту семью входят около 70 языков. По классификации Дж. Гринберга в [Greenberg 1963a] языки манде относятся к макро-

семье нигер-конго, но очень рано отделились от праязыка[1]. Типологической особенностью языков манде по сравнению с другими языками нигер-конго является отсутствие именных классов [Welmers 1973: 159; Creissels et al. 2008: 116]. В работе [Выдрин 2006а] делается попытка реконструировать для языков манде следы классификации в области морфологии имени существительного, однако о каком-либо согласовании по классу в языках манде как в синхронном плане, так и, вероятно, в диахронии говорить не приходится.

По типу выражения грамматических значений языки манде являются преимущественно аналитическими, однако обнаруживают и некоторые черты синтетизма, часто сопровождаемого фузией.

Простое глагольное предложение в манде имеет структуру, представленную в (6):

(6) S – AUX – O – V – X

В (6) использованы следующие сокращения: S – подлежащее[2]; AUX – служебное слово, которое выражает значения вида, времени, модальности и полярности (а в языках типа кпелле – также лицо и число, см. ниже), обычно оно называется предикативным показателем; O – прямое дополнение; V – глагол; X – любые другие именные группы.

Характерная особенность языков манде – жесткий порядок слов. Между предикативным показателем и глаголом может находиться строго одна именная группа.

Среди языков манде лучше всего описаны языки подгруппы манден – бамана, манинка, мандинка и др. – см., например, [Creissels 1983; Dumestre 1987; Выдрин 2008]. Это языки с сильной степенью аналитизма и прозрачной морфологией, в которых нет и намека на лично-числовое согласование. В качестве отправной точки для настоящего исследования приведем некоторые примеры из языка бамана по [Выдрин 2008].

(7)	Mádù	yé	màrifá`	dí	Sékù	mă
	Маду	PRF.AFF	ружье\REF	давать	Секу	на

'Маду дал ружье Секу'.

(8)	Cĕ=ù	yé	màrifá=ù	dí	mùsó=ù	mă
	мужчина\REF=PL	PRF.AFF	ружье\REF=PL	давать	женщина\REF=PL	на

'Мужчины дали ружья женщинам'.

В (7) на первом месте подлежащее *Mádù*, за которым следует утвердительный перфективный предикативный показатель *yé*. Между предикативным показателем *yé* и глаголом *dí* стоит прямое дополнение. Реципиент выражен послеложной группой с послелогом *mă*. В (8) все именные группы стоят во множественном числе, которое маркируется при помощи клитики *ù*. Это никак не отражается на других словоформах.

Приведем также примеры с именными группами, выраженными местоимениями[3]:

(9)	à	yé	à	dí	à	mă
	3SG	PRF.AFF	3SG	давать	3SG	на

'Он дал его ему'.

(10)	ŭ	yé	ŭ	dí	ŭ	mă
	3PL	PRF.AFF	3PL	давать	3PL	на

Они дали их им'.

---

[1] В некоторых современных работах высказывается предположение о том, что манде может быть семьей-изолятом, – см. [Dimmendaal 2008].

[2] В тех языках, в которых предикативный показатель AUX выражает среди прочих значения лица и числа, подлежащее может опускаться – см. ниже разделы 3–4.

[3] Эти примеры безусловно грамматичны, но не очень естественны. В живой речи для снятия референциального конфликта могут использоваться так называемые эмфатические местоимения или специальное местоимение *ǒ*, которое служит для поддержания референции, чередуясь с местоимением *à* [Выдрин 2008: 58].

Как видно из примеров (9–10), именные группы, занимающие разные синтаксические позиции, в бамана прономинализуются одинаково – при помощи местоимений *à* ‘он’, ‘она’, ‘оно’ и *ǎ* ‘они’.

Посессивная группа в бамана строится по-разному в зависимости от типа принадлежности. При неотчуждаемой принадлежности и в сочетании с относительными именами посессивная группа образуется путем простого соположения:

(11) Aàbú fã̀ ‘отец Абу’ – à fã̀ ‘его отец’
(12) dénù fã̀ ‘отец детей’ – ǔfã̀ ‘их отец’

При отчуждаемой принадлежности посессивная группа образуется при помощи показателя *ká*:

(13) Màdú ká màrìfã̀ ‘ружье Маду’ – à ká màrìfã̀ ‘его ружье’
(14) cɛ̌ù ká màrìfã̀ ‘ружье мужчин’– ǔ ká màrìfã̀ ‘их ружье’

Сочиненная именная группа в бамана образуется при помощи показателя *ní*:

(15) Áminatà ní Úmù ‘Амината и Уму’

Приведенные примеры не дают повода говорить о согласовании по лицу и числу в бамана, однако они помогут нам лучше разобраться в том, как устроен язык кпелле.

3. СОГЛАСОВАНИЕ В КПЕЛЛЕ: БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Язык кпелле относится к группе юго-западных манде. По оценкам 2012 года около 760 тыс. кпелле проживают в Либерии и около 460 тыс. – в Гвинее. Гвинейский и либерийский диалекты различаются главным образом в области фонологии – см. [Konoshenko 2008; Коношенко 2011a], но есть также и некоторые морфологические различия, не существенные для настоящей статьи.

Либерийский кпелле описан достаточно хорошо. Наибольший вклад в его описание внес В. Велмерс – см. [Welmers 1962; 1969; Gay, Welmers 1971]. Кроме того, существуют более старые, но очень подробные описания, выполненные Д. Вестерманом в [Westermann 1921; Westermann, Melzian 1930], грамматика, сделанная для американского «Корпуса мира» [Thach, Dwyer 1981], а также современные тонированные словари [Winkler 1997] и [Leidenfrost, McKay 2005].

Гвинейский кпелле описан в грамматиках [Casthelain 1952; Lassort 1952], также есть очень подробный словарь [Leger 1975]. К сожалению, эти источники содержат множество неточностей в представлении и интерпретации языкового материала.

Заметим, что ни в одном из указанных источников не говорится о лично-числовом согласовании: интересующие нас служебные слова описываются как различные серии местоимений. Таким образом, в настоящей статье предлагается новая интерпретация грамматических особенностей кпелле.

Статья основана на материалах центрального говора гвинейского диалекта кпелле. Представляется, что лично-числовое маркирование в либерийском и гвинейском кпелле устроено одинаково, с точностью до того, что в либерийском кпелле нет противопоставления инклюзивной и эксклюзивной множественности. Материалы были собраны автором в ходе лингвистических экспедиций в Гвинею в 2008–2009 гг.[4], а также в ходе работы с носителем кпелле в г. Беркли, штат Калифорния (США) в феврале-марте 2011 г.[5]

---

[4] Проект «Интегральное описание южных языков манде: словари, грамматики, корпуса глоссированных текстов», поддержанный грантом РГНФ № 08-04-00144а.

[5] Автор выражает благодарность за сотрудничество носителям кпелле Давиду Лама и Фасу Бьенвеню Луа.

Прежде чем подойти к непосредственной проблематике данной статьи, рассмотрим случай, когда лично-числовой маркер в кпелле не является согласовательным:

(16) ŋé nɛ̀ápɛ̀lɛ̀ɛ̀ kàà
1SG.B.AFF DEF\ребенок.PL видеть\L
'Я видел детей'[6].

(17) ŋé dĭ-kàà
1SG.B.AFF 3PL-видеть\L
'Я их видел'.

(18) *ŋé nɛ̀ápɛ̀lɛ̀ɛ̀ dĭ-kàà

Примеры (16–18) показывают, что в позиции прямого дополнения может находиться либо полная именная группа (16), либо лично-числовой префикс (17); полная именная группа не может сочетаться с префиксом в одной и той же клаузе (18). Иными словами, в позиции прямого дополнения лично-числовой префикс может выполнять только анафорическую функцию, имея нелокального контролера. В соответствии с узким пониманием согласования, принятым в настоящей статье, лично-числовой префикс в позиции прямого дополнения не может считаться согласовательным показателем.

3.1. Лично-числовое маркирование предикативных показателей

Рассмотрим следующие примеры из кпелле:

(19) àă hùyŏ téɣé
3SG.RES.AFF мясо резать
'Он разрезал мясо'.

(20) dàă hùyŏ téɣé
3PL.RES.AFF мясо резать
'Они разрезали мясо'.

Примеры (19–20) иллюстрируют анафорический контекст. Однако, в отличие от аналогичных примеров (9–10) из бамана с местоимениями *à* и *ǐ*, в (19–20) нет синтагматически независимых местоимений, выполняющих анафорическую функцию, нет даже соответствующего аффикса. Есть лишь служебные слова *àă* и *dàă*, имеющие непрозрачную морфологическую структуру (портманто) и кумулятивно выражающие, с одной стороны, лично-числовые значения, а с другой – глагольное значение результатива и утвердительной полярности. Полную парадигму предикативных морфем-порманто см. в Таблице 1 ниже.

Вот как выглядят аналогичные высказывания в хабитуалисе:

(21) ă hùyŏ tèɣè kɛ̀lɛ̀kɛ̀lɛ̀
3SG.HAB.AFF мясо резать\L часто
'Он часто режет мясо'.

(22) dă hùyŏ tèɣè kɛ̀lɛ̀kɛ̀lɛ̀
3PL.HAB.AFF мясо резать\L часто
'Они часто режут мясо'.

В хабитуальной конструкции изменилась форма служебных показателей, а глагол приобрел грамматический низкий тон[7]. Однако анафорическая связь по-прежнему осуществляется за счет лично-числовых характеристик служебных показателей.

---

[6] Поскольку, как было сказано, в языке кпелле нет противопоставления по категории именного класса (в частности – грамматического рода), все примеры с местоимениями и лично-числовыми показателями могут быть переведены на русский язык и в женском роде – ср. 'Я видел(а) детей' в (16). Для простоты здесь и далее все переводы даются в мужском роде.

[7] Грамматический низкий тон глоссируется здесь как L (low), потому что он употребляется во множестве разных контекстов в сочетании с другими показателями и ему трудно приписать какое-либо определенное значение.

Рассмотрим следующие примеры:

(23) Pépèè àǎ hùyð téɣé
Пепе 3SG.RES.AFF мясо резать
'Пепе разрезал мясо'.

(24) nèáà dàǎ hùyð téɣé
DEF\женщина.PL 3PL.RES.AFF мясо резать
'Женщины разрезали мясо'.

В (23–24) в позиции подлежащего есть полная именная группа. При этом служебное слово, следующее за подлежащим, имеет такие же лично-числовые характеристики, что и подлежащее, – 3 л. ед. ч. в (23) и 3 л. мн. ч. в (24).

Итак, в (23–24) мы имеем дело с некоторой зависимостью между формой служебного слова (мишенью?) и лично-числовыми характеристиками подлежащего (контролера?). Можно ли уже на этом этапе анализа постулировать согласование? Как было заявлено во введении, в настоящей работе принято узкое понимание согласования, предполагающее обязательное наличие локального контролера. При таком подходе о согласовании в (23–24) можно говорить только в том случае, если удастся доказать, что полная именная группа и служебное слово, маркированное по лицу и числу, находятся в границах одной и той же клаузы. Между тем можно предположить, что в (23–24) полная именная группа вынесена за пределы клаузы («dislocated» в англоязычной терминологии), а лично-числовой показатель является глагольным аргументом и выполняет анафорическую функцию – ср. возможные в устной речи русские высказывания с топикализацией подлежащего: *Петя, он пришел*.

Аргументы в пользу локального расположения контролера основываются на предположении о том, что возможность одновременного присутствия полной именной группы и лично-числового маркера в пределах клаузы не должна зависеть от информационного статуса именной группы [Siewierska 1999]. Так, примеры (23–24) произносятся без пауз, они возможны в любом контексте, в том числе как тетические (коммуникативно не расчлененные, полностью рематические) высказывания, где топикализация, т. е. вынесение за пределы клаузы, невозможна. Более наглядно это можно показать, если понизить референциальный статус подлежащего. В этом случае высказывание почти наверняка будет тетическим:

(25) nú tǎ=ŋàà dǐ pà
человек один=PL 3PL.B.AFF приходить\L
{ЛК: Что там такое?} 'Пришли какие-то люди'.

В (25) предикативный показатель появляется в форме множественного числа *dǐ* вслед за нетопикализованным, неопределенным подлежащим во множественном числе. Это является подтверждением того, что подлежащее в подобных высказываниях находится в той же клаузе, что и лично-числовой показатель. В этом примере, как и в (23–24), предикативный показатель является обязательным и не может быть опущен. Значит, в примерах (23–25) следует постулировать обязательное согласование[8].

Если мы согласились с тем, что в примерах (23–25) имеет место согласование, то очевидно, что его контролером будет подлежащее, а морфологической мишенью – служебное слово. Возникает следующий вопрос: каков категориальный и синтаксический статус таких служебных слов?

---

[8] Строго говоря, на этом этапе анализа есть еще одна теоретическая возможность: лично-числовые показатели можно трактовать как случай «местоименной репризы», или резумптивных местоименных клитик (в англоязычной терминологии это явление обычно называется «clitic doubling», см., например, [Anagnastopoulou 2006]). Однако в кпелле такой проблемы нет, потому что лично-числовые показатели невозможно вычленить из морфем-портманто – см. Таблицу 1 ниже, т. е. они еще менее синтагматически свободны, чем аффиксы, которые обычно являются кандидатами в согласовательные показатели.

До последнего времени в мандеистике служебные слова, одновременно выражающие лично-числовые и предикативные значения, считались местоимениями и противопоставлялись так называемым предикативным показателям в других языках манде, не выражающим значения лица и числа, – см., например, [Выдрин 2006б], а также существующую литературу по кпелле. Таким образом, постулировались различные серии местоимений – хабитуальная, перфективная, императивная, различные отрицательные серии и т. д. Однако в работе [Выдрин 2010] было показано, что это не местоимения (именные группы), а служебные слова, аналогичные предикативным показателям типа показателя *yé* в (7–10) из бамана. С морфологической точки зрения отличие обсуждаемых служебных слов от предикативных показателей в бамана состоит только в том, что они выражают не только глагольные, но и лично-числовые значения. Иными словами, можно говорить, что в кпелле предикативные показатели «спрягаются», а в бамана – нет[9].

С синтаксической точки зрения предикативный показатель в кпелле и других языках манде входит в глагольную группу (а не, скажем, группу подлежащего). Это легко доказать на материале кпелле – см. также доказательство на материале языка дан-гуэта (< южные манде) в [Выдрин 2010] с частично совпадающей аргументацией.

Во-первых, в глагольном предложении подлежащее, выраженное именной группой, не обязательно, а предикативный показатель вместе с глаголом обязателен. Можно сказать *Pépèè è pà* ‘Пепе пришел’ либо *È pà* ‘Он пришел’ при невозможности **Pépèè è*, а также **Pépèè pà*. Это является аргументом в пользу того, что показатель *è* образует составляющую с глаголом *pà*, а не с подлежащим *Pépèè*, – ср. критерий фрагментирования в [Тестелец 2001: 135].

Во-вторых, контекстные тональные изменения (изменения тона слова под влиянием тона предшествующего слова) никогда не пересекают границу между подлежащим и предикативным показателем, в то же время предикативный показатель может влиять на тон глагола при отсутствии прямого дополнения.

(26) /ă pà kèlèkèlè/ → [à pâ kèlèkèlè]
3SG.HAB.AFF приходить\L часто
‘Он часто приходит’.

(27) /ńóŋ è pà/ → [ńóŋ ȅ pà], *[ńóŋ ȇ pà]
1SG\ребенок 3SG.B.AFF приходить\L
‘Мой ребенок пришел’.

Пример (26) иллюстрирует продвижение высокого тона с предикативного показателя на глагол. В (27) показано, что продвижение тона с подлежащего на предикативный показатель невозможно.

В-третьих, предикативный показатель в качестве одного из морфосинтаксических локусов глагольной группы маркирует зависимый статус клаузы наряду с глаголом, например:

(28) gáá mɔ́núŋ láá-ì gɔ́lɛ̀
1SG\быть рис класть-NF 1SG.рядом
gɛ̀ pùlŭ máă-làà lă
1SG.DEP голод поверхность-класть\L с.этим
‘Я храню рис, чтобы избежать голода’.

В (28) зависимая клауза со значением ‘чтобы избежать голода’ маркируется особым предикативным показателем *gɛ́* и грамматическим низком тоном на глаголе *màă-láá* ‘избегать’. В синтаксисе критерий морфосинтаксического локуса используется для определения вершины составляющей [Тестелец 2001: 84]. Как было сказано выше, в

[9] В.Ф. Выдрин предлагает несколько иную трактовку морфологии этих показателей – подробнее см. [Выдрин 2010]. Критику его интерпретации см. в [Коношенко 2011б: 30–32].

кпелле предикативный показатель является морфосинтаксическим локусом наряду с глаголом, поэтому определение вершины по этому критерию проблематично. Однако он может быть использован как надежный аргумент в пользу того, что предикативный показатель образует составляющую с глаголом, даже если вершину по этому критерию нельзя определить однозначно.

Полная парадигма предикативных показателей представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Предикативные показатели в кпелле

	серия	ед. ч.			мн. ч.			
		1	2	3	1 INCL	1 EXCL	2	3
утвердит.	I. субъектная базовая	ŋé	é	è	gŭ	kú	ká	dĭ
	II. результативная	ŋàǎ	yàǎ	àǎ	gwàǎ	kwàǎ	kàǎ	dàǎ
	III. хабитуальная	ŋǎ	yǎ	ǎ	gwǎ	kwǎ	kǎ	dǎ
	IV. императивная	–	ø/bé	ě	kà gwě / kàgú /gwě	–	kà	dĭ
	V. консекутивная	ŋé	é	ě	gŭ	kú	ká	dĭ
	VI. нейтральная (зависимая)	gɛ́	yɛ́	yɛ̌	gùó	kúó	káá	dìé
отрицат.	VII. базовая отрицат.	vé	hvé	hvě	gŭhvé	kúhvé	káhvé	dĭhvé
	VIII. отрицательная хабитуальная	vǎ	hvá	hvǎ	gŭhvǎ	kúhvǎ	káhvǎ	dĭhvǎ
неполярн.	IX. условная	ŋà	yà	à	gwà	kwà	kà	dà

Следует заметить, что не вполне тривиальной особенностью обсуждаемых лично-числовых маркеров в кпелле является морфологическая природа их экспонентов – это невычленяемые элементы в составе морфем-портманто, в данном случае предикативных показателей, а также других служебных слов – см. ниже 3.2–3.4. Тем не менее лично-числовая семантика и обсуждавшиеся выше синтаксические особенности предикативных показателей позволяют говорить о согласовании. Ниже мы не будем возвращаться к морфологии лично-числовых показателей в кпелле.

Таким образом, при согласовании с подлежащим морфологической мишенью является предикативный показатель, хотя синтаксической мишенью может считаться вся глагольная группа. Областью согласования предикативного показателя с подлежащим является клауза.

3.2. Лично-числовое маркирование притяжательных показателей

Еще одна синтаксическая область, важная для настоящего обсуждения, – посессивные именные группы. По типу обладаемого в кпелле можно выделить посессивные группы трех типов: с автосемантичными именами (значение отчуждаемой принадлежности), с терминами родства и с частями тела. Ср. два типа посессивных конструкций в бамана (11–14).

Рассмотрим примеры посессивных именных групп с автосемантичными именами:

(29) ŋɔ̀ hɛ́bɛ̂
3SG.POSS книга
'его книга'

(30) ǹókòlò ŋɔ̀ hɛ́bɛ̂
DEF\ребенок 3SG.POSS книга
'книга ребенка'

(31) dìwɔ́ hɛ́bɛ̂
3PL.POSS книга
'их книга'

(32) nɛ̀ápɛ̀lɛ̀ɛ̀ dìwɔ́ hɛ́bɛ̂
DEF\ребенок.PL 3PL.POSS книга
'книга детей'

В (29, 31) анафорический обладатель выражается при помощи притяжательного показателя, изменяющегося (спрягающегося) по лицу и числу. В (30, 32) в роли обладателя выступает полная именная группа, но притяжательный показатель сохраняет свою лично-числовую форму, т.е. мы получаем нечто вроде «ребенок его книга», «дети их книга» – ср. неизменяемый притяжательный показатель в бамана (13–14).

Доказательство того, что полная именная группа расположена локально по отношению к притяжательному показателю, аналогично доказательству локального расположения подлежащной именной группы в 3.1, мы не будем повторять его здесь. Далее необходимо разобраться в том, к чему синтаксически относится сам притяжательный показатель. Как и в случае с предикативным показателем, который синтаксически находится в глагольной группе, притяжательный показатель синтаксически относится к правой именной группе, выражающей обладаемое. Во-первых, в конструкции с отчуждаемой принадлежностью притяжательный показатель обязателен, а полная именная группа, выражающая обладаемое, необязательна – ср. (29) и (30), (31) и (32). Во-вторых, притяжательный показатель ничем не может быть отделен от обладаемого. В-третьих, притяжательный показатель входит в парадигму вершинных маркеров, оформляющих обладаемое имя в притяжательных контекстах различных типов, – см. пример (33), а также конструкцию с терминами родства ниже.

(33) bɛ́lɑ́ɑ́ kɔ̀ɣɔ̀
овца нога\L
'овечья нога'

В примере (33) именно вершинное имя получает грамматический низкий тон при неотчуждаемой принадлежности и нереферентном обладателе.

Полная парадигма спрягаемых притяжательных показателей представлена в Таблице 2:

Таблица 2

Лично-числовые формы притяжательного показателя в кпелле

	SG	PL	
		INCL	EXCL
1	ŋɔ́/ ŋá / ŋé	gùwɔ́	kúwɔ́
2	éwɔ́	káwɔ́	
3	ŋɔ́ / ŋà	dìwɔ́	

Итак, в посессивной группе с автосемантичным обладаемым контролер согласования – посессор, морфологическая мишень – притяжательный показатель в составе группы обладаемого.

Согласование в посессивной группе наблюдается также в конструкции с терминами родства (а также некоторыми другими именами типа 'друг', 'вождь'):

(34) ǹókòlò ǹáŋ̀
DEF\ребенок 3SG\отец
'отец ребенка'

(35) nɛ̀ɛ́pɛ̀lɛ̀ɛ̀ dĩ-náŋ̀
DEF\ребенок.PL 3PL-отец
'отец детей'

В (34) обладаемое имя оформлено несубъектным показателем 3 л. ед. ч. (его экспонент в данном случае – префиксальный низкий тон), а в (35) появляется показатель 3 л. мн. ч. Местоименные показатели, присоединяющиеся к обладаемому в именных группах такого типа, также используются как сугубо анафорические средства, например в позиции прямого дополнения – см. (16–17).

Посессивная конструкция с частями тела и другими неотчуждаемыми вещественными объектами (например, 'листья пальмы') при референтном посессоре образуется путем простого соположения, согласования в ней нет, ср. также (11–12) из бамана:

(36) Pépèè kɔ́ɣɔ́
Пепе нога
'нога Пепе'

При нереферентном посессоре обладаемое получает грамматический низкий тон – см. (33), согласования также нет.

3.3. Лично-числовое маркирование сочинительного союза

Очередной релевантный для настоящего обсуждения контекст – сочиненная именная группа. Границы подлежащего в (37–38) отмечены квадратными скобками:

(37) [kwà Pépèè] kú pà
1.EXCL.и Пепе 1PL.EXCL.B.AFF приходить\L
'Я и Пепе пришли'.

(38) [dà Pépèè] dĩ pà
3.и Пепе 3PL.B.AFF приходить\L
'Он и Пепе пришли'.

В (37–38) подлежащее выражено сочиненными группами *kwà Pépèè* и *dà Pépèè*, а предикативные показатели *kú* и *dĩ* в составе глагольной группы согласуются с сочиненным подлежащим по лицу и числу. Форма первого показателя *kwà* / *dà* меняется в зависимости от лица участников – ср. неизменяемый сочинительный показатель в бамана (15).

Если участников в сумме больше двух, показатель множественного числа *-ni* присоединяется ко второй именной группе, но семантически множественное число будет относиться к первому участнику:

(39) dà Pépèè 'он (ед. ч.) и Пепе' vs. (40) dà Pépèè-ni 'они (мн. ч.) и Пепе'.

Из сказанного выше следует, что первый показатель не имеет числового значения как таковой, хотя исторически он и связан с местоимением 3 л. мн. ч. [Vydrin 2010]. В синхронии этот показатель можно считать спрягаемым союзом – по аналогии со спрягаемыми предикативными и притяжательным показателями.

Рассмотрим следующий пример:

(41) [Hèhèè dà Pépèè] dĩ pà
Хехе 3.и Пепе 3PL.B.AFF приходить\L
'Хехе и Пепе пришли'.

В (41) первый участник в составе сочиненной группы выражен полной именной группой *Hèhèè*. Однако форма спрягаемого союза осталась прежней, т. е. мы имеем буквально следующее: 'Хехе 3.и Пепе'. Доказательство локального расположения первой именной группы можно опустить, оно аналогично приведенному в 3.1. Далее, в доказательство того, что спрягаемый союз синтаксически относится ко второй именной группе, можно привести следующие аргументы. Во-первых, как и в случае со спрягаемым притяжательным показателем, в составе сочиненной группы первый конъюнкт может отсутствовать, а сочинительный показатель и правая именная группа обязательны

всегда – ср. (38) и (41). Во-вторых, сочинительный показатель связан со второй именной группой семантически, что демонстрирует сфера действия показателя множественного числа – см. (40).

Полная парадигма спрягаемого сочинительного союза представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Лично-числовые формы сочинительного союза в кпелле

	INCL	EXCL
1	gwà	kwà
2	kà	
3	dà	

Итак, в области сочиненной группы спрягаемый союз согласуется по лицу с первым конъюнктом.

3.4. Лично-числовое маркирование послелога *ɓà* 'на'

В языке кпелле есть еще одна область, важная для настоящего обсуждения, – послеложная группа с послелогом *ɓà* 'на' (в исходной форме послелог *ɓà* появляется после именной группы в единственном числе – см. 4.3).

(42) yàǎ háŋá dìê
2SG.RES.AFF обижать 3PL.на
'Ты обидел их'.

(43) yàǎ háŋá ŋwɛ́áà dìê
2SG.RES.AFF обижать гость.PL 3PL.на
'Ты обидел гостей'.

Глагол *háŋá* 'обидеть' не является в кпелле переходным, как в русском языке (ср. *обидеть кого / что*), но имеет валентность на послеложную группу с послелогом *ɓà*. В (42) послеложная группа содержит анафорический элемент, что выражается при помощи особой послеложной формы: ср. *ɓà* 'на' – *dìê* 'на них'. В (43) зависимым послелога является полная именная группа во множественном числе, но послелог не меняет лично-числовую форму, получается буквально «гости на них» – ср. не изменяющийся по лицу и числу послелог *mǎ* в бамана (7–8).

Полная парадигма форм послелога *ɓà* представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Лично-числовые формы послелога *ɓà* в кпелле

	SG	PL	
		INCL	EXCL
1	máà	gùô	kúô
2	yɛ̂	káà	
3	mà	dìê	

Итак, в области послеложной группы послелог согласуется со своим зависимым.

3.5. Промежуточные итоги

Все наши наблюдения относительно различных областей, контролеров и мишеней согласования в кпелле можно суммировать в Таблице 5. В столбце «Мишень» первой указана морфологическая мишень согласования, а в скобках – синтаксическая.

Таблица 5

Контролеры, мишени, области и категории согласования в кпелле

	контролер	мишень	область
1	группа подлежащего	предикативный показатель (глагольная группа)	клауза
2	группа обладателя	притяжательный показатель (группа обладаемого)	именная группа (посессивная)
3	первый конъюнкт	союз (второй конъюнкт)	именная группа (сочинительная)
4	послеложное зависимое	послелог	послеложная группа

Далее в разделе 4 мы обсудим некоторые дополнительные дистрибутивные свойства лично-числовых маркеров в кпелле и посмотрим, как в этом языке устроены грамматические категории, по которым мишени согласуются с контролерами.

4. ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ В КПЕЛЛЕ

Мы убедились в том, что в кпелле есть лично-числовое согласование с четырьмя типами мишеней и, соответственно, с четырьмя типами контролеров в синтаксических областях четырех типов. Теперь нам предстоит дополнить морфосинтаксический каркас, выстроенный в п. 3, дополнительными сведениями о двух дистрибутивных свойствах лично-числовых маркеров, которые определяют грамматические категории, по которым возможно согласование в различных областях. Каждое из этих свойств лично-числовых маркеров само по себе не является типологической редкостью, однако в сумме они приводят к нетривиальному результату.

4.1. Невозможность согласования с местоимениями в качестве контролеров и категория лица

Особенностью лично-числовых показателей в кпелле является то, что их локальным контролером может быть только именная группа, выраженная именем существительным (с возможными зависимыми), но не местоимением, даже при контрасте – ср. испанские предложения *Pedro cant-a* ‘Педро поет’, *Cant-a* ‘Он поет’, *Él cant-a* ‘(Именно) он поет’:

(44) *yàǎ ǎ pà kèlèkèlè
3SG.AUT 3SG.HAB.AFF приходить\L часто
‘Именно он часто приходит’.

В контексте с фокусом контраста выделенная составляющая выносится за границу клаузы и сопровождается фокусным маркером *bé*, а в самой клаузе дублируется лично-числовым показателем. Примеры (45–46) иллюстрируют фокализацию прямого дополнения (45) и подлежащего (46):

(45) [Pépèè bé] [ŋǎ gàà kèlèkèlè]
Пепе FOC 1SG.HAB.AFF 3SG\видеть\L часто
‘Я часто вижу именно Пепе’.

(46) [yàǎ bé] [ǎ pà kèlèkèlè]
3SG.AUT FOC 3SG.HAB.AFF приходить\L часто
‘Именно он часто приходит’.

В (45) фокализованное прямое дополнение вынесено на левую периферию высказывания, а в главной клаузе оно дублируется несубъектным показателем, реализую-

щимся как префиксальный низкий тон и начальное чередование на глаголе *káá* ‘видеть’. В (46) фокализованное подлежащее, выраженное автономным местоимением[10], также выносится за границы клаузы и, таким образом, не является локальным контролером лично-числового показателя.

Единственный случай, когда лично-числовой показатель может сочетаться с локальным местоимением, – фокализация сочиненной группы либо ее первого участника. В обоих случаях первый участник выражается не анафорически при помощи сочинительного показателя, а как автономное местоимение. В (47) представлен пример без контрастивного выделения, а в (48) – высказывание с выделением целой сочиненной группы, где спрягаемому союзу предшествует автономное местоимение *yàă* ‘он’.

(47) dà Pépèè dă tíí kɛ̀
3.и Пепе 3PL.HAB.AFF поле делать\L
‘Он и Пепе обрабатывают поле’.

(48) [yàă dà Pépèè bé] dă tíí kɛ̀
3SG.AUT 3.и Пепе FOC 3PL.HAB.AFF поле делать\L
‘Именно он и Пепе обрабатывают поле (а не кто-то другой)’.

С типологической точки зрения неспособность лично-числовых маркеров сочетаться с местоимениями в качестве контролеров вовсе не уникальна. Например, аналогичные дистрибутивные свойства лично-числовых маркеров встречаются в австронезийских языках [Siewierska 1999; 2003].

Тем не менее указанное свойство лично-числовых маркеров в кпелле приводит к тому, что появление локального контролера в 1 и 2 лице в этом языке почти невозможно (кроме случаев с фокализацией сочиненной группы либо ее части – см. выше)[11]:

(49) ŋă pà kɛ̀lɛ̀kɛ̀lɛ̀
1SG.HAB.AFF приходить\L часто
‘Я часто прихожу’.

(50) *ɲáá ŋă pà kɛ̀lɛ̀kɛ̀lɛ̀
1SG.AUT 1SG.HAB.AFF приходить\L часто
‘Именно я часто прихожу’.

Таким образом, дублирование лично-числовых признаков локального контролера возможно только в 3 лице. Схематически это можно изобразить в виде Таблицы 6.

Таблица 6

Маркирование по лицу с локальным контролером

1 лицо	
2 лицо	
3 лицо	OK

Коль скоро в локальном согласовании в большинстве синтаксических областей задействована лишь одна граммема категории лица из трех – 3 лицо, то получается, что в кпелле в большинстве случаев нет согласования по лицу как изменения по категории лица, которое определяется переменными характеристиками контролера (ср. русск. *я иду*, *ты идешь*, *он идет*). В итоге мы получаем, что в кпелле согласование по лицу име-

[10] Автономные местоимения употребляются при контрасте, как вершины относительных предложений, при сочинении, а также в предикативной функции типа *Мой сын – ты*.

[11] Другой кандидат в локальные контролеры для показателей 1 и 2 лица – это сочиненные группы типа ‘мы с тобой’, ‘вы с ним’. Однако сочиненные группы в кпелле требуют согласования даже там, где его никогда не бывает с именными группами других типов, – например, в позиции прямого дополнения. Таким образом, сочиненные группы имеют неординарные свойства, отличные от свойств других именных групп и нуждающиеся в дальнейших исследованиях.

ется только в сочиненных группах, где локальный контролер сам может принимать разные значения категории лица. В большинстве других синтаксических областей остается согласование по числу – см. ниже[12].

4.2. Невозможность согласования по единственному числу и категория числа

Выше в 4.1 мы обсуждали проблемы, касающиеся категории лица как согласовательной категории, и увидели, что локальный контролер в кпелле возможен только в формах 3 лица. Теперь речь пойдет о категории числа, точнее о маркировании по числу в формах 3 лица.

Характерная особенность лично-числовых маркеров в кпелле состоит в том, что во множественном числе (3 лица) лично-числовой показатель чаще сочетается с локальным контролером, чем в единственном.

В утвердительных глагольных предложениях лично-числовое маркирование предикативного показателя при локальном контролере обязательно и в единственном, и во множественном числе. В примерах (51–52) это утверждение иллюстрируется на примере форм единственного числа в разных видо-временных конструкциях.

(51) Pépèè è pà
Пепе 3SG.B.AFF приходить\L
'Пепе пришел'.

(52) Pépèè ă pà kèlèkèlè
Пепе 3SG.HAB.AFF приходить\L часто
'Пепе часто приходит'.

Интересны отрицательные предложения. В тех конструкциях, где используются базовые отрицательные предикативные показатели (см. Таблицу 1), в единственном числе спрягаемая форма предикативного показателя находится в дополнительной дистрибуции с полной именной группой в позиции подлежащего, чего не было ни в каких примерах, приводившихся выше. При наличии полной именной группы используется дефолтный отрицательный показатель, не охарактеризованный по числу[13].

(53) hvě pà
3SG.B.NEG приходить\L
'Он не пришел'.

(54) Pépèè hvé pà
Пепе NEG приходить\L
'Пепе не пришел'.

(55) *Pépèè hvě pà
(56) *hvé pà

Таким образом, в единственном числе локального согласования нет. Во множественном числе возможна либо общая форма, либо форма 3 л. мн. ч.[14]

(57) Ǹókòlò hvé yìì hvóló ɲé.
DEF\ребенок NEG спать\L день на
'Ребенок не поспал днем'.

---

[12] Следует заметить, что при таком строгом подходе к определению согласования остается не вполне ясным статус граммемы 3 лица у показателей, согласующихся с именными группами по числу (в 3 лице).

[13] Дефолтный отрицательный показатель употребляется во множестве контекстов, в том числе в неглагольных предикациях, лишенных лично-числового маркирования. Поэтому мы интерпретируем его как не имеющий никаких лично-числовых характеристик.

[14] Появление формы 3 л. мн. ч. в (58) становится более предпочтительным, если добавить к подлежащему дополнительный показатель множественного числа: *Nèápèlèè=ɣàà ʔhvé / dīhvé yìì hvóló ɲé* 'Дети не поспали днем'. Двойное маркирование характерно для существительных, имеющих супплетивную форму множественного числа.

(58) Nèápèlèè hvé /dīhvé yìì hvóló ɲé.
DEF\ребенок.PL NEG 3PL.B.NEG спать\L день на
'Дети не поспали днем'.

Ср. отрицательную хабитуальную конструкцию с небазовым (хабитуальным) отрицательным предикативным показателем, где согласование обязательно и в единственном, и во множественном числе:

(59) Ǹókòlò hvă yìì hvóló ɲé.
DEF\ребенок 3SG.HAB.NEG спать\L день на
'Ребенок не спит днем'.

(60) Nèápèlèè dīhvá yìì hvóló ɲé.
DEF\ребенок.PL 3PL.HAB.NEG спать\L день на
'Дети не спят днем'.

Ограничения на предикативное лично-числовое маркирование в кпелле можно суммировать в виде Таблицы 7.

Таблица 7

Предикативное лично-числовое маркирование с локальным контролером

	утвердительный контекст		отрицательный контекст	
	ед. ч.	мн. ч.	ед. ч.	мн. ч.
предикативный показатель **базовой** серии	+	+	–	– / +
предикативный показатель **небазовой** серии	+	+	+	+

Асимметрия согласовательной парадигмы проявляется в кпелле также в послеложной группе. Так, в единственном числе форма 3 л. ед. ч. послелога *bà* находится в дополнительной дистрибуции с полной именной группой:

(61) yàă háŋá mà
2SG.RES.AFF обижать на.3SG
'Ты обидел его'.

(62) yàă háŋá ŋwéá bà
2SG.RES.AFF обижать гость на
'Ты обидел гостя'.

(63) *yàă háŋá ŋwéá mà

Иными словами, в единственном числе локального согласования на послелоге нет. Однако, если полная именная группа в позиции зависимого послелога имеет форму множественного числа, форма 3 л. мн. ч. послелога обязательна:

(64) yàă háŋá ŋwéá diê
2SG.RES.AFF обижать гость.PL 3PL.на
'Ты обидел гостей'.

(65) yàă háŋá diê
2SG.RES.AFF обижать 3PL.на
'Ты обидел их'.

Заметим также, что послеложное согласование имеет в кпелле еще два ограничения: во-первых, оно возможно только у послелога *bà* 'на', а во-вторых, только в нелокативном значении.

(66) ŋé bélàá tèɣè nèápèlèè pɔ́
1SG.B.AFF овца давать\L DEF\ребенок.PL к
'Я дал овцу детям'.

(67) ŋ̀ḗ hébé làŋ̀àŋ̀ nɛ̀ápɛ̀lɛ̀ɛ̀ ɓà
1SG.B.AFF бумага приклеивать\L DEF\ребенок.PL на
'Я наклеил бумажки на детей' {пока они спали}.

Пример (66) иллюстрирует отсутствие согласования с послелогом *pɔ́* 'к', а пример (67) – отсутствие согласования с *ɓà* в локативном значении.

С типологической точки зрения маркированность множественного числа по сравнению с единственным является тривиальной. Еще Дж. Гринберг сформулировал универсалию, согласно которой в языках мира показатель множественного числа обязательно имеет ненулевой алломорф, в то время как возможен язык, в котором показатель единственного числа имеет только нулевой алломорф [Greenberg 1963b]. Таким образом, маркированность у Гринберга предстает как противопоставление нулевого и ненулевого показателя.

В кпелле можно было бы говорить о нулевом маркере (3 лица) единственного числа, если бы обсуждаемые служебные слова имели «немаркированную» форму в анафорическом контексте. В этом случае ноль был бы единственным экспонентом значения 3 л. ед. ч. Однако, как было показано в примерах выше, в анафорических контекстах все служебные показатели выступают в специальной форме 3 л. ед. ч., а при наличии локального контролера некоторые из них (базовые отрицательные предикативные показатели и послелог *ɓà*) получают немаркированную форму – ср. (61–62). Иными словами, показатель 3 л. ед. ч. часто находится в дополнительной дистрибуции с именной группой, в то время как показатель 3 л. мн. ч. свободно сочетается с локальным контролером. В этом случае мы говорим не о нулевом и ненулевом маркировании, а об отсутствии (локального) согласования в единственном числе и его наличии во множественном. Это представлено в Таблице 8.

Таблица 8

Маркирование по числу с локальным контролером

единственное число	множественное число
	OK

Как и в случае с категорией лица в 4.1, мы получаем ситуацию, при которой в указанных контекстах нет изменения грамматической формы мишени по категории числа в зависимости от числовой характеристики контролера, потому что одновременное присутствие локального контролера и лично-числового показателя возможно только в одном грамматическом контексте из двух – во множественном числе.

Ограничения, представленные в 4.1, а также в 4.2. для отрицательных глагольных предложений с базовым предикативным показателем и послелога, суммируются в Таблице 9.

Таблица 9

Маркирование по лицу и числу с локальным контролером

	единственное число	множественное число	
		инклюзивное	эксклюзивное
1 лицо			
2 лицо			
3 лицо		OK	

Таким образом, на локальное присутствие контролера в отрицательных глагольных предложениях с базовым предикативным показателем и в послеложной группе наложены максимальные ограничения. В этих контекстах локальный контролер невозможен в 1 и 2 лице, а также в единственном числе, т. е. он встречается только в одной форме из семи – в 3 лице множественного числа. Строго говоря, в этом случае нельзя говорить о лично-числовом согласовании, если понимать его как изменение грамматических характеристик мишени, определяемое характеристиками локального контролера. Вероятно, в таких контекстах следует говорить о дублировании конкретных граммем 3 л. мн. ч. на предикативном показателе и послелоге, а не о согласовании.

Впрочем, конфигурация лично-числового маркирования, показанная в Таблице 9, представляет собой крайний случай и наблюдается только в указанных контекстах. В остальных типах глагольных предложений, а также в посессивной группе наблюдается полноценное согласование по числу, см. 3.2, 4.2, а в сочинительной группе – по лицу, см. 4.1. Получается нетривиальное соотношение: мы начали анализ с маркирования по лицу и числу, а в итоге пришли к тому, что в одних контекстах (областях) есть согласование только по числу, в других – только по лицу, а в третьих о согласовании говорить не вполне корректно. Результаты анализа суммируются в Таблице 10.

Таблица 10

Согласовательные категории в различных областях

область	категория
(a) клауза (контекст: глагольные предложения, кроме отрицательных с базовым предикативным показателем) (b) посессивная группа	число
(c) сочиненная группа	лицо
(d) клауза (контекст: отрицательные глагольные предложения с базовым предикативным показателем) (e) послелог *bà*	дублирование граммем 3 л. мн. ч., а не согласование

Таким образом, типологически относительно частотные свойства лично-числовых показателей в кпелле в сумме образуют нетривиальную конфигурацию согласования, которая неодинакова в различных синтаксических областях.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье показано, что в языке кпелле многие лично-числовые формы служебных слов способны употребляться вместе с полными именными группами в качестве локальных контролеров и, таким образом, согласовываться с ними в четырех синтаксических областях. В области клаузы подлежащее контролирует согласование на предикативном показателе в составе глагольной группы. В области посессивной группы мишень – это притяжательный показатель, который синтаксически относится к группе обладаемого и согласуется с обладателем (посессором). В сочиненной группе первый конъюнкт контролирует согласование на союзе, который образует составляющую со вторым конъюнктом. Наконец, в послеложной группе с послелогом *bà* ‘на’ форма 3 л. мн. ч. послелога употребляется при послеложном зависимом во множественном числе.

Лично-числовые показатели в кпелле не сочетаются с местоимениями в качестве локальных контролеров (кроме лично-числовых показателей в сочиненных группах) и не всегда сочетаются с локальным контролером в единственном числе. Каждое из этих свойств не является типологической редкостью. Тем не менее при внимательном анализе эти свойства в совокупности создают не вполне тривиальную картину. Если

понимать согласование как варьирование грамматических характеристик мишени в зависимости от грамматических характеристик локального контролера, то для разных синтаксических областей мы получаем разное согласование. В одних случаях это согласование по лицу, в других – по числу, а в третьей группе случаев это не согласование, а лишь дублирование конкретного сочетания граммем при отсутствии грамматического варьирования.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЛК – левый контекст; AFF – утвердительный; AUX – предикативный показатель; B – предикативный показатель базовой серии; DEF – определенный; EXCL – эксклюзивная множественность; FOC – фокус; HAB – хабиуатилис; INCL – инклюзивная множественность; IPFV – имперфектив; L – грамматический низкий тон; NEG – отрицательный; NF – нефинитная форма; O – прямое дополнение; PL – множественное число; POSS – посессивный показатель; PRF – перфектив; REF – референтный; RES – результатив; S – подлежащее; SG – единственное число; V – глагол; X – любая именная группа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Выдрин 2006а – *В.Ф. Выдрин.* К реконструкции фонологического типа и именной морфологии пра-манде // Труды Института лингвистических исследований. Т. II. Ч. 2. СПб., 2006.

Выдрин 2006б – *В.Ф. Выдрин.* Личные местоимения в южных языках манде // Труды Института лингвистических исследований. Т. 2. Ч. 2. СПб., 2006.

Выдрин 2008 – *В.Ф. Выдрин.* Язык бамана: Учебное пособие. СПб., 2008.

Выдрин 2010 – *В.Ф. Выдрин.* Еще раз о «субъектных местоимениях» в южных манде: Местоимения или предикативные показатели? // В.А. Виноградов (ред.). Основы африканского языкознания: Синтаксис именных и глагольных групп. М., 2010.

Кибрик 2002 (1977) – *А.Е. Кибрик.* О соотношении понятия синтаксического подчинения с понятиями согласования, управления и примыкания // А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 2002.

Коношенко 2011а – *М.Б. Коношенко.* Тональные системы диалектов языка кпелле. Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики // Труды Института лингвистических исследований. Т. 7. Ч. 2. СПб., 2011.

Коношенко 2011б – *М.Б. Коношенко.* Базовые грамматические категории гвинейского кпелле. Выпускная квалификационная работа магистра лингвистики. СПб., 2011.

Мельчук 1993 – *И.А. Мельчук.* Согласование, управление, конгруэнтность // ВЯ. 1993. № 5.

Плунгян 2003 – *В.А. Плунгян.* Общая морфология. М., 2003.

Тестелец 2001 – *Я.Г Тестелец.* Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Anagnastopoulou 2006 – *E. Anagnastopoulou.* Clitic doubling // M. Everaert, H. van Riemsdijk (eds.). The Blackwell companion to syntax. 2006. V. 1.

Barlow, Ferguson 1988 – *M. Barlow, Ch.A. Ferguson* (eds.). Agreement in natural language: Approaches, theories, descriptions. Stanford, 1988.

Bresnan, Mchombo 1987 – *J. Bresnan, S. Mchombo.* Topic, pronoun and agreement in Chichewa // Language. 1987. V. 63. № 4.

Casthelain 1952 – *J. Castelain.* La langue guerzé: Grammaire et dictionnaire. Dakar, 1952.

Childs 2003 – *G.T. Childs.* An introduction to African languages. Amsterdam, 2003.

Corbett 2000 – *G. Corbett.* Number. Cambridge, 2000.

Corbett 2003 – *G. Corbett.* Agreement: Canonical instances and the extent of the phenomenon // G. Booij, J. De Cesaris, A. Ralli, S. Scalise (eds.). Topics in morphology: Selected papers from the Third Mediterranean morphology meeting. Barcelona, 2003.

Corbett 2006 – *G. Corbett.* Agreement. Cambridge, 2006.

Creissels 1983 – *D. Creissels.* Eléments de grammaire de la langue mandinka. Grenoble, 1983.

Creissels et. al 2008 – *D. Creissels, G. Dimmendaal, Z. Frajzyngier, C. König.* Africa as a morphosyntactic area // B. Heine, D. Nurse (eds.). A linguistic geography of Africa. Cambridge, 2008.

Dimmendaal 2008 – *G.J. Dimmendaal.* Language ecology and genetic diversity on the African continent // Language and linguistics compass. 2008. V. 2. № 5.

Dumestre 1987 – *G. Dumestre.* Le bambara du Mali: Essai de description linguistique. Paris, 1987.
Gay, Welmers 1971 – *J. Gay, W. Welmers.* Mathematics and logic in the Kpelle language. Ibadan, 1971.
Givón 1976 – *T. Givón.* Topic, pronoun and grammatical agreement // Ch. Li (ed.). Subject and topic. New York, 1976.
Greenberg 1963a – *J. Greenberg.* The languages of Africa. Bloomington, 1963.
Greenberg 1963b – *J. Greenberg.* Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // J. Greenberg (ed.). Universals of language. Cambridge, 1963.
Konoshenko 2008 – *M. Konoshenko.* Tonal systems in three dialects of the Kpelle language // Mandenkan. 2008. V. 44.
Lassort 1952 – *P. Lassort.* Grammaire guerzé. Dakar, 1952.
Leger 1975 – *J. Leger.* Dictionnaire guerzé. Nzérékoré, 1975.
Leidenfrost, McKay 2005 – *T.E. Leidenfrost, J.S. McKay.* Kpelle-English dictionary with a grammar sketch and English-Kpelle finderlist. Moscow (USA), 2005.
Lehmann 1982 – *Ch. Lehmann.* Universal and typological aspects of agreement // H.-J. Seiler, J. Stachowiak (eds.). Apprehension. Das sprachliche Erfassen von Gegenständen. V. 2. Tübingen, 1982.
Moravcsik 1978 – *E. Moravcsik.* Agreement // J. Greenberg (ed.). Universals of human language. V. 4. Stanford, 1978.
Siewierska 1999 – *A. Siewierska.* From anaphoric pronoun to grammatical agreement marker: Why objects don't make it // Folia linguistica. 1999. V. 33. № 2.
Siewierska 2001 – *A. Siewierska.* On the argument status of cross-referencing forms // P. Quintero, M. Jesus (eds.). Challenges and developments in Functional grammar. La Laguna, 2001.
Siewierska 2003 – *A. Siewierska.* Reduced pronominals and argument prominence // M. Butt, T. Holloway (eds). Nominals: inside and out. Stanford, 2003.
Siewierska 2004 – *A. Siewierska.* Person. Cambridge, 2004.
Thach, Dwyer 1981 – *Sh.V. Thatch, J.D. Dwyer.* A reference handbook of Kpelle. Michigan, 1981.
Vydrin 2010 – *V. Vydrin.* Co-ordinative pronouns in Southern and West-Southern Mande: A second compound pronouns area in Africa? // K. Pozdniakov, V. Vydrin, A. Zheltov (eds.). Personal pronouns in Niger-Congo languages: International workshop. St. Petersburg, 2010.
Welmers 1962 – *W. Welmers.* The phonology of Kpelle // Journal of African languages. 1962. V. 1. № 1.
Welmers 1969 – *W. Welmers.* The morphology of Kpelle nominals // Journal of African languages. 1969. V. 8. № 2.
Welmers 1973 – *W. Welmers.* African language structures. Berkeley; Los Angeles; London, 1973.
Westermann 1921 – *D. Westermann.* Die Kpelle, ein Negerstamm in Liberia. Göttingen; Leipzig, 1921.
Westermann, Melzian 1930 – *D. Westermann, H.J. Melzian.* The Kpelle language in Liberia. Grammatical outline, colloquial sentences and vocabulary. Berlin, 1930.
Winkler 1997 – *E. Winkler.* Kpelle-English dictionary, with English-Kpelle glossary. Bloomington, 1997.

Сведения об авторе:

Мария Борисовна Коношенко
Институт языкознания РАН, РГГУ
eleiteria@gmail.com

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2013

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2013 г. В.Г. КУЗНЕЦОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭРИКА БЮИССЕНСА

Статья посвящена бельгийскому лингвисту Эрику Бюиссенсу (1900–2000), научное творчество которого недостаточно известно в России. Автор рассматривает влияние теории Ф. де Соссюра на становление лингвистической концепции Э. Бюиссенса и анализирует ее основные компоненты: функциональная природа языка, предмет и понятия коммуникативной семиологии, знак, его структура, семиология как методологическая основа описания языка, развитие соссюровской дихотомии языка и речи, выделение дискурса в качестве новой области исследований, членение языка, изучение детской речи. Лингвистическая концепция Э. Бюиссенса рассматривается на фоне и в сопоставлении с современными ему школами и направлениями в лингвистике, а также с позиции современной науки о языке. Оценивается вклад бельгийского ученого в общую лингвистику. Э. Бюиссенс вошел в историю лингвистики как представитель функционального направления, основатель коммуникативной семиологии и теории дискурса.

Ключевые слова: Э. Бюиссенс, функциональная лингвистика, семиотика, язык и речь, дискурс

The present article is devoted to the legacy of the Belgian linguist Eric Buyssens (1900–2000), whose works are not known widely enough in Russia. The influence of F. de Saussure's views on the development of E. Buyssens' linguistic theory is examined together with the latter's major components: functional nature of language, subject matter and concepts of communicative semiology, sign and its structure, semiology as a methodological base for language description, the development of the Saussurean dichotomy between language (*langue*) and speech (*parole*), stress on the study of discourse as a new field of research, articulation of language, investigation of children's speech. Buyssens's linguistic conception is examined against the background of and in comparison with other trends in linguistics of his time as well as from the viewpoint of contemporary linguistics. The contribution of the Belgian scholar to general linguistics is assessed. E. Buyssens went down in the history of linguistics as a representative of functionalist trends and the founder of communicative semiology and theory of discourse.

Keywords: E. Buyssens, functional linguistics, semiotics, language and speech, discourse

Бельгийский лингвист Эрик Бюиссенс (полное имя Eric Jean Louis Buyssens) прожил долгую и плодотворную жизнь. Он родился в Генте в самом начале прошлого века и умер в Брюсселе в начале века настоящего. После окончания гимназии Э. Бюиссенс изучал германскую филологию в Свободном университете Брюсселя. Научную деятельность он начал как филолог. Докторская диссертация Бюиссенса была посвящена творчеству английского поэта XVI в. Эдмунда Спенсера. Пристальный интерес Бюиссенса к природе аллегорий, символов и знаков явился стимулом его переориентации на общую лингвистику и на ее область, которая только что начала складываться, – семиологию. А продолжительная практика преподавания английского языка стимулировала интерес Бюиссенса к разработке вопросов теоретической грамматики этого языка.

Поворотным моментом в научной деятельности Э. Бюиссенса стало знакомство с «Курсом общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Положения учения Соссюра оказали существенное влияние как в плане проблематики исследований бельгийского лингвиста, так и в плане их методологии.

В 1943 г. вышла работа Э. Бюиссенса «Языки и дискурс. Опыт функциональной лингвистики с позиции семиологии» [Buyssens 1943], благодаря которой он стал известен как лингвист-теоретик не только в своей стране, но и за ее пределами. Первым на эту работу откликнулся в своей книге «Пролегомены к теории языка», вышедшей в том же году, Л. Ельмслев, назвав ее наиболее полной работой по семиологии [Ельмслев 1960: 362]. С похвалой об этой книге отозвался в своей рецензии ведущий представитель Женевской лингвистической школы А. Сеше. «Работа, которую нам представил г-н Бюиссенс под названием "Языки и дискурс", т.е. различные знаковые системы и закономерности их функционирования, является, несомненно, первой последовательной попыткой, предпринятой в этом направлении» [Sechehaye 1944: 66].

О международном признании научных заслуг Э. Бюиссенса свидетельствует публикация в 1970 г. сборника статей в честь его юбилея [LC 1970], в котором приняли участие ряд видных лингвистов из разных стран, в том числе из нашей страны О.С. Ахманова. В 1972 г. Э. Бюиссенс был избран членом-корреспондентом Королевской академии наук Бельгии по отделению философии и филологии, в 1984 г. стал действительным членом Академии и в том же году возглавил это отделение.

Э. Бюиссенс принадлежит к функциональному направлению в лингвистике. Ко времени написания его работы понятие функции сложилось не только в лингвистике, но и в философии и логике. В лингвистике лидирующими направлениями были Пражская и Женевская школы. Функциональная точка зрения на язык была сформулирована в качестве программной в «Тезисах Пражского лингвистического кружка». «Являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с последней обладает целевой направленностью. ... Поэтому к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения *язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели*» [ПЛК 1967: 17]. В отличие от телеологической точки зрения на функцию пражцев функционализм Женевской школы (Ш. Балли, А. Сеше, С. Карцевский, А. Фрей, Л. Прието и др.) можно определить в широком смысле как изучение механизма использования языка – семиотической системы – в практике человеческого общения. Для функционализма этой школы характерно стремление вскрыть функционирование языковых форм, их вариативность, взаимодействие разных уровней языка. В 30–40-е гг. XX в. Пражская и Женевская школы были ведущими центрами мировой лингвистической науки. Важную роль в распространении идей функционализма сыграл I-й Международный лингвистический конгресс (Гаага, 1928), синтезировавший положения двух школ, приверженцев «Курса» Ф. де Соссюра. В глоссематике «функция» означает всякое отношение между языковыми единицами. Выступая на 5-м Международном лингвистическом конгрессе в 1939 г. Л. Ельмслев подчеркнул, что «функции являются неотъемлимой и неотделимой принадлежностью структуры». Важную роль функции отводили философы – у Г. Башлара в основе любого научного понятия лежит функция, а в логике (Б. Рассел) ведущее место занимала функциональная пропозиция.

Понятие функции является ключевым в концепции Э. Бюиссенса. Понимая функцию в широком плане, он проводил мысль, что функциональный характер языка заключен в самой его природе как средстве коммуникации. Бюиссенс исследовал не только взаимоотношения языковых элементов, но и отношение лингвистической системы к внеязыковой реальности. Согласно его концепции, функциональная лингвистика должна быть дополнена этиологической лингвистикой, изучающей знаковую систему языка в контексте социальной действительности. Тем самым функционализм его лингвистической концепции близок Женевской школе.

Функциональную лингвистику Э. Бюиссенс рассматривал в свете общей теории знаков – семиологии. Исследователи научного творчества Ф. де Соссюра, лингвисты

Женевской школы Р. Годель и Р. Амакер, выделили в его учении две составляющие: семиологическую и лингвистическую. Семиологической составляющей является изучение языка как системы знаков наряду с другими семиологическими системами. «Кто хочет обнаружить истинную природу языка, – писал Соссюр, – должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем есть общего с иными системами того же порядка ... Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычаев и т. п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой науки» [Соссюр 1977: 55].

Из последователей Соссюра только Э. Бюиссенс и Л. Прието стремились последовательно развивать семиологическую составляющую учения Ф. де Соссюра. Бюиссенс, как и Соссюр, полагал, что семиология должна служить введением в общую лингвистику. В своей ранней работе Э. Бюиссенс определял семиологию как «науку, изучающую средства, которые мы используем в коммуникативных актах, и средства, при помощи которых мы интерпретируем адресованные нам сообщения» [Buyssens 1943: 5]. Таким образом, под семиологией Бюиссенс понимал науку о разных видах коммуникации. Он придавал столь большое значение семиологии, что выделил ее в отдельную первую часть. В рецензии на эту работу Ж. Мунен характеризовал ее как «классическое введение в семиологию» [Mounin 1969: 534].

Т. Себеок называл Э. Бюиссенса первопроходцем в семиологии, одним из ее основателей и разработчиков [Sebeok 1976]. Он отметил, что после публикации «Курса» Соссюра в течение десятилетий лингвисты были преимущественно заняты проблемами, относящимися к внутренней стороне языка, его структуре, практически не уделяя внимания семиологии. Редким исключением в этом плане был Э. Бюиссенс, предпринявший глубокое исследование, имевшее целью сравнение естественного языка с другими знаковыми системами, руководствуясь при этом принципами семиологического анализа, намеченного Соссюром. Т. Себеок характеризовал первую крупную работу Э. Бюиссенса как «хорошо аргументированную, соответствующим образом иллюстрированную, отличающуюся оригинальностью. Эта работа не привлекла должного внимания лингвистов, поскольку она вышла во время Второй мировой войны, между тем она заслуживает внимательного прочтения» [Sebeok 1976: 19].

Бюисссенс пришел к заключению, что с семиологической точки зрения «нет принципиальной разницы между языком и другими знаковыми системами – семиями. Просто акустические возможности естественного языка лучше отвечают потребностям коммуникации» [Buyssens 1943: 92]. В упоминавшейся выше рецензии на эту работу А. Сеше с одобрением отнесся к стремлению Бюиссенса развить семиологические идеи Соссюра, но в то же время он возражал против отождествления языка с другими знаковыми системами, поскольку Соссюр так вопрос не ставил, к тому же он определял язык как социальное установление [Sechehaye 1944: 69].

Э. Бюиссенс предложил новые термины для коммуникативной семиологии. Поскольку термин «langage» может означать и простой индекс и естественный язык, он ввел специальный термин для обозначения объекта семиологии – «семия» (sémie). Этот термин он применял к любым системам знаков, используемых для коммуникации, начиная от самых сложных – естественных языков – и к таким, как математические и химические знаки, язык жестов ордена траппистов, редакторские знаки, форменная одежда, различного рода звуковые и световые сигналы, выражение вежливости, правила хорошего тона и др. В то же время он не относил к семиям шрифт Брайля и код Морзе, поскольку для их понимания необходимо знать язык тех, кто их использует. Он подразделял семии на внутренние и внешние: использующие естественные, суггестивные знаки, и использующие узуальные, условные и произвольные знаки. Бюиссенс выделял так называемый «язык фактов» (langue de faits), проявление которого носит естественный характер. Так, мы можем получать информацию от растений, животных, природных явлений. В лесу, например, некоторые растения указывают на близость источника воды.

Отличительное свойство этих потенциальных источников информации, образно говоря, «отсутствие намерения общаться».

Бюиссенс сравнивал семии с точки зрения их установления. Дорожная сигнализация устанавливается законодательными органами. Математическая система сложилась на протяжении веков путем негласной договоренности, а также решениями конгрессов. Что касается естественных языков, какая-либо авторитарность отсутствует, за исключением отдельных случаев. Каждая семия имеет свои границы; чтобы выйти за их пределы, надо прибегнуть к другим семиям. Так, ученик, решая у доски математическую задачу, комментирует формулы посредством слов. «Различия, обнаруживаемые в степени членения различных семий, соответствуют различиям социальных ситуаций, в которых используются эти семии» [Buyssens 1970: 54]. Каждая семия используется определенной социальной группой: траппистами, математиками, химиками, военнослужащими, верующими и др. Только дискурс на естественном языке является единственной семией, обладающей универсальными свойствами. Функциональный подход к исследованию языка помогает отличить коммуникацию от простой манифестации, т.е. отличить семические факты от несемических, что имеет особое значение для изучения языка как особой семиологической системы. Семические факты многообразны и реализуются самыми различными способами и средствами. Первостепенная задача семиологии – установить и обобщить релевантные свойства семических фактов.

Семия состоит из сем – основной единицы семиологии. Под семой Э. Бюиссенс понимал «любое условное средство, конкретная реализация которого – семический акт – обеспечивает коммуникацию» [Buyssens 1970: 21]. Таким средством может быть даже условный сигнал свистка. Семы одной и той же семии реализуются, как правило, одним и тем же способом. Так, математики прибегают к графическим средствам, а трапписты – к жестам. Однако это не является общим правилом. В дорожных знаках, например, используются разные средства: щиты, разметка, световые сигналы.

«Семический акт представляет собой конкретное действие, имеющее целью выразить конкретную коммуникативную установку» [Buyssens 1970: 36]. В каждом случае конкретной реализации, т. е. в семическом акте, сема варьируется в больших или меньших пределах (например, фраза, произнесенная разными людьми, с разной интонацией, особенностями произношения и т. д.). Однако абстрагирующая способность сознания помогает нам, выделяя основные функциональные элементы семы, запечатлеть ее идеальный, неварьирующийся образ, который и позволяет идентифицировать сему во всех ее модификациях, например узнавать слово в разном индивидуальном произношении. Этот идеальный образ представляет собой своего рода «общую категорию, приложимую к определенному ряду случаев» [Buyssens 1943: 25]. Из этого следует, что предметом семиологии является не семический акт в своей конкретной реальности, а функциональная составляющая этого акта – сема. Поэтому семиолог должен начать с выделения семы, эта процедура представляет собой процесс абстрагирования. В процессе коммуникации, полагал Бюиссенс, коммуникант производит выбор семы, которая соответствует его коммуникативной установке. Необходимое условие успешной коммуникации – способность к абстрагированию и конкретизации. В этом плане он разделял положения теории актуализации Ш. Балли. Но конкретизация содержания высказывания, считал Э. Бюиссенс, практически никогда не бывает полной. Если человек, которого коммуникант хорошо знает, говорит *J'ai mis ma table devant la fenêtre de ma chambre* «Я поставил стол у окна в своей комнате», он хорошо представляет себе его комнату, но не может знать расстояние, отделяющее стол от окна. Другой наглядный пример: коммуникация далеко не всегда имеет дело с конкретными предметами, действиями. Например, в случае арифметических действий (2 + 3 = 5) имеет место отвлечение от конкретных предметов. В то же время обращение к конкретным предметам широко практикуется при обучении математике в младших классах. Условный характер сем проявляется на всех уровнях их внутренней иерархии. В случае дискурса условный характер следует приписать синтаксису, словарю, интонации, фонемам.

Таким образом, сема представляет собой широкое, обобщающее понятие, распространяющееся на все средства, которые могут служить целям коммуникации. Сема в этом понимании получила ограниченное распространение – главным образом в работах Ж. Мунена и Л. Прието. Согласно их определению, сема – основная значащая единица коммуникации, имеющая два плана – означающее и означаемое. «Эрик Бюиссенс, Луис Прието, – писал Ю.С. Степанов, – стали определять семиотику как науку о таких объектах, которые служат динамическим целям коммуникации, передачи информации и которые, следовательно, в конечном счете должны содержать в своей организации нечто подобное организации высказываний в языке» [Степанов 1983: 11]. Однако гораздо большее употребление получил термин структурной семантики – сема как минимальная единица означаемого. Например, в слове *отец* выделяется сема «принадлежность к мужскому полу».

Работы Бюиссенса способствовали распространению семиологии во франкоязычных европейских странах. Его концепцию активно пропагандировали А. Мартине во Франции и Л. Прието в Швейцарии. Предметом изучения этой дисциплины являются все виды знаков, используемые для целей коммуникации: дорожные, язык жестов, геральдика, морские и железнодорожные коды и др. Представители коммуникативной семиологии указывали на важность отличия знака / сигнала от индекса / признака. Индекс / признак – и в этом его близость к знаку – есть наблюдаемый факт (индикатор), который передает информацию о другом факте, ненаблюдаемом. Дым, например, указывает на наличие огня. Сходное определение знаков такого рода мы находим у Р. Якобсона, отводившего семиотике центральное место в изучении систем коммуникации. «Среди индексов существует широкий круг знаков, интерпретируемых их получателем, но не имеющих явного отправителя. Животные не оставляют умышленно следов для охотников, но тем не менее эти следы выполняют роль signantia, позволяющих охотнику вывести соответствующие signata» [Якобсон 1985: 325]. Ч. Пирс называл такие знаки *непреднамеренными индексами*. Последние Якобсон считал разновидностями знаков, но при этом проводил «кардинальное различие между *коммуникацией*, которая имплицирует реального или предполагаемого адресанта, и *информацией*, источник которой нельзя считать адресантом тех знаков, которые интерпретируются их получателем» [Там же]. Сигнал и знак представляют собой искусственные индексы, используемые для передачи информации о другом наблюдаемом факте. Дым лесного пожара – индекс, а дым от костра, зажженного индейцем для оповещения о приближении врага, – сигнал.

Семиологические идеи Э. Бюиссенса получили развитие в работах французского лингвиста Ж. Мунена [Mounin 1959]. Он стремился расширить и конкретизировать классификацию семий, разработанную Бюиссенсом, применительно к неязыковым способам коммуникации. Вслед за Бюиссенсом Мунен классифицирует семии по трем основаниям: 1) системные и бессистемные, в зависимости от того, составлено ли сообщение из постоянных, определенных знаков (например, дорожная сигнализация) или нет (афиши, реклама, витрины и др.); 2) внутренние (intrinsèque) и внешние (extrinsèque). В первых существует внутреннее, непосредственное соответствие между значением и формой (ножницы и парики цирюльника, трубка на вывеске табачной лавки), во вторых эта связь не непосредственная (красный крест для медицинских учреждений); 3) непосредственные (прямые) и опосредствованные. В первых от знака непосредственно переходят к значению (звуковая оболочка слова и его смысл), во вторых нужен промежуточный этап (от азбуки Морзе надо идти к значению через фонетическое письмо). По способу информации Мунен делил все семии на восемь больших классов. Примером могут служить следующие четыре класса: 1) системные, внутренние, непосредственные; 2) системные, внешние, непосредственные; 3) системные, внешние, опосредствованные; 4) бессистемные, внешние, непосредственные.

Хотя Бюиссенс и считал себя соссюрианцем, он стремился переосмыслить и развить основную дихотомию Соссюра – языка и речи, посвятив этому вопросу специальную работу «Шесть соссюровских лингвистик» [Buyssens 1942]. Абсурдно утверждать,

по его мнению, как это делал Соссюр, что «язык для нас – это речевая деятельность минус речь», следствием чего является смешение индивидуальной и идеальной системы. Не случайно, статус синтагмы у Соссюра не ясен: является ли она единицей языка или речи. Язык, по мнению Бюиссенса, – это абстракция, возможность которой обусловлена отношениями сходства между элементами речи. Возражал Бюиссенс и против интерпретации фактов синхронии и диахронии, поскольку время воспринимается с двух точек зрения. «Время для Соссюра в случае синхронии – рамка, ограничивающая существование фактов синхронии, а в случае диахронии действует сила, которая то вызывает эволюцию элементов, то способствует обеспечению их устойчивости» [Buyssens 1942: 15]. Если принять подобную концепцию, представляется совершенно естественным рассматривать факты синхронии как факты, на которые не распространяется действие времени, а факты диахронии как находящиеся под воздействием времени. Тем самым напрашивается вывод, что время является фактором как устойчивости, так и эволюции элементов. В то же время Бюиссенс безоговорочно принимает учение Соссюра о ценности (значимости) языковых элементов и считает его самым важным в теории Соссюра. Он предлагал разделить лингвистику на две взаимодополняющие дисциплины. Одна изучает отношения между элементами одной и той же системы и должна называться функциональной лингвистикой, другая дисциплина устанавливает связь системы со средой, ее можно назвать этиологической, поскольку она основывается на постулате: любой языковой факт имеет разумное основание.

В более поздней статье Бюиссенс ставит вопрос о разграничении Соссюром языка и речи в связи с другой его дихотомией – синхронией и диахронией [Buyssens 1961] . По его мнению, Соссюр смешивал оппозицию языка и речи с оппозицией социальное и индивидуальное, между которыми нет прямого соответствия. В отличие от Соссюра Бюиссенс ставил на первое место речь: «невозможно научиться говорить на языке и, следовательно, изучать его с научной точки зрения, не начиная с речевых манифестаций, являющихся единственными наблюдаемыми данными» [Buyssens 1961: 30]. По его мнению, причина, почему Соссюр предлагал исключить речь из синхронических исследований, состояла в том, что Соссюр переносил на изучение языка в синхронии свой опыт занятий исторической и сравнительной грамматикой, которая не проявляла никакого интереса к синтагматике, в том числе и к фразе. Сравнительно-историческая грамматика не занимается реконструкцией фраз в индоевропейских языках. «Мы имеем очень смутное представление об индоевропейском синтаксисе, а стилистику первоначального индоевропейского языка вообще немыслимо себе представить» [Buyssens 1961: 30]; «занимаясь историческими исследованиями, Соссюр не был подготовлен к изучению фразы, т. е. речи» [Ibid.: 33].

А.А. Уфимцева называет Э. Бюиссенса и Л. Прието основоположниками знаковой теории дискурса [Уфимцева 1990: 168]. В лингвистической литературе распространено мнение, что терминологический смысл слову *дискурс* придал Э. Бенвенист. Однако приоритет в этой области принадлежит Э. Бюиссенсу. Он ввел в научный оборот понятие *дискурса* в результате переосмысления дихотомии языка и речи Ф. де Соссюра, включив в нее третий член: *langue – discours – parole*. Он разделял мнение Соссюра о том, что язык – это система, а речь – деятельность. Под речью Соссюр объединял 1) комбинации, с помощью которых говорящий использует код языка и 2) механизм, позволяющий ему материализовать эти комбинации. Первое Бюиссенс называет дискурсом, а второе – речью. «Дискурс является функциональной составляющей речи» [Buyssens 1943: 130]. Они соотносятся как абстрактное и конкретное, инвариант и вариант.

В отличие от Соссюра Бюиссенс считал, что отправным пунктом лингвистических исследований должен быть не язык, а дискурс. Langue, согласно Соссюру, и, как его принято определять в лингвистике, не является коммуникативным актом – это система. Не является предметом лингвистики и parole. «Только дискурс, являясь одновременно идеальным коммуникативным актом и абстракцией, может быть принят в качестве предмета лингвистики» [Ibid.: 32]. Бюиссенс предложил последовательность лингви-

стических исследований: «Язык (langue) может быть познан только через дискурс, а последний – через речь (parole)» [Ibid.: 33]. Только в этом случае возможно учитывать вариации, возникающие в процессе функционирования языка. Так например, для выделения фонемы /s/ французского языка надо изучить, каким образом определенное число французов произносят определенное количество слов, содержащих звук s. Задача лингвиста – реконструировать систему, лежащую в основе реализации дискурса – систему, которую называют langue. Следует основываться на дискурсивных фактах, из которых абстрагируется система: «Дискурс – альфа и омега лингвистики» [Ibid.: 95]. Таким образом, почти 70 лет назад Э. Бюиссенс выделил дискурс как приоритетную область лингвистических исследований.

В триаде Бюиссенса *langue* – система, некая отвлеченная умственная конструкция, *discours* – комбинации, посредством которых говорящий использует код языка, *parole* – механизм, позволяющий осуществлять эти комбинации (семический акт, по его терминологии). Лингвист всегда имеет дело с конкретными фактами. Он их изучает с целью установить путем абстракции их функциональную составляющую. Таким образом, в основе выделения дискурса лежит соотношение в языке абстрактного и конкретного.

Поскольку понятие функции является ключевым в лингвистической концепции Бюиссенса, он переносил это понятие и на свое учение о дискурсе, определяя его как функциональную часть речи. Он предлагал называть дискурсом то, что позволяет соединить язык как систему и речь как деятельность, но при этом дискурс конкретнее и уже языка в его целостности. Предложенный Бюиссенсом подход позволяет различать три определения дискурса: два взаимодополняющих и один интегрирующий. Во-первых, дискурс может пониматься как продукт речевой деятельности в реальном времени, значимый для участвующих в этой деятельности коммуникантов. Во-вторых, дискурс можно определить как программу, систему правил порождения и интерпретации сообщений. В-третьих, понятие дискурса может быть соотнесено со способностями и творческими усилиями людей по созданию и пониманию сообщений, отражающих бесконечное разнообразие реальной действительности. Такое определение дискурса сближается с понятием дискурсивной компетенции – способности заключить мысль в формальные рамки языка. Понятие дискурса в концепции Бюиссенса можно истолковывать как процесс, предполагающий систему для своего осуществления, что в целом соответствует подходу, разрабатывавшемуся в дальнейшем во французской лингвистике (особенно учение о высказывании vs. акт высказывания).

Следует отметить, что попытки Бюиссенса «ревизии» ряда положений учения Соссюра вызывали довольно резкую критику со стороны представителей Женевской школы, которые из всех последователей Соссюра оставались наиболее верными его принципам.

Показательным в этом отношении является красноречивое название статьи другого выдающегося представителя этой школы А. Фрея «Соссюр против Соссюра?» [Фрей 2006], в которой он полемизирует с Бюиссенсом по поводу трактовки соотношения в языке различий и тождеств в «Курсе» Соссюра. По мнению Фрея, Бюиссенс «подменяет дифференциалистскую теорию синхронического тождества Соссюра субстанционалистской и банальной концепцией» [Там же: 73]. В ответной статье также с красноречивым названием «Догма или свободное толкование?»[1] Бюиссенс подчеркивает, что его целью было не отвергнуть учение Соссюра, а уточнить соотношение различий и тождеств в языке, которое в «Курсе» не достаточно эксплицитно. По его мнению, не всегда в полной мере принимают во внимание важное высказывание Соссюра о том, что

[1] Это название можно понимать в том смысле, что учение Соссюра не является догмой и допускает собственное понимание, толкование содержащихся в нем положений и идей. Об этом свидетельствуют также следующие слова Бюиссенса: «г-н Фрей верит в непогрешимость идей Учителя, я же сторонник их свободного толкования» [Buyssens 1952: 48] и особенно следующие: «настоящий ученик не тот, кто с благоговением повторяет наставления Учителя, а тот, кто продолжает его дело» [Ibid.: 50].

весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, причем эти последние являются лишь оборотной стороной первых. Здесь Бюиссенс, несомненно, прав, поскольку с философской точки зрения само отождествление отдельных предметов требует их предварительного отличия от других предметов. В этой статье Бюиссенс использует понятие тождества применительно к фонологии. В отличие от Трубецкого Бюиссенс считал, что фонемы различают не означаемые, а означающие. В то же время он полагал, что его понимание фонемы не противоречит понятию релевантного признака: «оно его только изменяет, поскольку отсутствует прямая связь между фонемами и означаемыми, эта связь осуществляется опосредствованно через означающее. Фонемы служат для различения означающих, а те, в свою очередь, служат для противопоставления означаемых» [Buyssens 1949: 53].

Э. Бюиссенс подходил к определению дискурса одновременно с функциональной и семиологической точек зрения. Дискурс – семиотический процесс, дискурсивная практика во всем ее многообразии, использующая языковые и неязыковые средства. В самом дискурсе, отмечал он, можно наблюдать сочетание условных знаков, индексов и иконических знаков; произнесение слов (условные знаки) может сопровождаться вздохами (индексы), а порядок слов напоминать последовательность сообщаемых событий (иконические знаки). Линейный характер дискурса не является строгим. Так, в дорожной сигнализации знаки комбинируются в пространстве.

Подход к дискурсу как процессу семиозиса был продолжен и дополнен последователем Э. Бюиссенса, выдающимся представителем Женевской лингвистической школы Л. Прието. Вслед за Бюиссенсом Прието называет семой означаемое и соответствующее ему означающее, общие всем сигналам, которые их образуют [Prieto 1975]. Сема – совокупность общих черт тождественных высказываний. Таким образом, понятие семы близко понятиям модели, схемы, парадигмы. Так же как и соссюровский знак, сема является двусторонней фундаментальной единицей любого кода.

Учение Э. Бюиссенса и Л. Прието о знаковом характере дискурса можно рассматривать как переориентацию от языковой референции к речевой. Прието трансформирует языковой треугольник Огдена–Ричардса в речевой, коммуникативный. В отличие от Огдена и Ричардса, у которых в качестве основной знаковой единицы фигурирует слово, для Прието таковым является высказывание. «Референт, в отличие от денотата и сигнификата, – писал С.Д. Кацнельсон, – относится не к имени как дискретной единице языка, а к имени в речи, точнее говоря, к имени в составе предложения» [Кацнельсон 2001: 394].

Только семиологический подход, полагал Бюиссенс, дает возможность определить с научной точки зрения объект лингвистики. Поскольку последняя является частью семиологии, ее предметом должен быть семический факт, акт коммуникации с помощью любых средств. В понимании языка как семиотической системы и широком определении знака Э. Бюиссенс и Л. Прието сближаются с Р. Якобсоном. «Язык служит примером чисто семиотической системы. Все языковые явления – от мельчайших единиц языка до целых высказываний или обмена высказываниями – всегда функционируют как знаки, и только как знаки» [Якобсон 1985: 325]. Л. Ельмслев стремился показать, что величина единиц манифестации не существенна для определения знака, иначе говоря, наряду с минимальными знаками, за которые чаще всего принимают слова, можно говорить о знаках-высказываниях или знаках-дискурсах. Следует заметить, что слабая сторона учения Э. Бюиссенса и Л. Прието о знаковом характере дискурса в том, что явление семиозиса ограничивается высказыванием, дискурсивные единицы большей длины практически не рассматриваются. В то же время разработанный ими оригинальный подход к дискурсу естественного языка как семиотического явления может оказаться плодотворным для разработки знаковой теории дискурса. Разрабатываются семиотические характеристики отдельных видов дискурса. Так, разрабатывается концепция, согласно которой политический дискурс представляет собой своеобразную знаковую систему, в которой происходит модификация семантики и функций языковых единиц разных типов, а также речевых стратегий [Шейгал 2000].

Э. Бюиссенс придавал столь большое значение вопросу языкового членения, что назвал свою вторую работу «Коммуникация и языковое членение». Сама идея языкового членения восходит к Ф. де Соссюру. Это понятие разрабатывал также Л. Ельмслев, а позднее А. Мартине. Э. Бюиссенс предложил так называемое «интегральное членение», соответствующее значимым единицам, которое он распространял на все языковые единицы – от монемы до фразы. Формальное членение соответствует незначимым единицам, к которым он относил единицы от релевантных признаков до просодии. Для анализа фонем по релевантным признакам он использовал термин «продольный» (longitudinal), поскольку эти признаки не являются последовательными сегментами, они одновременны.

Э. Бюиссенс, подобно американским лингвистам, не использовал термин «синтагма», но уделял большое внимание разработке понятия монемы. Критерий выделения монемы – ее функция в языковом членении. По его определению, монема – «наименьший сегмент, означающее и означаемое которого могут быть одновременно общими для двух слов, в остальном несхожих, либо могут противопоставлять два слова, в остальном схожих» [Buyssens 1970: 113]. Так, если сравнить франц. *coupe-file*, с одной стороны, с франц. *coupe-papier*, а с другой, – с франц. *serre-file*, можно заметить, что каждая составная часть франц. *coupe-file* может быть заменена другой, что приводит к изменению общего значения. Между элементами словосочетания *coupe-file* нельзя вставить дополнительные слова. Напротив, во фразе *Avec cette carte on coupe toute file* вставка дополнительного слова между *coupe* и *file* вполне возможна. Означающие *coupe* и *file* в одном случае две монемы, составляющие одно слово, в другом – два разных слова. Таким образом, в качестве критерия членения на монемы у Бюиссенса выступает функция.

А. Фрей писал, что Бюиссенс «наделял *знак* смыслом монемы» [Фрей 2006: 179]. Однако это не совсем так, поскольку знак и монема относятся к разным планам, это явления разного порядка. Монема относится к членению дискурса, это дискурсивная единица. Знак же – общесемиотическое понятие. Бюиссенс проводил различие между монемой и словом. Слово принадлежит синтаксическому уровню и является наименьшей единицей этого уровня. Монема относится к более низкому семантическому уровню, являясь его наименьшим сегментом. Бюиссенс возражал против выделения нулевой монемы, называя его заблуждением, которое объясняется стремлением установить регулярность там, где ее нет [Buyssens 1970: 131].

Помимо вклада Э. Бюиссенса в семиологию, дихотомию языка и речи, синхронию и диахронию, теорию языковых уровней, его научная заслуга также в том, что он был одним из основоположников изучения детской речи. К этому предмету он подходил с семиотической точки зрения. Бюиссенс ставил вопрос: каким образом нерасчлененные звуковые сигналы, которыми начинает общаться ребенок, преобразуются в артикулируемые языковые знаки? Тем самым он считал членение неотъемлемым и необходимым свойством человеческого языка. Бюиссенс проводил различие между усвоением языка в онтогенезе и филогенезе, которое делали не все лингвисты. Для первобытного человека, писал Бюиссенс, «изобретение знака представляло собой психологическую революцию» [Buyssens 1957: 435]. При усвоении языка ребенком имеет место постепенное овладение системой знаков, все большим и большим сближением с этой системой у взрослых. В то же время некоторые ученые полагают, что изучение усвоения языка ребенком может в определенной степени пролить свет на филогенез – возникновение человеческой речи. Занимался Бюисенс и частными вопросами английской грамматики. По свидетельству Э. Уленбека, Бюиссенс внес значительный вклад в изучение наречий английского языка. Э. Бюиссенс исследовал также формы continuous в английском языке, считаемые некоторыми учеными аспектуальными.

Итак, лингвистическую концепцию Э. Бюиссенса можно по праву рассматривать как практическую реализацию завета Ф. де Сосссюра, касающегося расширения области семиологических исследований – с естественного языка на другие знаковые системы коммуникации. Он разработал семиологическую основу в качестве методологии

описания языка. Э. Бюиссенса можно считать предтечей таких компонентов современной когнитивно-дискурсивной парадигмы, как междисциплинарные связи науки о языке, стремление к синтезу и интеграции научного знания о языке, сочетание когнитивно-дискурсивного подхода с коммуникативно-функциональным. Он заложил основы знаковой теории дискурса, разработав синтактику и прагматику языка как семиологической системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ельмслев 1960 – *Л. Ельмслев.* Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.

Кацнельсон 2001 – *С.Д. Кацнельсон.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.

ПЛК 1967 – Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

Соссюр 1977 – *Ф. де Соссюр.* Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.

Степанов 1983 – *Ю.С. Степанов.* В мире семиотики. Вступительная статья // Семиотика. М., 1983.

Уфимцева 1990 – *А.А. Уфимцева.* Знаковые теории языка // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Фрей 2006 – *А. Фрей.* Соссюр против Соссюра? М., 2006.

Шейгал 2000 – *Е.И. Шейгал.* Семиотика политического дискурса: Дис. … докт. филол. наук. Волгоград, 2000.

Якобсон 1985 – *Р. Якобсон.* Избранные работы. М., 1985.

Buyssens 1942 – *E. Buyssens.* Les six linguistiques de F. de Saussure // Revue des langues vivantes. 1942. № 7.

Buyssens 1943 – *E. Buyssens.* Les langages et le discours. Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie. Bruxelles, 1943.

Buyssens 1949 – *E. Buyssens.* Mise au point de quelques notions fondamentales de la phonologie // Cahiers Ferdinand de Saussure (CFS). 1949. № 8.

Buyssens 1952 – *E. Buyssens.* Dogme ou libre examen? // CFS. 1952. № 10.

Buyssens 1957 – *E. Buyssens.* Development of speech in mankind // L. Keiser (ed.). Manual of phonetics. Amsterdam, 1957.

Buyssens 1961 – *E. Buyssens.* Origine de la linguistique synchronique de Saussure // CFS. 1961. № 18.

Buyssens 1970 – *E. Buyssens.* La communication et l'articulation linguistique. Bruxelles, 1970.

LC 1970 – Linguistique contemporaine. Hommage à E. Buyssens. Bruxelles, 1970.

Mounin 1959 – *G. Mounin.* Les systèmes de communication non-linguistique et leur place dans la vie du XX-e siècle // BSLP. 1959. V. 54.

Mounin 1969 – *G. Mounin.* [Рец. на:] E. Buyssens. La communication et l'articulation linguistique // Revue belge de philologie et d'histoire. 1969. V. 47. № 2.

Prieto 1975 – *L. Prieto.* Études de linguistique et de sémiologie générale. Genève, 1975.

Sebeok 1976 – *T. Sebeok.* Contributions to the doctrine of signs. Bloomington, 1976.

Sechehaye 1944 – *A. Sechehaye.* [Рец. на.:] E. Buyssens. Les six linguistiques de F. de Saussure; E. Buyssens. Les langages et le discours. Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie // CFS. 1944. № 4.

Сведения об авторе:

Валерий Георгиевич Кузнецов
Московский государственный лингвистический университет
vgk.avamo@mail.ru

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Ю.К. Кузьменко. **Ранние германцы и их соседи: лингвистика, археология, генетика.** СПб.: Нестор-История, 2011. 268 с. ISBN 978-5-98187-870-1

В самом конце 2011 г. в Петербурге вышла монография Ю.К. Кузьменко, 15 лет проработавшего в Германии. Автор поставил перед собой ту же задачу, которую примерно на том же материале решал полвека назад в двух книгах [Hachmann et al. 1962; Hachmann 1970] крупный немецкий историк и археолог Рольф Гахман (Хахман). В первой из этих книг его соавторами были видный лингвист Г. Кун и еще один выдающийся археолог Г. Коссак. Тогда они тоже стремились провести синтез разных видов источников – из области истории, языкознания, топонимики и археологии. Я опубликовал пространные рецензии на труды Гахмана и его соавторов [Клейн 1974; Klejn 1974]. С моей точки зрения, книги были замечательные, но синтез не получился. Синтез разных видов источников – вообще очень трудная задача. Нередко в нем участвует еще и антропология – в книге Кузьменко в соответствии с духом времени ее заменяет археогенетика.

Авторы были чрезвычайно компетентными и талантливыми исследователями. Именно в этих трудах Куном и Гахманом была выдвинута подхваченная и развитая Кузьменко гипотеза о третьем этническом блоке – между германцами и кельтами (в регионе современных Бельгии и Голландии), который, может быть, и носил первоначально название германцев, впоследствии перешедшее на тех, кого и стали потом называть германцами: это ведь не их самоназвание. (У Кузьменко это италики, что не исключено, хотя доказательств не так уж много.) Почему же полвека назад синтез не получился? Эти авторы пришли к мысли, что каждый аспект этнического развития очень отличается от других, что в каждой из дисциплин нужно работать отдельно и лишь потом сводить результаты воедино. Если совпадут, отлично. А если не совпадут (а не совпали!), то как быть? Принципы синтеза разработаны не были.

Как обстоит с этим вопросом в исследовании Кузьменко? Я не берусь судить о лингвистической составляющей этого труда, моя компетенция – археология, и я накопил некоторый опыт в решении проблем синтеза разных видов источников. Мне импонирует тот факт, что автор отделяет изучение судеб названия этноса (слово *германцы*) от самого понятия этноса. Более того, в сноске автор пишет: «Не вдаваясь в дискуссию о том, что такое этнос, определяю его как исторически сложившуюся общность людей, сознающих общность своего происхождения, единство своей истории и свое отличие от других этносов» (с. 8, сн. 6). Но это и есть очень хорошее определение этноса, отнюдь не условное или предварительное. Этнос потому так долго и не поддавался дефиниции с помощью перечня реальных признаков, что он не стабильная категория исторической реальности, а категория социальной психологии. Это общность людей, испытывающих взаимную солидарность благодаря идее общего происхождения, выделяющего их из окрестного населения – вне зависимости от того, достоверно это или нет. Этой идее подыскиваются подтверждения среди реальных признаков – общность языка или религии, или расового облика и т.д. Поэтому все исследования по этногенезу сводятся к проблеме происхождения языковой общности или языковой семьи. Можно выяснять происхождение общности материальной культуры, но это другая проблема. А происхождение общности физического облика (если она есть) – третья. Автор, как мне кажется, не вполне осознает это. Он понимает, что раннеисторические германцы, вероятно, не имели общего самоназвания, не сознавали себя единым этносом. А кого

римские историки называли германцами и вовсе не ясно. Но все же автор склонен думать, что решает именно эту проблему – проблему этногенеза. А ее нет.

Он решает в сущности проблему происхождения германской языковой общности, привлекая данные археологии и археогенетики.

С какого времени германский язык стал германским? Автор книги делит процесс возникновения и формирования германского языка на протогерманскую и общегерманскую стадии, размышляя о том, какие явления в языке стоит положить в основу деления (Первый перебой согласных, закон Вернера и т.п.). Когда речь идет о развитии языка одного народа, каждая инновация лишь немного изменяет язык, и их должно накопиться много, чтобы новые поколения перестали понимать записанную речь своих предков. Так, мы еще понимаем, хотя и с трудом, речь Ивана Грозного, но нуждаемся в переводе «Слова о полку Игореве». А прошло чуть больше восьмисот лет. Стало быть, около тысячи лет отделяет предков от потомков, говорящих уже на другом языке. Но это подвижная граница: для людей времен Петра рубеж понимания отодвинется еще на несколько сотен лет. А значит, разделить историю языка на безусловные периоды затруднительно.

Но когда народ разделился, то можно установить, когда люди одной группы перестали понимать людей другой группы, а значит, появились два разных языка. Это тоже вовсе не знаменуется одной-двумя инновациями. Английский Великобритании, Австралии и США уже немного разный, но еще не разделился. Можно полагать, что и язык ариев не распался сразу на языки индоариев и иранцев немедленно после разделения на два народа. Та же картина должна быть и с германцами – с их выделением и их разделением. Во всяком случае при всех «скидках» на запаздывание филиация – это единственный устойчивый критерий для периодизации.

Подобно своим названным предшественникам автор книги понимает, что непременного прямого совпадения языковых общностей с археологическими культурами (и гаплогруппами) нет. Более того, в распределении изоглосс нет и четкого деления по ступеням распада и образовавшимся общностям, все более дробным. Изоглоссы образуют очень капризную сеть, в которой выделить господствующие пучки изоглосс можно, но они не дают четкого разделения и ясной иерархии. Поэтому в поисках ближайших родственников для германцев среди индоевропейцев, то есть выявляя выделившиеся из праиндоевропейцев промежуточные большие общности, одни исследователи склонны считать, что в прошлом предки германцев входили в одну промежуточную общность с предками славян и балтов – восточную, а другие считают, что они входили как раз в западную общность – вместе с италиками и кельтами. Есть много инноваций, по изрядному числу сходств общих и с теми и с другими.

Основным достижением Кузьменко мне представляется то, что он сопоставил эти два больших пучка изоглосс (структурных, грамматических, лексических, фонологических), определил их функциональную роль в синтезе и пришел к выводу, что они являются не наследием той или иной промежуточной общности (тогда надо отказаться от одной из них), а остались от контактов с обеими группами соседей. Он заключил, что на этапе своего формирования (предположительно в бронзовом веке) германский язык контактировал с италийским и балтийским (или балтославянским), а на более позднем этапе (предположительно в железном веке) италийцев заменили кельты, а балтов (еще позже, уже после распада германского на три части, близко к началу средневековья) – славяне.

Третий пучок изоглосс очертил зону контактов с третьей группой соседей, северной – с финно-уграми.

Кузьменко также аргументированно отверг популярную у многих исследователей гипотезу центральноевропейского языка – промежуточной общности между праиндоевропейским и отдельными современными индоевропейскими языками, выделенной Краэ только на основании гидронимики и не поддержанной изоглоссами. Многообещающие гипотезы о доиндоевропейских субстратах – приморском, васконском (родственном баскскому) и т.п. выглядят у Кузьменко сильно отощавшими, хотя и не отвергнутыми полностью. Все это создает новую ситуацию в обсуждении развития индоевропейских диалектов на севере Европы. Основой такого обсуждения остается анализ изоглосс, приводящих к выводам о контактах.

Какими в реальности были контакты, порождающие языковое сближение? Если лексические заимствования могут объясняться торгово-обменными сношениями, то фонологические, структурные и грамматические изоглоссы могу объясняться только длительным сожительством значительных масс людей, когда одни переходят на язык других или начинают им подражать в речи. А это означает брачный обмен, адоптацию пленных или союзников в род, совместное проживание в поселках, захват и ассимиляцию территорий и населения, распространение религии с прибытием иноплеменных жрецов. Археологически это может выразиться в констатации влияния од-

ной культуры на другую, в расширении некой культуры или в формировании совершенно новой культуры из разных компонентов (с корнями, уходящими в разные культуры). То есть на месте «зоны контакта» мы можем обнаружить не две культуры, а одну, в рамках которой и происходит контакт двух языковых компонентов. На основании археологических данных невозможно сказать, какой язык в ней возобладает в итоге, потому что мощность культурного вклада не имеет непременного соответствия интенсивности языкового контакта. В раннем средневековье славянские земли на Дунае были захвачены булгарами и венграми, и это можно проследить по материальной культуре, но в одном случае язык остался славянским (болгарский), в другом – победил венгерский. Археологи будущего могли бы по материальной культуре решить, что Россия в XX в. была захвачена каким-то западноевропейским государством, а на деле русские войска заняли пол-Европы.

С этим вопросом мы переходим к археологической составляющей труда Кузьменко. Он хорошо разобрался в разных гипотезах формирования германцев по данным археологии, изложив восемь таких гипотез – от «палеолитической непрерывности» до формирования в эпоху Римской империи (тут произошел небольшой конфуз: автор сбился со счета и гипотезы третья и четвертая получили один номер, поэтому всего вышло якобы семь гипотез). Вот эти гипотезы:

1) германцы сформировались еще в палеолите и заселили северную Европу сразу за отступанием ледника (10–5 тыс. лет до н.э.);

2) они, а не индоевропейцы вообще являются носителями культуры воронковидных кубков (4500–2700 гг. до н.э.);

3) они сформировались из двух сил – новой культуры шаровидных амфор и старых культур воронковидных кубков и мегалитов (3600–2150 гг. до н.э.);

4) германцы – результат наслоения на старые культуры культуры не шаровидных амфор, а шнуровой керамики (3000–2200 гг. до н.э.), которую Кузьменко воспринял как отдельную культуру от культуры одиночных погребений (на деле культура одиночных погребений Ютландии и Швеции – это культура из круга культур боевого топора и шнуровой керамики; см. [Klejn 1969a];

5) германцы сформировались в раннем бронзовом веке Центральной Германии (2300–1600 гг. до н.э.), выделившись из унетицкой культуры;

6) германцы возникли позже в бронзовом веке (1800–800 гг. до н.э.) – они оформлены в культуре «Северного круга»;

7) германцы сформировались в железном веке (600–100 гг. до н.э.) – первых германцев представляет культура Ясторф;

8) германцы сформировались только в эпоху Римской империи (последние века до н.э. – первый век н.э.) – до Цезаря и Тацита германцев не было.

Вот такой разброс мнений. Кузьменко констатирует, что четвертая гипотеза (которая в книге оказывается под номером три-bis) является сейчас господствующей: по ней германцы появились «в результате слияния представителей культуры воронковидных кубков и мегалитов с культурой шнуровой керамики в эпоху неолита» (с. 132). Это не совсем корректная формулировка, поскольку многие выводят культуры боевого топора и шнуровой керамики именно из культуры воронковидных кубков (я также – см. [Klejn 1969b]).

К сожалению, у книги не было редактора-археолога, а автор не владеет русской археологической терминологией. Поэтому, перелагая труды немецких археологов, он изобретал заново русские археологические термины взамен принятых и устоявшихся за последние сто-двести лет. При чтении приходится все время в уме подставлять на место его изобретений стандартную терминологию: у него «культура шаровых амфор», а нужно «культура шаровидных амфор», «граветтианская культура» (культура гравет), «магдаленская» (мадленская), «мезолитная» (мезолитическая), «культура ладьеобразных топоров» (культура ладьевидных топоров), «керамика колючей проволоки» (керамика с орнаментом в виде колючей проволоки), «штих-керамика» (накольчатая керамика), «домашние урны» (домиковые урны или урны-домики, урны в виде домиков). Некоторые его термины точнее передают исходное обозначение: «Маглемосе» (а у нас принято онемеченное Маглемозе), но другие – нет («Мирзановице» на карте – это польский памятник Межановице).

За исключением книги Ю.В. Кухаренко об археологии Польши и популярной книги А.Л. Монгайта, Кузьменко совершенно игнорирует русскую археологическую литературу по зарубежным европейским культурам – он вполне вошел в образ западного ученого, даже кое в чем и не только по археологии: из работ украинца Кончи он ссылается только на его англоязычную работу, не замечая его украинских статей. Но западные коллеги поступают так по неизбежности – из-за незнания языка. В данном случае это просто недоработка. Русская литература по конкретным европейским культурам невелика, но существует и не вся вторична, а проблема этногенеза в ней – одна из самых разработанных в мире. Автор даже иногда

прибегает к транслитерации имен, как на Западе, тогда как в России принята фонетическая передача (он пишет Неуман, а не Нойман или – по старинке – Нейман, Киттлес, а не Китлз).

Приступая к анализу и оценке восьми гипотез происхождения германцев, Кузьменко утрачивает четкость позиций:

«Если понимать под германцами группу людей, обладавших определенными генетическими признаками, как это фактически делает Алиней, можно утверждать, что германскими были уже палеолитные (т.е. палеолитические. – *Л.К.*) культуры. Если же под германцами понимать носителей определенной археологической культуры, безотносительно к языку и этническому самосознанию, то в принципе мы можем объявить германской любую археологическую культуру, область распространения которой более или менее совпадает с областью распространения исторически известных германцев, что, как мы видели выше, и делают многие. Наконец, если иметь в виду под германцами этническую группу, сознающую свое единство и свое отличие от соседей, то мы можем сказать, что, вероятно, уже в начале I тыс. до н.э., а возможно и раньше, существовала особая этническая группа "своих" свеев / свебов, которая отличала себя от своих соседей – "финнов" с севера, айстов с востока, венетов и вальхов с юга <...> Эта группа могла иметь одним из своих этнических признаков и язык» (с. 144).

При такой неразборчивости критериев проблема не поддается удовлетворительному решению. Я уже пояснял, что германцев, как и славян, объединяет и отличает от других язык и только язык. Это языковая семья и ничего больше: не раса, не культурная общность, не политическое или религиозное единство. И отыскивать можно только происхождение языковой общности, которая на каком-то этапе могла иметь своей колыбелью этническую и культурную общность.

Кузьменко пишет: «В середине I тыс. до н.э. этническое единство "своих" стало распадаться, и уже к эпохе Цезаря, а еще явственнее к эпохе Тацита, оно уже распалось. Когда сформировалось это единство, сказать трудно. Оно могло появиться и до начала формирования языковых инноваций, отличающих германский язык от языка соседей, и во время появления этих инноваций».

И дальше следует то, что можно расценивать как предлагаемое решение: «Если понимать под германцами группу людей, язык которых отличался от языка соседей (а только такое понимание и имеет смысл. – *Л. К.*), то поскольку первые германские признаки, которые еще не были исключительно германскими, но сочетание которых уже отличало их от языка соседей, появились, вероятнее всего, в III – начале II тыс. до н.э., то появление германцев следует относить к этому периоду» (с. 144). Таким образом, это поздний неолит северной Европы, перед самым формированием Северного (Нордического) круга.

Если исходить из того, что выше сказано о языковых признаках «германскости», то признаков, только сочетание которых отличает население от соседей, еще недостаточно, чтобы констатировать наличие особого языка. Требуется такое их количество, которое обеспечивает непонимание соседями речи этого населения. До этого образуется только диалект. Начальным же пунктом отсчета для формирования этого диалекта является выделение данной группы людей из предшествующей общности, в основном – территориальное отделение (миграция или завоевание, словом некое обособление). Соответственно, стимулом для деления этого языка на дочерние языки будет распад этого этноса, в рамках которого язык сформировался, раскол на несколько этносов, хотя первое время (до тысячи лет) расколовшиеся части будут разговаривать на общем языке, лишь постепенно формируя диалекты с потенцией превращения в языки.

Своим отвержением гипотезы центральноевропейского языка Краэ автор книги углубил время выделения протогерманского. Но, поскольку выделение хеттов и тохаров признается наиболее ранним, а последующий промежуточный распад оставшегося праиндоевропейского (или протоиндоевропейского) на две части – восточную (зародыши арийского с греческим и фригийским) и западную (остальные) – также достаточно вероятен, то все же углубление начала германского не столь уж велико. Его более точные пределы можно очертить, намечая те археологически установимые миграции, которые наиболее подходят для увязки с движением хеттов в Анатолию и тохаров в Синьцзян.

Сравнительно немного места уделено новой для подобных синтезных трудов теме – популяционной генетике. Подходя здраво, автор не стал увлекаться предлагаемыми обещаниями решить все затруднения анализами митохондриальных и Y-хромосомных гаплогрупп, генов и групп крови. Он вполне правильно рассудил, что и антропологические характеристики (включая генетические общности) точно так же не дают непременных совпадений как с языками, так и с этносами, потому что языки переходят от одной популяции к другой, а популяции многократно смешиваются и перемешиваются. Возможно, в первобытном прошлом это осуществлялось не так бурно, как сейчас, но зато на эти процессы в первобытности было

отпущено неимоверно много времени, что уравнивало результаты. Поэтому Кузьменко резонно не стал повторять скороспелые выводы некоторых «ДНК-генеалогов», объявивших одни гаплогруппы славянскими (их же арийскими), другие германскими и т.д. и прослеживающих их миграции ([Клёсов 2011] и др.). Он принял вывод П. Балареск и др. [Balaresque et al. 2010] о глубокой древности митохондриальных гаплогрупп в Европе (то есть о глубокой преемственности женского населения Европы) и сравнительно позднем появлении Y-хромосомных гаплогрупп (то есть мужского населения Европы, пришлого из стран Ближнего Востока и других мест).

В конкретной истории автор выделил Y-хромосомные гаплогруппы, наиболее густо представленные у германцев (это Y-гаплогруппы I1, R1b и R1a). Он не стал прослеживать историю каждой гаплогруппы, а ограничился приведением их числового распределения по картам. I1 оказалась наиболее густо представленной в Скандинавии (в том числе негерманской), R1b – в Западной Европе (с максимумом у басков) и R1a – в Восточной Европе (с максимумом в Польше и Восточной Прибалтике). Таким образом, с одной стороны, популяционная генетика согласуется с тремя очагами контактов с соседями, выявленными по изоглоссам. С другой – похоже, что основные Y-хромосомные гаплогруппы германцев близки митохондриальным по времени появления в Европе: по крайней мере значительная часть мужской генеалогии германцев охватывает и басков, обычно трактуемых как остатки древнейшего доиндоевропейского населения Европы, и финноугров.

Митохондриальные гаплогруппы вообще мало что могут сказать о происхождении германцев, так как их распределение по Европе произошло значительно раньше образования не только германцев, но и индоевропейцев и с тех пор мало изменялось. Но они рассказывают о предшествующем населении и тем самым кое-что о германцах. Наиболее распространенная у германских народов гаплогруппа H показывает те же числа, что и у других народов Европы, а максимум имеет у басков, минимум у саамов. Похоже, что баски остались от того населения, которое распространялось по Европе при отступании ледника (имея партнерами Y-гаплогруппу Rb1), а саамы представляют собой пришельцев из другой, восточной волны заселения. У саамов самый высокий в Европе процент митохондриальных гаплогрупп U и V, которые вообще распространены среди финно-угорских народностей и убывают у индоевропейцев от северо-востока к юго-западу. Таким образом, значительная часть женской генеалогии германцев ведет свое начало от палеолитического заселения Европы при общих корнях с финно-уграми, саамами и басками.

В целом книга производит очень хорошее впечатление. Это серьезный вклад в германистику и индоевропеистику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Клейн 1974 – *Л.С. Клейн*. [Рец. на:] *R. Hachmann*. Goten und Skandinavien. Berlin, 1970 // Советская археология. 1974. № 3.

Клёсов 2011 – *А.А. Клёсов*. Коллизия двух парадигм? Переписка с Л.С. Клейном // Вестник Российской академии ДНК-генеалогии. 2011. Т. 4. № 2.

Balaresque et al. 2010. – P. Balaresque, G.R. Bowden, S.M. Adams, H.-Y. Leung, T.E. King, et al. A predominantly Neolithic origin for European paternal lineages // Public library of science. Biology. 2010. V. 8(1).

Hachmann 1970 – *R. Hachmann*. Die Goten und Skandinavien. Berlin, 1970.

Hachmann et al. 1962 – *R. Hachmann, G. Kossack, H. Kuhn*. Völker zwischen Germanenn und Kelten. Neumünster, 1962.

Klejn 1969a – *L.S. Klejn*. Zum Problem der Aussonderung und Gliederung des Streitaxtkulturkreises // H. Behrens, F. Schlette (Hrsg.). Die neolithischen Becherkulturen in Gebiet der DDR und ihre europaischen Beziehungen. Berlin, 1969.

Klejn 1969b – *L.S. Klejn*. Die Donez-Katakombenkeramik, eine Schnurkeramik der Becherkultur // H. Behrens, F. Schlette (Hrsg.). Die neolithischen Becherkulturen in Gebiet der DDR und ihre europaischen Beziehungen. Berlin, 1969.

Klejn 1974 – *L.S. Klejn*. Regressive Purifizierung und exemplarische Betrachtung. Polemische Bemerkungen zur Integration der Archäologie mit der schriftlichen Geschichte und der Sprachwissenschaft bei der ethnischen Deutung des Fundgutes // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1974. Jg. 15. H. 2.

Л.С. Клейн

Сведения об авторе:

Лев Самуилович Клейн
СПбГУ

A.Y. Aikhenvald. **Imperatives and commands.** New York: Oxford university press, 2010. 520 p.

Новая книга Александры Юрьевны Айхенвальд продолжает серию ее типологических монографий (см. [Aikhenvald 2000; 2004], не говоря о пользующихся не меньшей известностью ее грамматических описаниях и других исследованиях). Репутация автора гарантирует высокий уровень новой работы, которая посвящена типологии императивов – теме, в последние два десятилетия привлекающей к себе все больше внимания (беглое изложение истории вопроса дано в сноске на с. 15–16). Исследование основывается на материале 700 грамматик различных языков, покрывающих, как утверждается на с. 12, все основные регионы мира и возможный максимум языковых семей. При этом не используется какая-либо выборка языков – неприязнь автора к типологическим выборкам явно ощущается на протяжении книги[1].

Книга состоит из 12 глав, первая из которых служит кратким, в значительной мере техническим введением, а последняя – заключением, в котором перечисляются итоги исследования. Из прочих глав каждая снабжена своим резюме, перечисляющим основные рассмотренные в ней закономерности. Отметим также традиционную для А.Ю. Айхенвальд манеру изложения, когда каждое явление иллюстрируется на нескольких ярких примерах, а указания на другие языки, где есть сходные формы и конструкции, даются в сноске. Все это создает дружественный для читателя стиль, помогающий быстро найти и понять новую информацию, а при необходимости – получить более подробные ссылки. Отметим, что в заключительном разделе книги приведена анкета для описания императива при полевом исследовании.

Рассмотрим по очереди 10 собственно типологических глав книги.

Глава 2, самая длинная и по сути центральная для книги, посвящена различным способам выражения императива. Здесь же вводится терминологическое различие «канонических» и «неканонических» императивов, используемое далее на протяжении всей книги; под первыми понимаются формы 2-го лица, под вторыми – императивы прочих лиц (которые также известны как гортативы, юссивы и под рядом других имен). Это ответ А.Ю. Айхенвальд на давно дебатирующийся вопрос о том, бывают ли императивы не-второго лица. Как следует из терминов «канонический» и «неканонический», они бывают, но представляют собой периферию семантической области императива, в то время как формы 2-го лица – это ее центр.

В начале 2-й главы рассматриваются способы образования форм императива 2-го лица, единственного и множественного числа. Здесь, разумеется, нельзя пройти мимо примеров нулевого аффикса императива 2-го л. ед. ч., так хорошо представленных в самых разных языках; но и все прочие возможные способы образования императива 2-го лица здесь представлены – как сегментные, так и супрасегментные, и даже аналитические (наиболее редкие). Отметим примеры из жестовых языков (с. 37); насколько нам известно, ранее в типологических работах по императиву материал жестовых языков не привлекался. Естественно, образование императива следует демонстрировать на фоне способов образования аналогичных форм индикатива, и во многих случаях релевантная информация дается при примерах[2]. Очень интересны случаи образования императива с помощью усечения: не частые, но, тем не менее, встречающиеся в разных ареалах (в книге приводятся примеры из латинского, дирбала, тибето-бирманского языка думи и некоторых других). В этом же разделе описываются случаи супплетивных и нерегулярных императивов; в самых разных языках к образованию нерегулярных форм императива склонны глаголы с одними и теми же значениями (см. об этом специально [Гусев 2005]). Наконец, здесь же показывается использование неимперативных форм для выражения повеления; правда, в этой главе – только по отношению ко 2-му лицу; далее выражению повеления с помощью неспециализированных форм будет посвящена отдельная глава 8.

Следующий раздел посвящен императивам не-второго лица. Здесь изложение построено по иной схеме. Не рассматриваются отдельно

---

[1] Еще более решительно А.Ю. Айхенвальд высказывается по поводу гипотез дальнего родства языков (что в общем-то не имеет отношения к теме книги), отказывая им в праве даже появляться на страницах научных работ (с. 13).

[2] Правда, не во всех, что иногда приводит к неточным формулировкам: на с. 23 утверждается, что у некоторых немецких глаголов императив 2-го л. ед. ч. образуется с помощью чередования корневой гласной и нулевого окончания лица и числа: *sprechen – sprich* ‘говори’, но *sprecht* ‘говорите’. Но учитывая, что аблаут в императиве точно соответствует индикативу (*du sprichst*, *ihr sprecht*), вряд ли можно говорить, что чередование гласной является таким же показателем императива 2-го л. ед. ч., как нулевой аффикс (который действительно отличает эту форму императива от прочих форм).

способы образования возможных лично-числовых комбинаций (например, «императивы 3-го лица»). Вместо этого материал группируется в зависимости от того, какие формы в языке объединяются в одну парадигму с «каноническим императивом», и описываются последовательно языки без императива 1-го л. ед. ч.; языки, где одну парадигму в императиве образуют формы 2-го и 1-го лица, без 3-го; языки, где такую парадигму образуют формы 2-го и 3-го лица, без 1-го; языки, где формы 2-го лица противопоставлены всем остальным. Далее приводятся примеры языков, где некоторые формы «неканонических императивов» объединяются с некоторыми из «канонических», проще говоря – со 2-м лицом мн. ч., – например, в супире, где только императив 2-го л. ед. ч. имеет специализированную форму, а для других лиц и чисел используется конъюнктив.

Здесь уместно возразить против объединения под ярлыком «1-го лица» форм 1-го л. мн. (и дв.) ч. императива, с одной стороны, и форм 1-го л. ед. ч. и мн. ч. эксклюзива, с другой. Утверждения, касающиеся «1-го л. императива» в целом, делаются во многих местах книги. Между тем по своей семантике и, соответственно, по своим свойствам эти формы максимально далеки друг от друга. Если первые (будем называть их инклюзивными) включают в число исполнителей повеления адресата и поэтому стоят ближе всего к «каноническим» императивам, то вторые (эксклюзивные) выражают повеление, если этот термин здесь вообще применим, только по отношению к самому говорящему и поэтому оказываются на самой периферии императива. Фактически в императиве стоит выделять не три, а четыре лица:

	ед. ч.	мн. ч.
1 эксклюзивное	говорящий	говорящий + третье лицо / лица
1 инклюзивное	говорящий + адресат	говорящий + адресат + третье лицо / лица
2	адресат	адресаты / адресат + третье лицо / лица
3	третьи лица	третье лицо

Такое представление, в отличие от объединения эксклюзивных и инклюзивных форм под единой рубрикой «1-е лицо», объясняет и разное положение их в императивной иерархии (см. немного ниже), и появление «первого лица дуалиса» в императиве в самых разных языках, обсуждаемое на с. 100–101 (см. об этом явлении подробно [Dobrushina, Goussev 2005]).

Третий раздел 2-й главы посвящен императиву в английском языке. Уже известные типологические закономерности иллюстрируются на хорошо описанном и, кроме того, заведомо известном читателю материале.

Наконец в четвертом и пятом разделе обсуждается, какая семантика специфична для тех или иных лиц императива, и делаются некоторые обобщения, в частности – приводится иерархия императивных форм[3]:

1-е л. ед. ч. или мн. ч. экслюзива > 3-е лицо > 1-е л. мн. ч. инклюзива > 2-е лицо

Чем выше то или иное значение в этой иерархии, тем выше вероятность того, что оно будет иметь специализированную форму императива; что эта форма будет обладать специфическими императивными признаками, и т. д. Отметим лишь, что расположение в этой иерархии 3-го лица дальше от «канонических императивов», чем 1-е л. мн. ч., не так однозначно: существуют, и в книге они приводятся, примеры языков с формами императива 3-го лица и без форм императива 1-е л. мн. ч.

Перейдем к 3-й главе, озаглавленной «How imperatives are special» («[Типологические] особенности императива»). В первом ее разделе рассматриваются фонологические особенности повелительных предложений – в первую очередь интонационные, но не только. Увы, интонация, которая, казалось бы, так важна для повелительных высказываний в самых разных языках, продолжает оставаться на периферии типологических исследований – в рецензируемой книге ей посвящено полторы страницы, и это, пожалуй, лучший результат среди известных нам работ по императиву. Впрочем, невозможно винить здесь только типологов: в большинстве описательных грамматик, на которые они вынуждены опираться, интонация также описывается кратко и зачастую в очень импрессионистических терминах. Далее, в разделе 3.2, рассматриваются примеры языков, где порядок слов в императивных предложениях отличается от обычного (известный пример – порядок клитик в романских языках,

[3] Впервые, в несколько другом виде, она была предложена в [Храковский, Володин 1986: 23]; см. также семантическую карту императива в [ван дер Аувера и др. 2004] и ряд других работ.

например, во французском: *tu me le donnes* 'ты мне это даешь', но *donne-le-moi* 'дай мне это'). Следующий раздел 3.3 посвящен особенностям сочетания различных глагольных категорий с императивом. Как известно, некоторые категории – такие, к примеру, как лицо, число или аспект, – приобретают особые оттенки значения, сочетаясь с императивом[4] (один из известных фактов – что имперфективные показатели в императиве приобретают значение «продолжай делать Р», а перфективные – «начни делать Р»). Наконец в разделе 3.4 речь идет об императивных высказываниях в контексте других типов клауз.

Глава 4 посвящена взаимодействию императива с другими грамматическими категориями. Не всегда можно понять, как делится материал между этой главой и разделом 3.3, о котором шла речь выше. Как бы то ни было, в главе 4 подробно рассматриваются императивные формы, указывающие на те или иные характеристики адресата (лицо, число, род и др.; раздел 4.1), на характеристики действия (аспект, время, ориентация, эвиденциальность, различные модальные значения; раздел 4.2), маркирование глагольных аргументов (раздел 4.3), транзитивность и другие аспекты семантики глагола (раздел 4.4). В разделе 4.5 под названием «Императив и форма глагола» упоминаются факты нейтрализации типов спряжения в императиве; область действия императивных форм в сериальных конструкциях, а также императивы, входящие в сочинительные конструкции (кажется, что некоторые из фактов, изложенных здесь, более органично смотрелись бы в главе 2, а другие – в разделе 3.4).

Известная типологическая особенность императивов – специфика выражения при них отрицания, как в формальном, так и в семантическом отношении. В большинстве языков выражение прохибитива не сводится к сочетанию обычного показателя отрицания с формой императива (русский и другие европейские языки в этом смысле – скорее исключение). Исследование прохибитива было начато А.П. Володиным и В.С. Храковским [Храковский, Володин 1986: 89–107], а в последние годы связано в основном с работами Й. ван дер Ауверы и его соавторов (см., в частности, [van der Auwera 2010] и более ранние работы). Разумеется, в книге, посвященной типологии императива, невозможно было обойти эту тему, и глава 5 целиком посвящена ей. Надо отметить, что А.Ю. Айхенвальд в меньшей степени (хотя и достаточно подробно) останавливается на формальной стороне вопроса, действительно хорошо изученной за последнее десятилетие, и больше внимания уделяет тому, как различается в утвердительном и отрицательном императиве выражение тех или иных грамматических значений (в целом – тех же, что и в главе 4, где они рассматривались вне контекста отрицания). В некоторых случаях прохибитивные конструкции возможны там, где невозможен утвердительный императив, в частности, с пассивом – например, в английском языке (*Don't be frightened* vs. **Be frightened*).

Шестая глава книги, озаглавленная «Императивы и их значения», посвящена таким типам повеления, как приказы, просьбы, разрешения и т.д. (которые А.П. Володин и В.С. Храковский называли «частными семантическими интерпретациями императивного значения» [Храковский, Володин 1986: 132–146]); категорические и некатегорические императивы; вежливые императивы и т.д. В разделе 6.1 демонстрируется, как в английском языке с помощью одних и тех же форм выражаются приказы, советы, разрешения, приглашения и пр. Раздел 6.2 начинается с утверждения, что «многие из специфических для императива значений повеления, выделенные в английском языке, в других языках приобретают формальное выражение», однако проиллюстрировать этот тезис явно не удается. Единственный язык, приводимый в качестве примера, – это туйука[5], и из него приводятся формы со значениями 'Пойдем' ('Let's go!' как пример «приглашения»), 'Дай я пойду' ('Let (me) go' как пример «разрешения»), аппрехенсив ('Смотри не упади'), нейтральный императив, а также особая форма, выражающая побуждение совершить действие с целью удостовериться в чем-то. Только последняя форма может рассматриваться в качестве особого императива, поскольку она су-

[4] К сожалению, на с. 104 повторяется известное своей спорностью утверждение о том, что не-отрицательный императив НСВ в русском языке более вежлив, чем императив СВ (*Садитесь* vs. *Сядьте*), хотя достаточно взять другую пару глаголов, чтобы убедиться, что это не всегда так (*Возьмите ключи* vs. *Берите ключи*) или даже ровно наоборот (*Покажите документы* vs. *Показывайте документы*). Давно было показано, что эффект вежливости / невежливости у видовых форм русского императива определяется совсем другими факторами: см. об этом [Падучева 1992] и специально посвященную вежливости в императиве монографию [Benacchio 2010]. Впрочем, на с. 222 говорится, что императив СВ также может звучать вполне вежливо.

[5] В конце раздела приводится пример из янкунтьятьяра, но здесь речь идет не об особой форме императива, а вообще о запрете на его употребление в определенной ситуации.

ществует наряду с нейтральным императивом 2-го лица. Называть форму со значением 'Пойдем' приглашением (в обычном смысле этого слова; никакого другого значения для термина «приглашение» не предлагается) вряд ли стоит, поскольку она с не меньшей вероятностью может означать и приказ (когда, к примеру, мать обращается к ребенку), и просьбу (ребенок обращается к матери), и любую другую «частную семантическую интерпретацию императивного значения». Характерно, что, перечисляя выше употребления английского императива, автор под рубрикой «Invitations» приводит действительно обычные приглашения с императивом 2-го лица (*Come over and see my etchings*, *Feel free to call if you like*); английских конструкций 1-го л. мн. ч. с *let's* в списке на с. 198–199 вообще не приводится. Еще более парадоксален пример с 1 л. ед. ч. Форму языка туйука, переводимую как 'Let (me) go', А.Ю. Айхенвальд называет пермиссивом; в английском же на значение «permission» приводятся примеры *Yes, go ahead* и *Take as many as you like*, а конструкция *Let me see now* дается под рубрикой «self-deliberation». Нет никакого сомнения, что в ряде языков значение «self-deliberation» выражается специальной формой; также верно, что существуют специализированные пермиссивные формы, хотя и гораздо реже, но они не означают 'let me see'. Что же касается приказов, просьб, приглашений и т. д., то они, по-видимому, не грамматикализуются, как об этом писали еще А.П. Володин и В.С. Храковский [Храковский, Володин 1986: 145–146], или, во всяком случае, примеров таких языков пока нет.

Способам сделать повеление более мягким или, наоборот, более категоричным посвящен достаточно объемный 3-й раздел шестой главы. Важность этой темы для типологии императива несомненна; в любом, по-видимому, языке можно сделать приказ более или менее категоричным. Интересно при этом, что языков, где степень категоричности маркируется специальным показателем в глаголе или хотя бы в предложении, очень немного; мало таких примеров приводится и в книге. Указывается в то же время, что универсальным средством в данном случае является интонация (к сожалению, общая неразработанность типологии интонации сказывается и здесь: перечисляя языки, где интонация передает категоричность повеления, автор ни для одного из них не указывает, какая же именно это интонация). Наконец, существует множество способов снизить или усилить категоричность с помощью средств, обычно используемых для другого: частиц или суффиксов со значением типа 'немного', 'пока' или 'только'; употребления субъектного местоимения; порядка элементов во фразе; подчинительных конструкций и др. Типология этих средств является отдельной увлекательной задачей, и многие механизмы, стоящие за ними, еще не поняты, но данный раздел, несомненно, – достойное введение в эту проблематику.

Глава 6 продолжается исследованием способов выражения вежливости в императиве (раздел 6.4 «Межличностные отношения в императивах»). Степень вежливости в императиве может выражаться как специальными показателями, так и использованием вместо императивов других форм или конструкций. К сожалению, здесь не вполне четко различаются случаи, где степень вежливости (в той степени, в какой она не совпадает с выражением категоричности) различается именно в императиве, и те, где представлено независимое от императива грамматикализованное выражение вежливости. В результате раздел открывается подробным описанием системы вежливых форм корейского языка, которая, безусловно, является одной из самых разработанных в мире, однако (как это видно уже из приводимой на с. 213 таблицы) никак не отличает императив от прочих форм: в императиве различаются ровно столько же степеней вежливости, сколько в других типах высказываний. Несколько далее, тоже весьма подробно, описывается система вежливого множественного числа европейских языков, также не демонстрирующая никакой специфики в императиве[6]. Наряду с этим, впрочем, демонстрируются и примеры языков, имеющих особое выражение вежливости в императиве, так что представление об этом аспекте типологии императива раздел вполне дает.

Наконец в разделе 6.5 рассматриваются пермиссивы (на этот раз это действительно формы, выражающие разрешение) и оптативы. Под последними здесь понимаются формы, выражающие пожелания, проклятия и т.д. (Н.Р. Добрушина, называющая такие формы «фактитивными оптативами», показала, что они составляют особый класс, отличный и от императивов, и от оптативов как таковых [Добрушина 2001].) В заключение раздела автор переходит к превентивным и конативным импе-

[6] Сюда же относится вежливое употребление 3-го лица в таких языках, как немецкий и литературный итальянский. Степень подробности, с которой описывается употребление 2 лица мн. ч., несколько неожиданна не только потому, что оно не имеет прямого отношения к императиву: безусловно, книга рассчитана на англоязычного читателя, однако можно надеяться, что читатель-лингвист владеет как минимум одним европейским языком или хотя бы помнит базовые вещи из школьного курса.

ративам (последние, очень редкие и, насколько нам известно, ранее в типологическом аспекте не описывавшиеся, означают 'попробуй сделать Р').

Глава 7 посвящена императивным формам в не-императивном значении. Здесь рассматриваются условные и уступительные употребления императивов, особенно хорошо известные на английском материале, речевые формулы приветствий, проклятий и т.д., повествовательные императивы (*он возьми и приди*), употребления императивных форм в делиберативных вопросах, в сложных словах (типа *сорвиголова*) и ряд других, более редких. С включением в рассмотрение некоторых примеров также можно не согласиться, например, употребления императива в ироническом контексте (типа *Слушай его больше* – пример наш) или в речевых формулах, поскольку тут нет ничего, что отличало бы его от декларативных или вопросительных высказываний (наряду с этимологически императивным *Здравствуйте* существует и *Добрый день*, и *Как поживаете?*). Делиберативные вопросы, рассматриваемые здесь (пример из лезгинского языка на с. 251) как неповелительные употребления императива, ранее (с. 73–74, 201 и др.) включались в число полноправных императивов.

В главе 8, напротив, рассматривается употребление не-императивных форм в значении императива. Этот феномен, связанный в большой степени с избеганием императива в речи (об этом подробно говорится в следующей главе), также хорошо известен. Четыре раздела восьмой главы посвящены так называемым «императивным вопросам» («whimperatives» типа *Вы не передадите мне соль?*), декларативным конструкциям (сюда включаются не только индикативные формы, такие как будущее время, но и конъюнктивы), конструкциям подчинительного типа и безглагольным высказываниям (сюда же, правда, попадают инфинитивы). Отметим, что, хотя в большинстве случаев подчинительные конструкции, по-видимому, действительно передают смягченное повеление (с. 277–278), это не всегда так, ср. хотя бы русские конструкции с *чтоб(ы)*: *Чтоб этого больше не было!*, *Чтоб я тебя больше не видел* и т. д.

Девятая глава в значительной степени посвящена прагматике императивов. Нам неизвестны другие труды по типологии императива, которые могли бы похвастаться таким подробным рассмотрением условий и контекста употребления не только императивных форм в узком смысле, но повелений вообще, включая даже плакаты и пиктограммы. Здесь отмечается тот важный факт, что императивы часто избегаются из-за того, что они «угрожают потерей лица» адресату (по известной терминологии [Brown, Levinson 1987]). Очень интересны замечания о контексте употребления повелительных высказываний; обсуждается, что после команды часто следует объяснение ее причины, а после запрещения – пояснение, как нужно делать (правда, каких-либо статистических данных не приводится). В последнем разделе этой главы обсуждается усвоение императивов в детской речи – также, насколько нам известно, впервые в типологической литературе: на примере нескольких языков показывается, что из глагольных форм императивы усваиваются ребенком одними из первых[7].

В главе 10 рассматриваются источники происхождения императивов, и здесь также делается несколько интересных наблюдений. Форма 2-го *л. ед. ч.*, то есть центральная императивная форма, является и наиболее архаичной и часто восходит к наиболее древней из надежно реконструируемых стадий языка, а супплетивные императивы могут быть единственными сохранившимися рефлексами некогда существовавших глаголов (раздел 10.1). Если же императив является относительно новой формой, то он часто восходит к «императивным стратегиям» («command strategies»), т.е. к неимперативным формам, употребляемым для выражения повеления (см. главу 7), при этом общий принцип таков: формы, сначала употребляющиеся для более мягкого повеления, постепенно конвенционализуются в функции императива и утрачивают оттенок некатегоричности (один из хорошо известных примеров такого рода – русский императив, восходящий к индоевропейскому оптативу). Другой источник императивных конструкций – грамматикализация глаголов со значением 'идти', 'пускать', 'давать' (последний случай хорошо представлен в русском языке: *давай пойдем*, *давай иди*[8] и др., см. об этом специально [Подлесская 2005]). Случаям такого рода посвящен раздел 10.2, а в следующем разделе, 10.3, рассматривается история прохибитива, который может, в частности, восходить к отрицанию желания или отрицанию возможности; добавим сюда отрицание необходимости (ср. русское *не надо*, постепенно грамматикализующееся в значении прохибитива: *не надо шуметь*).

Наконец, 11 глава посвящена заимствованию императивных моделей при языковых

---

[7] См. на русском материале [Цейтлин 2009: 236–240].

[8] А.Ю. Айхенвальд отмечает (с. 367, сн. 27), что ей не удалось найти конструкции типа *давай иди* ни в одном из «искусственно состряпанных» («artificially concocted») корпусов. В НКРЯ, впрочем, эти конструкции находятся без труда.

контактах. В разделе 11.1 подробно рассматривается случай языка тариана, известного А.Ю. Айхенвальд на материале собственных полевых исследований (см. подробную грамматику [Aikhenvald 2003]); приводятся примеры и из других языков. Раздел 11.2 посвящен заимствованиям отдельных императивных форм и «императивных слов». В разделе 11.3 дается попытка объяснить, почему императив оказывается в числе категорий, наиболее подверженных заимствованию в ситуации языкового контакта (впрочем, действительно ли императивные конструкции копируются чаще, чем какие-либо другие? Ответ не кажется нам очевидным).

В главе 12, как уже было сказано, дается краткое резюме всех предшествующих глав книги.

Подведем итог. Перед нами наиболее полное из опубликованных на сегодняшний момент исследований типологии императивных конструкций. Нам неизвестно ни одного типологически значимого явления, характерного для императива, которое не было бы здесь по крайней мере упомянуто. Количество исследованных языков (как уже говорилось, их около 700, и они представляют все языковые ареалы и все основные языковые семьи) позволяет предположить, что, если какие-то из этих явлений и остаются пока неизвестными, их очень немного.

Ряд особенностей императива впервые получил типологическое освещение – это в особенности прагматика императива (глава 9), происхождение императивных форм (глава 10), их распространение в контактирующих языках (глава 11).

Не всегда ясно распределение материала внутри книги. Так, семантическим особенностям лично-числовых форм императива посвящены разделы 2.4 и 3.3.2, а также 6.2 (см. об этом выше); взаимодействию императива с аспектуальной и временной семантикой – разделы 3.3.3 и 4.2.1–4.2.2; выражению повеления неимперативными формами – раздел 2.1.4 и специальная глава 8. Императив в разных языках имеет множество особенностей, не все из которых пока удается свести в единую систему, и из-за этого исследование типологии императива неизбежно производит на читателя впечатление «мешка фактов», мелких и разнородных; однако стоило бы не усиливать это впечатление сверх необходимого и систематизировать, по крайней мере, то, что систематизации поддается.

На фоне тщательного разбора всех формальных деталей довольно небрежным кажется отношение к семантике. Собственно, ни одному семантическому термину, включая «повеление» («command») определения не дается[9]. Это не страшно, пока семантика интуитивно ясна, но четкое толкование становится необходимым там, где мы сталкиваемся с пограничными случаями. Являются ли, например, пожелания и проклятия разновидностью императива? Они упоминаются в этом качестве в разделе 6.5, но менее чем 20 страницами ниже им специально посвящен раздел 7.2 главы, озаглавленной «Imperatives which do not command» («Императивы, не выражающие повеления»); то же касается упоминавшихся выше «делиберативных вопросов». Выше, говоря о главе 6, мы упоминали разнобой в терминологии по отношению к ряду форм не-второго лица. Характерны в этом отношении упоминания значения «разрешения». На с. 73–74 при обсуждении императива в манамбу оно усматривается и у форм 1-го л. ед. ч. ('Можно мне пойти в туалет?'), и у форм 3-го лица ('Пусть леденец растворится') – хотя в первом случае это не разрешение, а просьба о разрешении, и сходства в значении между двумя этими примерами не больше, чем между вопросом *Сколько сейчас времени?* и ответом *Пять часов*. На с. 199 в качестве примеров разрешения приводятся английские примеры со 2-м лицом, а на с. 205 наличие специальных пермиссивных форм 2-го лица демонстрируется в нивхском; наконец, в завершающей главе 12 на с. 397 говорится, что «повеление в 1-м лице [может] сдвигаться ближе к разрешению и предложению, а в 3-м это часто скорее пожелание, чем прямой приказ»[10]. Реальность, стоящая за этими противоречивыми утверждениями, такова: семантика разрешения (т.е. пермиссивная, а не фактитивная каузация) возможна[11] в любом лице императива, кроме эксклюзивных форм; эти последние в свою

---

[9] В глоссарий лингвистических терминов на с. 424–432 также включены только термины, описывающие формы, но не значения. В нем есть «императив» – «наклонение, употребляемое при повелении» («mood used in commands»), но нет самого «повеления» («command»).

[10] «First person commands slide into permission and suggestion and third person commands often express wishes rather than direct orders».

[11] До тех пор, пока не будет хотя бы для нескольких языков экспериментальных или статистических данных об относительной вероятности пермиссивной и фактитивной интерпретации разных лично-числовых форм императива, предположения о том, что для того или иного лица «более характерна» та или иная интерпретация, остаются голословными. То же касается соотношения «пожеланий» (т.е. оптатива) и повеления в 3-м лице и других подобных вопросов.

очередь могут выражать, наряду с другими значениями, лишь просьбу о разрешении.

Наконец, как уже говорилось выше, в ряде случаев императиву приписываются особенности, которые в данном языке свойственны всему глаголу в целом и не выделяют именно императив.

Перечисленные недостатки, однако, не отменяют того, что новая монография А.Ю. Айхенвальд отражает максимально полную на сегодняшний день картину типологии императива и в ряде аспектов дополняет ее. Отныне она естественным образом станет необходимой базой для любого исследования, касающегося императива в целом или системы императивных форм конкретного языка, а при полевом исследовании – еще и непосредственным руководством к действию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ван дер Аувера и др. 2004 – *Й. ван дер Аувера и др.* Семантическая карта императива-гортатива // Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию профессора В.С. Храковского. М., 2004.

Гусев 2005 – *В.Ю. Гусев.* Типология нерегулярных императивных форм // ВЯ. 2005. № 2.

Добрушина 2001 – *Н.Р. Добрушина.* К типологии оптатива // В.А. Плунгян (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 1: Глагольные категории. М., 2001.

Падучева 1992 – *Е.В. Падучева.* Семантика и прагматика несовершенного вида императива // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1992.

Подлесская 2005 – *В. И. Подлесская.* Русские глаголы *дать / давать*: от прямых употреблений к грамматикализованным // ВЯ. 2005. № 2.

Храковский, Володин 1986 – *В.С. Храковский, А.П. Володин.* Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.

Цейтлин 2009 – *С.Н. Цейтлин.* Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М., 2009.

Aikhenvald 2000 – *A.Y. Aikhenvald.* Classifiers: A typology of noun categorization devices. New York, 2000.

Aikhenvald 2003 – *A.Y. Aikhenvald.* A grammar of Tariana, from northwest Amazonia. Cambridge, 2003.

Aikhenvald 2004 – *A.Y. Aikhenvald.* Evidentiality. New York, 2004.

van der Auwera 2010 – *J. van der Auwera.* Vers une typologie du prohibitif // F. Floricic, R. Lambert-Brétière (éd.). La négation et les énoncés non susceptibles d'être niés. Paris, 2010.

Benacchio 2010 – *R. Benacchio.* Вид и категория вежливости в славянском императиве: Сравнительный анализ. München; Berlin, 2010.

Brown, Levinson 1987 – *P. Brown, S.C. Levinson.* Politeness. Some universals in language usage. Cambridge, 1987.

Dobrushina, Goussev 2005 – *N. Dobrushina, V. Goussev.* Inclusive imperative // E. Filimonova (ed.). Clusivity: Typology and case studies of inclusive-exclusive distinction. Amsterdam; Philadelphia, 2005.

В.Ю. Гусев

Сведения об авторе:
Валентин Юрьевич Гусев
Институт языкознания РАН
valentin.gusev@iling-ran.ru

***P. Durst-Andersen.* Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation.** København: Hans Reitzels Forlag, 2011. 200 s.

Название рецензируемой книги известного датского лингвиста-типолога Пера Дурст-Андерсена можно перевести как «По ту сторону языка. Культурно-ментальная вселенная в языке и коммуникации». Перед нами целостная теория, направленная на построение типологии грамматической семантики языков мира.

Книга убедительно демонстрирует продолжение традиций Копенгагенской лингвистической школы в лице таких ее представителей, как Луи Ельмслев и Вигго Брендаль: интерес к соотношению языка и мышления, построение универсальных систем лингвистического описания, системно-структурный подход к анализу материала, жесткую логику межуровневой организации материала в целостности его структурных взаимосвязей. Вместе с тем теория П. Дурст-Андерсена находится и на передовом крае современного коммуникативного и когнитивного направления лингвистических исследований, восходящего – в датской лингвистической традиции – к философско-культурологическому осмыслению языка, заложенному в трудах Отто Есперсена.

Монография состоит из семи глав, предваряемых введением, важным для понимания целостного замысла.

Базовым для книги является понятие «культурно-ментальной вселенной»: культура и национальное сознание входят в плоть и кровь

его носителей через родной язык, по-особому настраивающий не только их мозг (когницию), но и их сенсорное восприятие (перцепцию) и то, как они организуют речевое общение (коммуникацию).

Любая коммуникация включает трех участников, а именно, говорящего, слушающего и действительность. Основной тезис книги состоит в том, что языки можно подразделить на супертипы в зависимости от того, насколько грамматическая система того или иного из них настроена на отображение (1) объективной реальности, одинаковой для говорящего и слушающего, (2) восприятия ситуации говорящим, (3) восприятия ситуации слушающим. В качестве примеров языков, ориентированных на реальность, автор рассматривает русский язык, китайский язык и хинди. В качестве языков, ориентированных на говорящего, в книге приводятся болгарский, грузинский и испанский языки. В качестве языков, ориентированных на слушающего, исследуются датский, шведский и английский языки. Автор показывает, что общение на английском языке как lingua franca неизбежно влечет за собой трансфер культурно-ментальной вселенной родного языка, что проявляется в системности речевых ошибок в английском языке со стороны представителей того или иного языкового супертипа. Анализу системных расхождений между языками разных супертипов на разных уровнях грамматической семантики посвящены отдельные главы книги.

Первая глава называется «**Язык и предметы**». Именованию предметов в широком смысле слова служит класс существительных. Автор предлагает подразделять их на природные предметы (натурфакты), предметы, созданные человеком (артефакты) и ментальные предметы (ментефакты). Последние подразделяются на чувства «любовь», понятия «настойчивость», идеи «демократия». Важное развитие П. Дурст-Андерсеном идеи Ф. де Соссюра о двусторонности языкового знака состоит в том, что план содержания в свою очередь также имеет две стороны: визуальное (billedmæssigt) и понятийное содержание (idemæssigt indhold). То есть план содержания представляет собой конгломерат перцептивной «картинки» и когнитивной «идеи», например, говоря «ребенок», мы активизируем визуальное представление о том, как типично выглядит ребенок, и одновременно идею «человек, не достигший взрослого возраста». «Картинка» в свою очередь обычно представляет собой фигуру (движущуюся или неподвижную) на определенном фоне.

Сравнивая соотношение визуальной и понятийной составляющих в именовании одних и тех же денотатов в разных языках, автор приходит к выводу, что различия системны и отражают специфический для данной языковой культуры способ восприятия мира. Так, сравнивая датский язык с французским, он замечает, что французский тяготеет к именованию более конкретного визуального содержания, а датский – более абстрактного понятийного содержания. Ср. обозначение различных видов спортивных площадок во французском, где (так же как и в русском) для каждого типа денотатов имеется специальное слово: *terrain* (de golf) «*поле* (для гольфа)», *court* (de tenis) «(теннисный) *корт*», *piste* (de patinage) «*дорожка* (для бега на коньках)». В датском языке для любого типа спортивных площадок используется обобщающее понятие соответственно: *golf**bane***, *tennis**bane***, *skøjte**bane***.

Общая закономерность именования для китайского языка состоит в том, что, по наблюдениям автора, в нем типично объединяются оба компонента смысла – визуальный и понятийный. Так, сложные и абстрактные значения, типично выражаются двусложными словами, при этом первый слог называет нечто визуальное, тогда как второй соотнесен с более абстрактным понятием, например, слово *bāokuò* «включительно» состоит из двух слогов, первый из которых обозначает конкретное действие «упаковывать», а второй – абстрактное действие «включать».

Глава вторая носит название «**Язык и ситуации**». Именованию ситуаций в широком смысле слова служат глаголы. Исходя из двойственности плана содержания, автор предлагает стройную и последовательную классификацию типов ситуаций. Ситуации подразделяются на простые (визуализируемые как одна ментальная картинка) и комплексные (две ментальные картинки). Простые ситуации в свою очередь подразделяются на два типа: состояние (картинка, где фигура стабильна) и деятельность (фигура нестабильна). Примером состояния может служить ситуация, задаваемая глаголом *сидеть*, а примером деятельности – ситуация, задаваемая глаголом *ползать*. Комплексные ситуации также подразделяются на два типа: процесс (деятельность, имеющая своей целью состояние) и событие (состояние, обусловленное деятельностью). Примером процесса может служить ситуация, задаваемая глаголом *вставать* (деятельность, результатом которой является состояние *стоять*). Примером события может служить ситуация, задаваемая глаголом *встать*.

Такие языки, как датский и английский, не имеют особых глаголов, различающих процессы и события. Датские глаголы *give*, *fortælle*, *overbevise*, *berolige*, как и соответствующие

им английские, объединяют в своей семантике сразу и деятельность, и состояние, возникающее в ее результате, то есть подразумевают сразу 'давать и дать', 'рассказывать и рассказать', 'убеждать и убедить', 'успокаивать и успокоить'. Такие глаголы П. Дурст-Андерсен называет «глаголами действия» (handlingsverber) и считает их языковыми конструктами, ментальной абстракцией, объединяющей в одном глаголе существующие в реальном мире состояния и процессы. «Славянские языки именуют только те ситуации, которые можно увидеть и потрогать, – действие же нельзя увидеть, хотя можно наблюдать процесс или событие» (с. 43). Таким образом, согласно П. Дурст-Андерсену, четыре перцептивных типа ситуации задают всего три типа когнитивных пропозиций, которым соответствуют предикаты состояния, деятельности и действия.

Предлагается стройная классификация предикатов[1] каждого из трех типов. Предикаты состояния подразделяются на: 1) предикаты локализации (*стоять*), 2) обладания (*иметь*), 3) восприятия (*видеть*) 4) качества (*бояться*). Предикаты деятельности подразделяются, соответственно, на: 1) локативно обусловленные (*ползать*), 2) посессивно обусловленные (*руководить*), 3) перцептивно обусловленные (*наблюдать*), 4) качественно обусловленные (*плакать*). Соответствующие типы выделяются и в предикатах действия.

В заключительной части главы обсуждается, как актуализируемые в том или ином языке противопоставления «состояния и деятельности», «события и процесса», «действия и не-действия» отражаются в синтаксисе языков активного, эргативного и аккузативного строя, а также в аспектуальных оппозициях, представленных в разных языках.

Глава третья **«Язык и восприятие»** посвящена сопоставлению функционирования глаголов местоположения в разных языках. Выбор глагола позволяет понять, как тот или иной языковой коллектив видит стабильную ситуацию, когда фигура стоит / лежит / сидит / висит по отношению к фону.

Так, русскому предложению с глаголом вертикальной локализации *Дом **стоит** на углу* соответствует датское *Huset **ligger** på hjørnet* с глаголом горизонтальной локализации, и английское *The house **is** at the corner*, с глаголом существования, точно так же, как глагол существования оказывается предпочтителен во французском, итальянском и испанском. Речь идет о том фокусе восприятия ситуации, который ребенок усваивает из речи взрослых. Точно так же датский и английский ребенок усваивают, что, когда человек говорит об обладании или потребности, он рассказывает о себе: ***Jeg** har en dukke*, ***Jeg** har brug for penge*, а русский ребенок, наоборот, усваивает, что, говоря о потребности или обладании, человек рассказывает не о себе: *У меня есть **кукла***, *Мне нужны **деньги***. Когда русский говорит о городе, горé, корабле, полку, цене или температуре *стоит*, а датчанин употребляет с соответствующими существительными глагол *лежит*, то объяснение этому кроется в приоритетности фокуса либо на «фигуре» (прототипически вертикальной, как человеческая фигура), как это имеет место в русском языке, либо на «фоне» (прототипически горизонтальном, как поверхность земли), как это имеет место в датском языке, тогда как английский абстрактно регистрирует существование отношения между фоном и фигурой. Сходную с русским языком стратегию именования «от фигуры к фону» автор усматривает и в китайском языке. Фокус внимания к фону в датском языке усиливается ориентацией датского языка на слушателя, поэтому для этого языка столь важна обязательная пространственная ориентация говорящего относительно слушающего, выражаемая глагольными частицами: *Hvor er du henne? – Jeg er ovre / henne / nede / oppe / inde / ude hos Peter. Ты где? – Я (напротив / рядом / внизу / наверху / внутри / снаружи) у Петера.*

Тонкое наблюдение автора заключается в том, что соотношение фокусировки на фоне и на фигуре противоположно, когда речь идет о стратегии именования (naming) и о стратегии презентации (framing). Последняя наглядно проявляется в строении инициальных предложений текста, порядке написания адресов и назывании своего полного имени при знакомстве. Во всех этих случаях русский и китайский языки строят высказывание от фона к фигуре, тогда как английский и датский – от фигуры к фону.

Глава четвертая **«Язык и когниция»** посвящена исследованию того, как языковое сознание перерабатывает визуальные стимулы. Согласно теории автора, существует три стадии переработки визуального стимула. Сначала происходит восприятие (oplevelse) определенного состояния (tilstand), затем его понимание (forståelse), реконструирующее предшествующее ему событие (begivenhed) и, наконец, воспоминание (erindring) об этом состоянии, заключающее в себе два типа со-

[1] В тексте книги автор везде говорит не о предикатах, а о глаголах, хотя реально приводит примеры предикатов, например, иллюстрацией качественно обусловленных глаголов состояния служит предикат *be afraid*, а иллюстрацией локативно обусловленных глаголов действия – предикат *walk to*.

держания: визуальное в виде ментальной «фотографии» итогового состояния и понятийное как реконструкцию произошедшего события. Эти соображения служат основой для уточнения семантики форм датского перфекта и имперфекта. Согласно П. Дурст-Андерсену, их когнитивное различие состоит в том, что формы перфекта (*har stjålet*) представляют собой воспоминание о событии, сохраненное в «актуальной памяти» (дословно на 'складе настоящего времени', nutidslager) в виде ментальной фотографии итогового состояния, тогда как формы имперфекта (*stjal*) представляют собой воспоминание о событии, сохраненное в «неактуальной памяти» (дословно на 'складе прошлого', fortidslager) в виде ментального фильма. Сравнивая датскую темпоральную систему с русской, автор подчеркивает, что датские темпоральные формы автоматически соотносятся только с событием, тогда как в русском языке одни формы соотносятся с событием (совершенный вид), а другие – с процессом (несовершенный вид).

Глава пятая «**Язык и коммуникация**» обсуждает тему межкультурной коммуникации. Сравнивая примеры перевода метонимических высказываний из газетно-публицистических и юридических текстов с английского языка на датский и русский, автор приходит к выводу, что, хотя метонимия и является универсальным стилистическим приемом, именно в русском языке в ряде случаев оказывается необходимыми более развернутые формулировки, точнее передающие реальную ситуацию. Датский и английский языки, напротив, чаще прибегают к метонимиям (типа *Буш и Блэр застряли в Ираке*), опираясь на фоновые знания адресатов. Эта же тенденция наблюдается в терминологии. Ср. дат. *Miljøministeriet* (дословно '*среда-министерство'), тогда как на русский это переводится как «Министерство защиты окружающей среды».

Обсуждение языковых ошибок, индуцированных системой родного языка при описании по-английски одних и тех же сценариев носителями датского и испанского языка, позволяет сделать ряд любопытных выводов о том, как по-разному заключается и прерывается коммуникативный контракт в датской и испанской языковой культурах. В испанском английском больше прямых императивов с оговорками, предоставляющими свободу выбора адресату. В датском английском больше косвенных побуждений. При этом в английской коммуникации датчанам явно недостает ресурса датских модальных частиц, четко маркирующих отношения между коммуникантами, а также различные типы побуждения, такие как разрешение, просьба, приказ, предложение и пр.

Глава 6 «**Язык и семиотика**» посвящена обобщению семиотических особенностей каждого из трех устанавливаемых в книге языковых супертипов. Языки, ориентированные на действительность, нацелены на вербализацию тех аспектов денотативной реальности, которые являются общими для говорящего и слушающего в силу того, что одинаково воспринимаются их зрением, слухом, обонянием, вкусом, ощущениями. Зрительно ситуация воспринимается только как протекающий перед глазами «процесс», либо как результат предшествующего процесса – «событие». Именно эта дистинкция выражается в противопоставлении несовершенного и совершенного вида, что имеет место в русском языке, китайском и хинди. При этом, по утверждению автора, ни один из названных языков не способен вербализовать такой ментальный конструкт как «действие», одновременно соединяющий в себе идею и процесса, и результата. Различие же между ними состоит в том, что для русского языка устанавливается «перфективная временная перспектива» (et perfektivt tidspersåektiv): *Он уехал в Париж* исходит из нынешнего состояния *Он в Париже* и именует способ, каковым это состояние было достигнуто. Для китайского языка, наоборот, устанавливается «имперфективная временная перспектива», когда последовательно называются те процессы, которые привели к состоянию быть в Париже: *Tā zuò fēijī qù bālì* (дословно 'Он садиться самолет путешествовать Париж'). Для имперфективной перспективы категория грамматического времени оказывается излишней.

В сфере имени для русского языка характерны падежи, а для китайского классификаторы (примерно 80). Общность их функции состоит в противопоставлении внешней и внутренней реальности. Так, русск. *Дай мне деньги* (В. п.) предполагает локальную референцию. В китайском в этом случае используется классификатор. Русск. *Дай мне денег* (Р. п.) предполагает отсутствие локальной референции, чему в китайском соответствует отсутствие классификатора. Роль говорящего в этом типе языков сравнивается с ролью «репортера», внимание которого направлено на «ситуацию», о которой он пишет «в третьем лице».

Языки, ориентированные на говорящего, нацелены на вербализацию восприятия действительности говорящим, то есть указывается, сам ли говорящий наблюдал ситуацию, или же он о ней слышал, читал, или же логически ее реконструировал. Особая роль говорящего конституируется при помощи специальной модальной категории внутри индикатива, противопоставляющей прямое и косвенное восприятие ситуации. Приводятся примеры

такого противопоставления из болгарского, грузинского, турецкого, македонского, испанского и японского языков. Роль говорящего в этом типе языков сравнивается с ролью «комментатора», внимание которого направлено на «восприятие», о котором он говорит «в первом лице».

Языки, ориентированные на слушающего, нацелены на постоянное сопоставление говорящим своего восприятия ситуации или своего воспоминания о ситуации с восприятием и воспоминанием слушающего. Для языков этого типа характерна нюансированная система грамматических времен и противопоставление определенного и неопределенного артикля. В качестве примера приводятся датский, шведский, норвежский и английский языки. Роль говорящего в этом типе языков сравнивается с ролью «информатора», внимание которого направлено на новую «информацию», которую он представляет «второму лицу».

Название главы 7 «**Разные голоса в датском и английском языке**» связано с идеей автора о том, что реально в любом языке мира присутствует ориентация на денотативную реальность, говорящего и слушающего. Однако «ведущим голосом», настраивающим грамматическую систему языка, является тот, который нормативно используется в нейтральном или официальном речевом общении. Так, «голос», ориентированный на второе лицо, является доминантным для датского языка, однако в ситуациях неформального речевого общения возрастает роль модальных частиц (*nok*, *velnok* и др.), маркирующих взгляд на ситуацию с точки зрения говорящего. Точно также ряд узуальных явлений, типа нарушения стандартного порядка слов в придаточном предложении, подчеркивает субъективный взгляд на ситуацию, ср.: *Han sagde han ikke kom i morgen* и *Han sagde han kom ikke i morgen*.

В главе обсуждаются расхождения в глагольной системе датского и английского языков, хотя оба они ориентированы на слушающего. Объяснение автор видит в различии временной перспективы. Для английского характерна имперфективная временная перспектива, когда датский отсылает к моменту коммуникации, а английский – к прошлой ситуации. Ср. реплику о старинной кукле в телепередаче: *Моя бабушка получила ее в 1894 году*, где датский язык использует норму перфекта: *Min bedstemor har fået den i konfirmationsgave i 1894*, а английский – форму простого прошедшего: *My granny got it as a gift in 1894*.

Автор подчеркивает, что для языков, ориентированных на слушателя, важно нюансированное противопоставление информации, как 1) отражающей объективный и конкретный опыт говорящего (в датском вводится особым глаголом *synes*), 2) его объективное и абстрактное знание (в датском вводится глаголом *vide*), 3) его субъективное и конкретное предположение (в датском вводится глаголом *tro*), 4) его субъективное и абстрактное мнение (в датском вводится глаголом *mene*). Эти дихотомии находят отражение в структуре грамматических категорий. Так, противопоставление конкретного опыта и абстрактного знания в датском языке грамматикализовано в противопоставлении форм синтетического и аналитического пассива: *Mange bliver fyret for tiden* '(Я вижу, что) многих сегодня увольняют', *Mange fyres for tiden* '(Я знаю, что) многих сегодня увольняют'. В английском языке это же противопоставление, по мнению автора, лежит в основе оппозиции форм прогрессивного и не-прогрессивного вида: *He is being polite* '(Я вижу, что) он вежлив', *He is polite* '(Я знаю, что) он вежливый'.

Представляется, что теория Пера Дурст-Андерсена, основанная на осмыслении влияния структуры коммуникации, а также перцептивных и когнитивных особенностей человеческого мозга на грамматическую семантику языков мира, вызовет заслуженный интерес среди отечественных лингвистов.

Д.Б. Никуличева

Сведения об авторе:

Дина Борисовна Никуличева
Институт языкознания РАН
nikoulitcheva@yandex.ru

T. Stolz, C. Stroh, A. Urdze. **Total reduplication: The areal linguistics of a potential universal.** Berlin: Akademie Verlag, 2011. 620 s.

Монография «Полная редупликация: ареальный лингвистический анализ одной потенциальной универсалии» посвящена полной точной редупликации (далее просто «полной редупликации») в языках Европы.

Работа состоит из четырех основных частей: «Подходы к изучению полной редупликации», «Полная редупликация: материал мальтийского языка», «Полная редупликация: европейская перспектива» и «Чему нас учит полная редупликация?».

В основе проблематики данной монографии лежит следующее противоречие: полная редупликация предположительно считается универсальным языковым явлениям (хотя почти ни в одной работе не была объектом специального типологического изучения), при этом попытка описать распространение полной редупликации в языках мира в рамках масштабного проекта World atlas of language structures (WALS) обнаружила целые области, где это явление, как кажется, отсутствует [Rubino 2005], причем одна из таких областей – Европа.

Причины отсутствия большого интереса к полной редупликации достаточно очевидны: во-первых, она по определению не представляла никакого интереса для многочисленных американских исследователей, моделировавших формальную морфонологию редупликации; во-вторых, она практически сливается (по крайней мере, в глазах многих лингвистов) с «прагматическими» повторами, производимыми в тексте с целью выделения и, соответственно, находящимися за границами морфологии и синтаксиса. Иными словами, полная редупликация выглядит достаточно тривиальным и неинтересным явлением с предсказуемыми формальными и семантическими свойствами. Подробный обзор литературы, представленный в монографии (с. 8–99), позволяет составить более детальное представление о том, что писали о точной редупликации и о редупликации в целом с начала XIX в. по настоящее время.

Проблему потенциальной универсальности полной редупликации для естественных языков авторы рассматривают, как уже сказано, на материале европейского ареала. Очевидно, что одна из возможных причин «белого пятна» на карте распространения редупликации – особенности грамматических традиций описания европейских языков, исключающих полную редупликацию как тривиальное или периферийное (с точки зрения норм письменных языков) явление. Точка зрения носителей (которые считают, что в их языках не представлено это «экзотическое» явление) также может быть обусловлена социолингвистическими причинами. С целью проверить эти предположения авторы предприняли объемное корпусное исследование изучаемых языков.

Корпусное исследование европейских языков построено на переводах двух литературных произведений: «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Гарри Потер и философский камень» Дж.К. Роулинг. Впечатляет набор языков, которые удалось обследовать на материале «Маленького принца»: среди них 34 идиома германской семьи и 34 идиома романской семьи, т. е. наряду с государственными и официальными языками в это множество входят и такие языковые разновидности, как аранский, бадиотский (Badiota), гарденский (Gherdëina) и т. п. При этом наиболее подробный раздел книги (с. 206–330) посвящен семитскому языку, находящемуся на самой периферии Европы, мальтийскому. Множество мальтийских текстов, использованных для анализа, было получено случайной выборкой книг и состоит примерно из 1 млн. словоформ.

Важным результатом исследования стало проведение ряда изоглосс, разделяющих Европу. Обобщая более частные изоглоссы, можно сказать, что среди европейских языков действительно есть языки, избегающие использования полной редупликации (TR-avoiders, как они называются в монографии), и языки, в которых полная редупликация распространена не меньше, чем во многих «редуплицирующих» языках Азии и Африки. Итоговой можно считать карту на с. 417, на которой Европа разделена на три зоны (ареал, в котором активно используется полная редупликация, ареал, где она почти отсутствует, и промежуточная зона). Ареал использования редупликации (вместе с промежуточной зоной) напоминает подкову (или букву U), концы которой смотрят на север. Восточный конец подковы заканчивается ненецким, удмуртским и марийским, западный – валлийским и бретонским. В нижней части ареала находятся такие языки, как венгерский, албанский, греческий, итальянский (со всеми региональными разновидностями), баскский, португальский, а также многие романские идиомы на территории Испании – валенсийский, арагонский, астурийский, каталонский (но не галисийский, эстремадурский и стандартный испанский). Европейские языки с полной редупликацией примыкают к более широкому ареалу «редуплицирующих» языков Азии и Северной Африки (об этом подробнее

на с. 521–526). Языки центральной и северной Европы почти не используют полную редупликацию. Этот ареал больше, чем «каролингский» языковой союз (Франция и Германия), предложенный в свое время Й. ван дер Ауверой, но меньше, чем так называемый «стандартный среднеевропейский» (Standard average European, SAE), см. с. 518. Промежуточная зона преимущественно состоит из славянских языков (русский, украинский, словацкий, болгарский, славянские языки бывшей Югославии), а также включает румынский и молдавский.

Таким образом, проведенное исследование опровергает не только представление о полной редупликации как о «настоящей» универсалии (германские языки Европы почти не используют эту конструкцию), но и представление о том, что она не слишком характерна для языков Европы (во многих языках Европы редупликация оказывается весьма значимым явлением).

Для большинства лингвистов наибольший интерес представляет использование полной редупликации как грамматического средства. Согласно карте на с. 563, ареал таких языков несколько у́же, чем зона активного использования полной редупликации. Например, туда не попадают романские идиомы севера Италии (фриульский и бергамский) и каталонский. Редуплицируются обычно адъюнкты; есть классы прилагательных, которые редуплицируются особенно часто (обозначающие размер, цвет, возраст и оценку, см. с. 420), во многих языках часто редуплицируются количественные числительные (с. 432). Почти никогда не редуплицируются основные аргументы глагола, имена собственные, личные местоимения, наречия и прилагательные в сравнительной степени (на с. 450 предлагается гипотеза, объясняющая редкость сравнительной степени в редупликации), указательные местоимения и служебные части речи (с. 419); в языках Западной Европы почти не редуплицируются глаголы (с. 428–432), кроме того, редупликация глагола ограничена самыми простыми глагольными формами (с. 451). В частности, редупликация может использоваться как словообразовательное средство, маркируя деривацию наречий (в частности, от прилагательных, см. с. 307–308, 422–423) или прилагательных (от существительных, с. 425; в целом про связь полной редупликации с наречной функцией см. с. 487–489). Обобщающая импликативная зависимость между редупликацией разных частей речи приведена на с. 437:

глагол / местоимение / числительное > существительное > вопросительное слово / наречие > прилагательное.

Большой объем книги (600 страниц) является особенностью, скорее всего ограничивающей круг внимательных читателей. Работа подчас кажется перегруженной необязательными деталями и соображениями. В частности, в монографии подробно рассматриваются не только надежные и нетривиальные, но и отрицательные результаты. Например, авторы решили проверить, нет ли корреляции между длиной текста и долей редупликации в текстах (с. 216–217) или между автором и конкретными редупликативными сочетаниями. Ни в том, ни в другом случае однозначной корреляции не найдено. Вполне возможно, что некоторым исследователям понадобится доступ ко всем полученным результатам, однако многим другим читателям, как кажется, важнее добраться до основных положительных результатов, минуя некоторые промежуточные пункты. Вероятно, в недалеком будущем, когда книги будут распространяться преимущественно в электронном виде, все необязательные пассажи будет легко спрятать под гиперссылками (впрочем, в бумажной книге можно было бы использовать петит).

В заключение укажем на следующую методологическую проблему. Данные о частотности полной редупликации с конкретными лексемами (см., например, с. 213) или семантическими группами лексем (с. 420–437) остаются недостаточно информативными, пока они не сопоставлены с данными по общей частотности этих лексем или групп лексем. То же касается, например, оценки частотности редуплицированных конструкций с лексемами, содержащими тяжелые консонатные кластеры (с. 439) и многие другие количественные оценки. Понятно, что такие данные практически невозможно извлекать из вручную обработанных корпусов. Однако такой подход больше соответствовал бы научным стандартам количественной лингвистики.

Вклад этой работы в теорию редупликации, пожалуй, достаточно скромный (например, критика «теории морфологического повтора» Ш. Инкелас и Ш. Золль на с. 516–517 выглядит не слишком убедительно). С другой стороны, для европейской ареальной лингвистики и для типологии редупликации монография войдет, вероятно, в набор обязательной литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Rubino 2005 – *C. Rubino*. Reduplication // M. Haspelmath, M.S. Dryer, D. Gil, B. Comrie (eds.). World atlas of language structures. Oxford, 2005. P. 114–117.

Ф.Р. Минлос

Сведения об авторе:

Филипп Робертович Минлос
Институт славяноведения РАН
f.minlos@gmail.com

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Обзор лингвистических проектов, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом в 2012 году

Настоящая работа представляет собой традиционный ежегодный обзор конференций и экспедиций, поддержанных РГНФ в прошлом году.

Конференции

Фонд научных мероприятий финансировал в 2012 г. 13 лингвистических конференций, в том числе один постоянно действующий семинар. Мероприятия приводятся в хронологическом порядке.

С 22 по 24 февраля в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН прошли Десятые Шмелёвские чтения – международная конференция, посвященная памяти выдающегося русиста академика Д.Н. Шмелёва. В этом году конференция была посвящена теме «Проблемы речевого общения», чрезвычайно интенсивно разрабатываемой в последние годы. Основная цель мероприятия – исследование активных процессов, происходящих в последнее время в литературном русском языке и в разговорной речи. Среди примерно 50 участников конференции присутствовали такие известные специалисты в области коммуникации, речевых жанров и лингвистической семантики, как Н.Н. Розанова, М.В. Китайгородская, В.В. Дементьев, Е.В. Падучева, М.Я. Гловинская, Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз, С.И. Гиндин. Конференция также способствовала научному обмену между российскими и зарубежными учеными – из иностранных лингвистов, принявших участие в работе конференции, отметим Д. Вайса (Швейцария), Р. Ратмайр (Австрия) и А. Мустайоки (Финляндия). К началу конференции вышел в свет сборник тезисов. Помимо этого, организаторы планируют издать сборник материалов конференции, который продолжит серию сборников, посвященных современному русскому языку.

С 10 по 12 мая коллектив, представляющий Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, провел конференцию «М.А. Шолохов в современном мире». Наряду с выступлениями признанных ученых-шолоховедов, среди которых российские исследователи Н.Д. Котовчихина, О.А. Давыдова, В.М. Мокиенко и их зарубежные коллеги Хуан Шицзэн (Китай), Р. Иванович (Сербия), Э. Шарфави-Хубцейнова (Словакия), С. Хънтов (Болгария), Е.С. Малеева (Австрия), Е.А. Костин (Литва), конференция включала специальные студенческие заседания. Доклады были представлены на пленарном заседании и в двух секциях – лингвистической и литературоведческой.

17 мая в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете прошел IV научный круглый стол «Исследования на стыке наук» для молодых исследователей в области лингвистики и лингводидактики. Он призван объединить молодых исследователей, интересующихся различными аспектами английского языка как системы и как средства межкультурного взаимодействия. В этом году круглый стол впервые был международным. Кроме секционных заседаний, проводились мастер-классы с участием ведущих волгоградских ученых. Круглый стол ставил перед собой не только научные, но и методические задачи: помочь молодым ученым овладеть навыками публичного выступления с использованием современных технологий.

В Томском государственном педагогическом университете была проведена VII Международная научная конференция «Русская речевая культура и текст». Организаторы представляли кафедру коммуникативной стилистики текста, и проблематика конференции находилась в сфере интересов кафедры: она включала разработку теоретических и прикладных аспектов речевого общения на основе текстовой деятельности. При этом существенно, что конференция сыграла важную роль в координации усилий исследователей-теоретиков и преподавателей русского языка и культуры речи. Кроме пленарного заседания, работали

секции «Теоретические и прикладные аспекты русской речевой культуры», «Проблемы коммуникации в дискурсе современных масс-медиа», «Поэтическая картина мира и ее отражение в слове», «Русская языковая картина мира и ее отражение в текстовой деятельности», «Проблемы обучения русской речевой культуре и текстовой деятельности в вузе и школе» и др. Конференция проходила с 16 по 18 мая. В ее работе приняли участие ученые из России, Германии, Китая, Чехии и Казахстана.

С 18 по 20 июня Институт лингвистических исследований РАН провел традиционную конференцию «Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVI (Чтения памяти проф. И.М. Тронского)». На ней обсуждались проблемы индоевропейской реконструкции, филологического анализа текстов на древних языках и проблемы языковой ситуации в различных регионах античного мира. Материалы конференции включены в список ВАК РФ. Наряду с признанными учеными (Н.Н. Казанский, Н.В. Брагинская) в конференции принимали участие аспиранты и студенты. Кроме пленарных заседаний, работали секции, посвященные классической филологии и исследованиям индоевропейских текстов и проблемам лексикологии.

В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге с 7 по 11 сентября прошла Международная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология». Проблема конференции была связана с лингвистическими дисциплинами, в центре внимания которых – языковая диахрония и народная языковая традиция. Основная задача этих областей – реконструкция народной языковой картины мира. Одной из задач конференции стала организация диалога между лингвистами, работающими в данных областях, при этом около 30% участников составляли молодые ученые. Среди собравшихся – такие известные исследователи, как С.М. Толстая, Ж.Ж. Варбот, Е.Л. Березович, Г.Е. Крейдлин и др.

С 19 по 21 сентября в Ставропольском государственном университете прошла конференция «Лингвистическая экология: сохранение исчезающих языков». В современном обществе существует жесткая оппозиция русского литературного языка всем другим идиомам. В сознании людей литературный язык является автономным от других разновидностей и универсальным, а значение прочих идиомов (в частности, диалектов) принижается. В сентябре 2012 г. исполняется 50 лет со дня возвращения на Ставрополье казаков-некрасовцев – особой группы с самобытными этнолингвистическими характеристиками. В конференции приняли участие ведущие специалисты по диалектам и исчезающим языкам: Л.Л. Касаткин, Н.Б. Вахтин, Е.В. Головко, С.Е. Никитина, О.А. Казакевич, О.Г. Ровнова.

В Институте лингвистических исследований РАН с 27 по 30 сентября проводилась международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Агнии Васильевны Десницкой. А.В. Десницкая была не только основательницей нового направления в российской науке – албановедения, но и внесла важный вклад в исследования балканских, германских языков и изучение языков индоевропейской семьи в целом. В число приглашенных докладчиков входят российские ученые-балканисты и албанисты: А.Ю. Русаков, Ю.А. Лопашов, Л.А. Артемьева и др. – и их коллеги из Албании (Э. Хиса, И. Метани), Италии (Н. Скальдаферри, А. Бериша), Болгарии (П. Асенова), Франции (Р. Пернаска), Молдовы (М.А. Габинский), Румынии (К. Ваташеску, Н.С. Танашоца), США (В. Фридман).

В те же сроки, с 27 по 28 сентября, в Таганрогском государственном педагогическом институте имени А.П. Чехова была организована Всероссийская межвузовская конференция «Речь. Речевая деятельность. Текст», посвященная памяти проф. Г.Г. Инфантовой – основательницы научной школы изучения устной и письменной речи взрослых и детей младшего школьного возраста. В центре внимания участников – изменения в языке как системе, речи как ее реализации, устной и письменной речи и их разновидностях. На конференции работали 8 секций, среди которых «Современная русская речь», «Слово в языке и тексте», «Синтаксис: структура, семантика, функции» и пр.

В Санкт-Петербурге (с 5 по 8 октября) учебно-издательский центр «Златоуст» провел Международную научную конференцию «Проблемы формирования сбалансированного билингвизма». В центре внимания конференции находился анализ связей языковой и образовательной политики, соотношение европейского и российского подходов к многоязычию, тестирование коммуникативной компетенции билингвов, развитие национальных школ для мигрантов и диаспор в России и русском зарубежье, преподавание государственного языка в полиэтничной среде, уровни языковой компетенции. К началу конференции издан сборник тезисов. В работе приняли участие ведущие ученые-лингвисты и методисты России, Франции, Швейцарии, Финляндии, Нидерландов, Канады, Эстонии,

Латвии, Литвы, Великобритании и Германии. Один из организаторов конференции – крупнейший специалист в области билингвизма Е.А. Протасова.

В Армавирской государственной педагогической академии с 17 по 20 октября прошла международная конференция «Актуальные проблемы культуры современной русской речи». В число исследуемых вопросов и проблем вошли стилистическая вариантность, динамика и причина эволюции современной литературной нормы, жанровое разнообразие устной и письменной речи, методика преподавания культуры речи и риторики, пути решения международной программы «Лингвистическое образование» и др.

В 2012 г. исполнилось 200 лет со дня рождения публициста и мыслителя А.И. Герцена. К этой дате было приурочено проведение с 14 по 16 ноября Всероссийской научной конференции «Слово. Словарь. Словесность» в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). В ее работе приняли участие известные лингвисты из ИЛИ РАН и ведущих вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Пскова, Оренбурга, Саратова и других городов. Проведено пленарное заседание «А.И. Герцен – писатель и просветитель» и семь секций («Русистика в Герценовском университете», «Динамика русской языковой нормы», «Язык писателя и писательская лексикография», «Язык русского зарубежья», «История русского литературного языка и современная лексикография», «Актуальные проблемы исследования текста», «Язык и культура народа: проблемы языкового образования»). Кроме того, в программу вошел круглый стол «Актуальные проблемы подготовки студента-филолога: научное наследие, традиции, современные тенденции».

К сожалению, в 2012 г. практически не было поддержанных заявок на постоянно действующие научные семинары. Единственным исключением оказался семинар «Проблемы библейского перевода» (рук. Е.В. Челышев). Этот семинар продолжил традицию семинаров и конференций, проводимых Институтом перевода Библии совместно с РАН, начиная с 1994 г. Сам научный семинар существует с 2007 г. Тема 2012 года – перевод ветхозаветных книг Премудрости, отражающих мировосприятие древнего Ближнего востока и в то же время оказавших большое влияние на европейскую литературу, философию и богословие. В семинаре принимали участие ученые и переводчики из разных регионов России. Среди основных вопросов – «Место книг Премудрости в библейском каноне, интертекстуальные связи»; «Многозначность и игра слов в книгах Премудрости и возможность их перевода на современные языки», «Ветхозаветные книги Премудрости и кораническая традиция» и др. В число постоянных участников семинара вошли 56 человек, представляющих различные институты и области исследования.

Нужно отметить, что, к сожалению, не все направления лингвистики (даже русистики) оказались представлены среди поддержанных заявок в равной мере. Это создало опасность, что подобный дисбаланс будет наблюдаться и в российской лингвистической науке. Во-первых, поддержанные конференции посвящены почти исключительно русскому языку (что, возможно, отражает общую тенденцию развития лингвистики в России, однако хотелось бы видеть больше конференций на темы типологии и общего языкознания). Исключение составили конференции «Индоевропейское языкознание и классическая филология» и отчасти – конференция памяти А.В. Десницкой. Не случайно, что оба мероприятия принимал Санкт-Петербургский Институт лингвистических исследований, славящийся традициями сравнительного изучения языков. Во-вторых, только эти две конференции, причем конференция памяти А.В. Десницкой – даже в большей мере, были посвящены грамматической тематике. Это несколько странно в свете того, насколько бурно развиваются грамматические исследования в мировой лингвистике.

Лингвистические экспедиции

В 2012 г. Российским государственным гуманитарным фондом поддержано 11 экспедиционных проектов в области лингвистики, некоторые из которых уже стали традиционными. Шесть из них посвящено документации диалектов и говоров русского языка, пять – другим языкам (работа над двумя из проектов этой группы была организована на территории КНР и Таджикистана, остальные экспедиции проводились внутри России).

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова провел экспедицию на тему «Диалектная лексика в языке культурного ландшафта Костромского поволжья». Исследоваться должны были диалекты Костромской области, распространенные на побережье Волги и ее притоков – Костромы и Унжи. В результате были записаны говоры восьми районов. Итогом должно было стать не только составление четырех диалектных тематических словарей по темам «Рельеф местности», «Лес», «Ювелирный промысел»,

«Топонимика», но и составление корпуса-хрестоматии данных диалектов.

Близкую по целям экспедицию «Полевые (экспедиционные) исследования лексики русских народных говоров для лексического атласа русских народных говоров» организовал С.А. Мызников (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург). Эта экспедиция является традиционной и также нацелена на исследование лексики. В прошлом году участники планировали собрать данные о темах «Природа», «Растительный мир», «Человек», «Трудовая культура». Исследование охватывало 19 районов Ульяновской области.

Еще один диалектологический проект – программа экспедиций, организуемая в Институте русского языка РАН под рук. Л.Л. Касаткина. Она уже много лет является самым крупным диалектологическим проектом на территории России и играет ведущую роль в документации русских говоров, постепенно исчезающих под влиянием литературного языка. Так, в 2012 г. состоялись выезды в Старооскольский район Белгородской области, Рязанский район Рязанской области, Цимлянский и Волгодонский районы Ростовской области, Липецкую и Вологодскую области. Однако интересы участников связаны и с говорами ближнего зарубежья – Эстонии, Украины и Казахстана. Были проработаны большие объемы текстов, что позволило составить представления обо всех уровнях организации языка: лексике, синтаксисе, морфологии и, конечно, фонетике.

Из предыдущего проекта в какой-то степени вырос и еще один – комплексная экспедиция «Язык, певческая культура, экономическая деятельность старообрядцев Южной Америки (Бразилия, Аргентина)» под рук. О.Г. Ровновой. Говоры русской эмиграции имеют свою специфику, в частности, важно изучить влияние на говоры старообрядцев испанского языка. Помимо собственно лингвистической проблематики, экспедиция ставила целью создать базу фото- и видеоданных о жизни старообрядцев в Южной Америке.

Еще два проекта стоят несколько в стороне от общей диалектологической перспективы. Один из них – «Ономастическая перепись смоленского края: русско-белорусское пограничье», работа над которым велась в Смоленском государственном университете под рук. Н.А. Максимчук. В центре внимания здесь была не лексика или грамматика в целом, а сравнительная узкая область лексики – собственные имена. Это повлияло и на специфику экспедиции, которая является не только лингвистической, но и культурологической. Привлекая знания жителей южных районов Смоленской области, учителей, студентов, библиотекарей, исследователи выявили отражение истории и культуры региона в названиях. В более далекой перспективе ставится модная в современной лингвистике задача – реконструкция языковой личности местного жителя.

Последний проект, посвященный русскому языку, отличается от прочих прежде всего по языковому материалу. А.А. Кибрик, М.Б. Бергельсон и их группа уже около 15 лет исследуют языковое наследие Аляски. Экспедиции уже показали свою ценность, причем как для исследования русского языка в иноязычном окружении, так и для исследования местных языков. В 2012 г. у экспедиции было три направления: 1) русский язык на Аляске в XIX в. и до наших дней; 2) полевое исследование русских заимствований в местных языках, в топонимике и ономастике; 3) применение церковнославянского языка в церковной практике православных Аляски.

Теперь осветим проекты, связанные с изучением других языков. Проект «"Дом" в культуре народов Памира (по данным полевых материалов)» под рук. В.Б. Иванова (Институт языкознания РАН) посвящен фиксации описания традиционного жилища в малых памирских языках. Планировалось привлекать шугнанский, бартангский, рошорвский, сарыкольский языки и сопоставлять их данные с более крупными соседними идиомами: язгулямским, ваханским, ишкашимским, сангличским, таджикским языками и зебакским диалектом языка дари. Итогом стало составление словников, посвященных жилищу и сгруппированных по главам, например, «Рельеф местности для строительства дома», «Усадьба, организация жилого пространства» и т. д.

Традиционно в центре исследований языков России находятся группы из МГУ. В 2012 г. от МГУ поддержано два проекта. В Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ под рук. О.А. Казакевич организована экспедиция к тазовским селькупам в Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект посвящен наречиям селькупского языка: в частности, разновидностям среднетазовского и верхнетазовсского наречия (так, были записаны говоры поселков Нижняя Толька и Ратта, принадлежащие к верхнетазовскому наречию, но различающиеся по некоторым параметрам). Проект является традиционным, в частности, уже 16 лет назад (1996 г.) были записаны первые материалы в поселке Нижняя Толька, 10 лет назад (2002 г.) – в поселке Рат-

та. Помимо языковых сведений, собрана социолингвистическая информация о носителях разных наречий. Проект данной группы важен прежде всего потому, что многие из исследуемых языков и наречий находятся на грани исчезновения.

На несколько иную перспективу направлена комплексная экспедиция по сбору данных уральских и алтайских языков под рук. А.Е. Кибрика. На ОТиПЛе МГУ уже много лет каждый год организуется несколько экспедиций к носителям разных языков России, и данные этих экспедиций легли в основу многих грамматических описаний, выполненных в русле современной типологии и описательной лингвистики. В 2012 г. собраны данные хантыйского, татарского, коми ижемского языков. Среди грамматических тем, которым уделено особое внимание, – анафора, типы глагольных категорий, организация сложного предложения. Кроме того, в прошлом году участники экспедиций небольшими группами выезжали в различные районы распространения хантыйского и коми языков, чтобы документировать степень их диалектного варьирования.

Экспедиция под рук. А.Р. Тазрановой (Институт филологии Сибирского отделения РАН) имеет более узкую проблематику – в ней изучался теленгитский диалект алтайского языка. Этот диалект описывался только в очень старых работах и составляет своего рода белое пятно среди хорошо изученных тюркских языков. Предполагалось не только собрать информацию обо всех уровнях языка, но и наметить план будущего учебного пособия по этому диалекту.

Наконец, экспедиция под рук. Н.Г. Очировой в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР изучала языковые и этнодемографические особенности ойратов (калмыков), ушедших в 1771 г. с берегов Волги в Китай. В отличие от предыдущей, эта экспедиция выходит за пределы чисто лингвистической проблематики, также исследованы аспекты хозяйственной, культурной и социальной жизни калмыков. При этом результаты экспедиции опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник КИГИ РАН».

Обращает на себя внимание тот факт, что среди поддержанных экспедиционных проектов большинство посвящено русской диалектологии. При всей важности этой области вызывает недоумение отсутствие проектов по некоторым группам языков России (в частности, по кавказским языкам, которые до сих пор описаны неравномерно). В то же время радует, что многие другие группы и семьи: монгольская (калмыцкий), финно-угорская (коми), тюркская (татарский, алтайский) и др. – оказались представлены.

Наконец, безусловно, хотелось бы видеть среди экспедиций такие, где исследовались бы языки далеких от России регионов, в особенности Южной и Северной Америки (поддержанные экспедиции в Америку исследуют именно местные разновидности русского языка). Поддержка таких проектов помогла бы российским ученым расширить выборку исследуемых языков.

А.Б. Летучий

Сведения об авторе:

Александр Борисович Летучий
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
alexander.letuchiy@gmail.com

Международная научная конференция «Русский язык: функционирование и развитие»

Международная научная конференция проходила в Казани 18–21 апреля 2012 г. Организованная кафедрой истории русского языка и славянского языкознания Института филологии и искусств КФУ, она была посвящена 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора университета Виталия Михайловича Маркова (1927–2010). В работе конференции приняли участие представители 20 вузов и научных центров России, Германии, Италии и Чехии.

Во вступительном слове проректор университета Р.Г. Минзарипов охарактеризовал В.М. Маркова как выдающегося ученого, создавшего в Казанском университете научную школу исторической лингвистики, известную не только в стране, но и за рубежом, явившуюся достойной преемницей славных традиций всемирно известной Казанской лингвистической школы И.А. Бодуэна де Куртенэ.

Участников конференции приветствовали: почетный доктор Казанского университета В. Лефельдт (Германия), Дж. Дзиффер (Италия), Т. Дайбер (Германия), М.В. Шульга (Москва), К.А. Максимович (Москва).

На первом пленарном заседании с докладом «В.М. Марков – ученый, учитель, человек» выступил один из первых его учеников

Г.А. Николаев (Казань). Отличительной чертой научного творчества В.М. Маркова, отметил докладчик, являлось умение находить актуальную проблему и решать ее незаурядно, неординарно, аргументированно. Его работы остро полемичны. Он всегда брался за решение наиболее острых или «запущенных» проблем историко-лингвистической науки, а нередко за пересмотр «само собой разумеющихся истин», показывая в своих исследованиях, что истины эти далеко не аксиоматичны и что языкознание сильно страдает от их обилия. Список научных достижений В.М. Маркова внушителен. Ученый открыл причину падения редуцированных гласных в русском языке, развил теорию вставочной гласности, протекавшей в древнерусском языке по законам прогрессивной ассимиляции, доказал древность второго полногласия и параллелизм его истории с первым полногласием. Он создал концепцию исторического словообразования русского языка, обогатил теорию словопроизводства, доказав наличие в системе словообразования нулевых и конфиксальных морфем и разработав новое понимание семантического способа словопроизводства в его взаимосвязи и взаимодействии с морфемным (морфологическим). В.М. Марков фактически пересмотрел всю историю именного склонения русского языка и создал свою концепцию исторической морфологии имени. Особой заслугой В.М. Маркова является создание им новой историко-лингвистической дисциплины – грамматической лексикологии, рассматривающей грамматическую историю слова в связи с его лексической историей.

В. Лефельдт (Германия) в докладе «Карл Фридрих Гаусс и его занятия русским языком и русской литературой» говорил о постоянном интересе выдающегося немецкого математика к языку, на котором были сделаны открытия по неевклидовой геометрии его современником и коллегой – профессором Казанского университета Н.И. Лобачевским. При составлении таблиц по русскому языку Гаусс последовательно соблюдал принцип обратного алфавитного порядка, став фактически автором и изобретателем первого обратного словника русского языка.

Принципам лингвистического исследования «Слова о Законе и Благодати» посвятил доклад Дж. Дзиффер (Италия), наметив основными зонами исследовательского внимания лексику, синтаксис и стиль произведения.

В докладе Т. Дайбера (Германия) речь шла о способах передачи греческого оптатива в переводах на церковнославянский язык. Были представлены разные модели перевода, наиболее продуктивной среди которых была модель с побудительной частицей *да*.

Доктор физико-математических наук В.Д. Соловьев (Казань) уделил в докладе внимание статистическим методам анализа диахронических корпусов текстов как инструменту исследования языковой динамики.

Дальнейшая работа конференции проходила по четырем секциям. В их основу были положены те разделы науки о русском языке, которые связаны с научно-творческими интересами В.М. Маркова. На секционных заседаниях было заслушано 46 докладов.

На секции **«Язык и письмо древнерусских памятников»** было представлено 10 докладов, в которых рассматривались проблемы исторической морфологии, лексики, словообразования, стилистики, текстологии на материале письменных памятников различных по жанрам, времени и месту написания.

В докладе В.А. Баранова (Ижевск) «Корпус языка М.В. Ломоносова», идейно связанном с пленарным докладом В.Д. Соловьева, показана работа коллектива лингвистов и программистов Ижевского государственного технического университета, при участии сотрудников Казанского университета, над созданием корпуса произведений М.В. Ломоносова на портале «Манускрипт» в целях дальнейшей работы над грамматическим словарем языка Ломоносова.

И.В. Ерофеева (Казань) в докладе «Реализация стилистических возможностей языковой системы в фактах словообразовательной синонимии» на материале отглагольных имен действия с нулевым суффиксом и суффиксом *-(е)ние*, отмеченных в летописном языке, рассмотрела роль словообразовательной синонимии в организации жанрово-стилистических особенностей древнерусского текста.

Проблемы исторического словообразования и стилистики обсуждались и в других докладах секции. Н.Г. Николаева (Казань) в докладе «Образования нулевой суффиксации в разновременных церковнославянских переводах “Богословия” Иоанна Дамаскина» связала эти вопросы с проблемой диахронии текста. Образования нулевой суффиксации представлены в докладе как специфическая особенность перевода Иоанна экзарха Болгарского, выступавшая и в других разновременных переводах «Богословия» Иоанна Дамаскина в качестве приметы данного текста. Случаи замены этих имен на иносуффиксные образования автор объясняет разрушением семантического синкретизма, с которым были связаны образования нулевой суффиксации.

Доклад М.О. Новак (Казань) «Реакции на греческие словосложения в древнеславянском Апостоле» продолжает словообразовательную тематику. Автор рассматривает особенности

заимствования и калькирования греческих композит в разновременных версиях перевода Апостола, а также случаи перевода сложных слов посредством славянских словосочетаний, характерные для списков преславской школы.

В докладе Л.Ф. Килиной (Ижевск) «О функционировании причастий в летописных фрагментах, отличающихся жанрово-стилевой характеристикой» была предпринята попытка дать типологию фрагментов летописи (как разностильного памятника), отличающихся содержательными и жанрово-стилевыми особенностями. Языковым основанием этой типологии явилось употребление причастных форм. Установлено, что действительные причастия преобладают в воинском, документирующем и агиографическом типе повествования; страдательные причастия – во фрагментах делового характера. Такое распределение связано со спецификой содержания этих жанрово-стилевых типов.

Два доклада были посвящены исторической лингвотекстологии. К.А. Максимович (Москва) в докладе «Проблемы лингвистического изучения русско-византийских договоров X в.» рассмотрел под критическим углом зрения историю изучения российскими учеными трех договоров, помещенных в «Повести временных лет», и высказал свою точку зрения по этому вопросу. О.С. Паймина (Казань) выступила с докладом «Троицкий сборник XII–XIII вв. как апограф Пандектов Антиоха XI в.». На основании языковых и текстологических данных автор доказывает, что между этими двумя памятниками действительно существуют отношения апограф-антиграф. Наличие большого числа вариативных форм между двумя памятниками может свидетельствовать о возможности существования еще одного антиграфа.

А.Ю. Никитина (Чебоксары) в докладе «Языковая личность Екатерины II сквозь призму ее письменного наследия» решала выдвинутую проблему с учетом особенностей сознания и мышления императрицы, то есть с опорой на когнитивный уровень. В докладе выявлены особенности языка и стиля художественных и эпистолярных произведений Екатерины II.

В докладе В.Д. Петровой (Чебоксары) «Особенности употребления перфекта в "Житии Стефана Пермского" Епифания Премудрого» делается заключение, что особенности использования перфекта в памятнике говорят о следовании древнерусской книжной традиции, а не о зависимости от среднеболгарских образцов.

Доклад Ю.В. Смирновой (Москва) «Отказные книги Арзамасского уезда как источник для реконструкции фонетических особенностей местных говоров XVII века» был посвящен проблемам исторической диалектологии. Неоднородность с диалектной точки зрения русского населения, сложившаяся в конце XVI в. в связи с колонизацией края, отражена в языке отказных книг в системе вокализма и консонантизма.

На секции **«Грамматическая система русского и других славянских языков»** было заслушано 14 докладов.

М.В. Шульга (Москва) в докладе «Закономерности в развитии именной морфологической системы, общие для разных славянских языков» основное внимание уделила истории формирования множественной парадигмы в славянских языках. Докладчица пришла к выводу, что, несмотря на различия в развитии множественной парадигмы в разных славянских языках, можно «говорить об общих закономерностях и тенденциях развития морфологической системы славянского имени на протяжении всего исторического периода, практически о единой модели. Различия между разными языками в путях и средствах реализации языковой модели принципиально не отличаются от локальных (диалектных) или стилистических различий в пределах одного языка».

Проблеме морфологической адаптации заимствований был посвящен доклад Г.Х. Гилазетдиновой (Казань) «Особенности склонения восточных слов в языке старорусского периода (XVI–XVII вв.)». Определяющим фактором включения в грамматическую систему русского языка восточных заимствований, основу которых составляли имена существительные, по мнению автора доклада, являлся структурный (финаль заимствования). На этом основании существительные с финальным гласным *-и*, отнесенные по значению в группу слов мужского рода (*бакши* 'учитель', *бичечи* 'писарь' и т. п.), остались несклоняемыми.

В выступлении А.С. Кулевой (Москва) «Атрибутивное употребление кратких прилагательных в языке художественной литературы» основное внимание уделено «усеченным прилагательным». Уточнен состав этой категории слов, отмечено их употребление в разных регистрах текста, не только поэтического, но и прозаического. Последнее ставит под сомнение справедливость тезиса о версификационной роли усеченных прилагательных.

И.Ю. Гранева (Нижний Новгород) в докладе «Местоимения *мы* и *вы* во вторичных референциальных употреблениях» устанавливает типы референциального употребления данных местоимений в современном русском языке, сконцентрировав свое внимание на описании основных прагматических и коммуникативных условий их вторичных референциальных употреблений.

В докладе «Система служебных слов в грамматике и текстах XVII–XVIII вв.» Н.В. Николенкова (Москва), аргументированно опровергая мнение В.М. Живова об отсутствии «новых общелингвистических идей у первых кодификаторов русского языка», приводит описание служебных слов в грамматиках начала XVIII века Ф. Максимова и И. Иконника. Оба грамматиста имели свои подходы к описанию служебных слов. Но, оставаясь в рамках традиции, они смогли реализовать свои лингвистические идеи (сопоставление церковнославянских средств с собственно русскими разговорными, наблюдения за характером употребления этих слов в церковнославянском тексте и разговорной речи и др.).

Несколько докладов было посвящено морфологии глагола: Л.Р. Валеева (Казань) «Бесприставочные глаголы типа *сиживать*, *хаживать* и категория субъективной оценки русского глагола», Е.И. Колосова (Казань) «Семантическая дифференциация глагольных форм в русском языке», А.Ф. Сагитова (Казань) «Стилистическая дифференциация вариантов с *-о-* и *-а-* в корнях вторичных имперфективов в современном русском языке», И.Б. Серебряная (Казань) «Русская лингвистическая аксиография и грамматическая история слов (к истории глаголов *старить* и *стариться*)». Все эти доклады связаны с идеями В.М. Маркова. Ученый, исследуя языковую специфику глаголов на *-ану-* типа *сказануть*, *стукануть* и т. п., первым высказал мнение о субъективной оценке в глаголе [Марков 2001: 84] (доклады Л.Р. Валеевой и А.Ф. Сагитовой). Им же был открыт раздел грамматической лексикологии, идеи которой воплощены в докладах Е.И. Колосовой и И.Б. Серебряной.

Формированию и закреплению категории состояния в древнерусском и старочешском языках (на материале «Повести временных лет» и «Далимиловой хроники») было посвящено выступление О.Г. Ушаковой (Чехия) «К грамматической характеристике слов категории состояния в сопоставительном аспекте (на примере русского и чешского языков)». Автор утверждает, что становление категории состояния в родственных языках представляется закономерным результатом развития их грамматических систем.

В выступлении «К вопросу о грамматической характеристике форм на *-ьн(о)* в древнерусском языке (на материале летописных и евангельских текстов)» Р.А. Аникина (Ижевск) представила результаты анализа синтаксической функции образований на *-ьн(о)* и попытки выявления их частеречной принадлежности в евангельских и летописных текстах. Главной особенностью формирования наречных форм на *-ьн(о)* явился процесс переориентации приименного определителя именной формы в приглагольный определитель.

Художественный текст явился объектом исследования Г.А. Хайрутдиновой (Казань) «Эстетические ресурсы морфологических единиц (на материале произведений Е. Шварца)». Автор доклада считает, что морфологические средства языка в аспекте их эстетической реализации необходимо изучать с учетом важнейших особенностей самой морфологической подсистемы. Анализ языковых единиц в аспекте их эстетического потенциала позволит выявить существенные черты художественного творчества и индивидуального стиля писателя.

О возвращении жанра молитвы в современную культуру и, прежде всего, в художественную литературу говорила в своем докладе «Функционирование жанра "молитва" в художественном тексте» С.Д. Зливко (Ижевск). Удачным примером такого жанра автор считает поэму Д.И. Стахеева «Ныне отпущаеши».

14 докладов было заслушано на секции «**Словообразование**».

Заседание секции открылось выступлением О.Л. Ариской (Саранск) «Учение о словообразовании русского языка в грамматиках XVIII в.». Поскольку, по мнению автора доклада, словообразовательная наука создавалась в основном усилиями российских ученых, одной из задач современных исследователей являлось показать русский приоритет в этом разделе знания, начиная с первых русских грамматик. В докладе рассмотрены понятия словообразования и морфемики, введенные в науку В. Адодуровым, М. Ломоносовым, Н. Кургановым, А. Барсовым и др.

Т.Г. Бочина (Казань) в докладе «Словообразовательные средства создания антитезы в русских пословицах и поговорках» выделяет такие факты, как словообразовательная антонимия (префиксальная и конфиксальная), неантонимичные слова одного словообразовательного гнезда, считая, что деривационные отношения в пределах словообразовательного гнезда «являются связующим звеном между лексико-семантическим и логико-семиотическим планами пословиц, одним из способов их соединения».

В выступлении О.А. Горбань (Волгоград) «Смысловая структура производящего глагола как фактор морфемного словообразования в древнерусском языке (на материале глагола *служити*)» рассматривается влияние семантических процессов в производящем слове (семантическая модуляция или деривация) на структурные и смысловые параметры производных слов, возникающих в процессе

морфемного словопроизводства на основе данного слова. Делается заключение, что «лексические значения производных соотносятся со значениями производящего более последовательно» при модуляционных семантических изменениях производящего. С изменением категориальной семантики производящего при семантической деривации такая соотнесенность ослабевает.

О.И. Дмитриева (Саратов) в докладе «Исследование динамики словообразовательных процессов: традиции, новации, перспективы» обосновывает важность синхронно-диахронного исследования словообразовательных явлений и определяет задачи такого подхода: уточнение и определение единиц описания, создание полного и обобщающего описания конкретного языкового материала, выработка принципов его описания. Среди последних главными являются принцип системности и принцип комплексного и многоаспектного анализа, способствующего «выявлению основных тенденций словообразовательной динамики».

В.Н. Калиновская (Санкт-Петербург) выступила с докладом «К проблеме отражения семантической деривации в историческом "Словаре русского языка XIX века"», в котором указала на сложность передачи в словаре фактов, связанных с семантической деривацией, конечным результатом которой может быть слово-омоним или лексико-семантический вариант. На примерах перехода относительных прилагательных в разряд качественных автор показывает решение «концептуальной проблемы репрезентации в конкретном словарном проекте идеи языкового развития».

Близким по теме к предыдущему докладу было выступление М.А. Харламовой (Омск) «О подаче семантических дериватов в диалектном словаре нового типа». Но докладчица решает эту проблему с иных позиций. Она является сторонником признания семантической деривации словообразованием. Перед автором стоит проблема отражения соответствующего материала в словаре. Важнейшим условием успешного решения лексикографических задач, считает докладчица, является осмысление теоретических и практических вопросов семантического словообразования.

Семантическому словообразованию посвящен и доклад Е.А. Ждановой (Ижевск) «Семантический способ словообразования в русских говорах Удмуртии». Автор придерживается той же точки зрения на семантическое словообразование, что и предыдущий докладчик. На конкретных примерах разбираются случаи семантического словообразования в русских говорах Удмуртского края. При исследовании семантического словообразования в диалектном языке, считает автор, значимым оказывается территориальный фактор, так как говор каждой местности представляет собой своеобразную микросистему со своими языковыми характеристиками. Слово в присущем ему значении будет лексической особенностью диалектного языка данной местности, при этом оно может иметь омонимы в соседних говорах и литературном языке.

Диалектному словообразованию был посвящен доклад М.А. Родиной (Тула) «Словообразовательные черты говора села Апухтина Одоевского района Тульской области: приставочные глаголы». Указав, что большинство диалектных производных глаголов не противоречит словообразовательной системе литературного языка, они представляют при этом «более богатые морфемно-словообразовательные возможности и более выпукло отражают мировосприятие носителей языка».

Словообразовательные явления в лингвокультурологическом аспекте рассматривались в докладах И.Д. Гариповой (Казань), исследовавшей этимологические гнезда глаголов *видеть / смотреть* в русском языке, а также В.Г. Фатхутдиновой и А.И. Аликберовой (Казань) «Лексико-словообразовательные гнезда русских имен числительных как источники лингвокультурологической информации». Положения, выдвинутые в докладах, сопровождаются анализом большого фактического материала, не оставляющего сомнений в достоверности этих идей.

А.И. Ольховская (Москва) в докладе «Единицы с модификационным словообразовательным значением в лексикографическом рассмотрении», отметив непоследовательное отношение в толковых словарях к производным словам с модификационными значениями, предлагает упорядочить списки таких слов, которые должны быть отражены в словарях или опущены в них, а также провести «тщательные исследования по построению четких ономасиологических структур для разных частей речи» и представить «лексикографические решения для словарей конкретной адресации».

Д.А. Осильбекова (Москва) в выступлении «Полисемия производных существительных и полисемия суффиксов» выделяет два типа полисемии в сфере субстантивного словообразования: инвариантную и ассоциативную. Инвариантная полисемия характерна для производных с общепредметным значением, вариантами которого являются значения 'лицо', 'животное', 'предмет', образующие семантические подтипы словообразовательных типов. Ассоциативная полисемия свойственна

словам с отвлеченными значениями действия или признака, которые могут получать конкретизированные (предметные) значения по метонимической ассоциации. В докладе приводятся многочисленные примеры в подтверждение идеи автора.

В докладе О.А. Пацюковой (Нижний Новгород) «Протяженные суффиксы как результат языкового развития» автор обращается к теории переразложения И.А. Бодуэна де Куртенэ, рассматривая формирование вторичных суффиксальных морфем в русском языке. Вскрываются причины морфемного переразложения, очерчивается круг сложных («протяженных») суффиксов и выделяются три этапа в становлении этих суффиксальных морфем. Процессы появления новых словообразовательных средств в языке (протяженных суффиксов) свидетельствует о развитии словообразовательной системы русского языка и неисчерпаемости его ресурсов.

Секция «**Лексикология**». На заседании секции заслушано пять докладов. Тематика их разнообразна – от отдельных частных проблем лексикографии до сравнительного изучения ядерной лексики славянских языков.

Заседание секции открыл доклад А.Н. Ерёмина (Калуга) «Семантика конкретно-предметных имен и подача ее в толковом словаре». Описывая характер подачи названий рыб в толковых словарях, автор выступает за использование при этой подачи энциклопедических данных.

В выступлении В.П. Киржаевой (Саранск) «История лексических гапаксов "Повести временных лет"» рассматривается этимология, семантика и история двух лексических гапаксов из летописной статьи о мести Ольги – *перегъбъ* и *сустугъ*. Автор разбирает различные точки зрения по поднятому вопросу и приводит свои аргументы в пользу предложенного толкования.

Е.В. Маринова (Нижний Новгород) в докладе «Особенности формальной адаптации иноязычных слов на современном этапе (на материале русского языка)» обратила внимание на новые черты в рассматриваемом процессе, в частности в сфере транскрипции и транслитерации заимствованных слов. Большое место в докладе было отведено проблеме варьирования при формальной адаптации иноязычных слов. Значительное число вариантов, по мнению автора, свидетельствует об активности освоения нового слова на чужой почве, «частоте употребления его в речи разными носителями языка».

В докладе И.А. Меркуловой (Воронеж) «Лексическое ядро русского языка на фоне лексики близкородственных языков» предлагаются принципы определения параметров слова для включения его в состав лексического ядра языка и дальнейшего сопоставления ядерной лексики разных родственных (в данном случае – славянских) языков для выяснения степени их близости. Выявленная таким образом восточно-южнославянская языковая близость имеет исторические основания, а именно «двуприродность русского литературного языка и преемственность (через церковнославянский) со старославянским языком».

И.Н. Фёдорова (Чебоксары) в докладе «Латинские заимствования в "Словаре Академии Российской"» рассмотрела латинизмы, включенные в словарь, на фоне действия двух противоположных тенденций при составлении словаря: языковой пуризм и потребность в терминологии (чаще иноязычной) в связи с развитием науки и промышленности. О расширении сферы употребления латинизмов в русском языке говорит возникновение на их основе словообразовательных гнезд.

Заключительное пленарное заседание конференции имело мемориальный характер и было целиком посвящено научному творчеству В.М. Маркова и развитию идей ученого в наши дни.

С докладом о проблемах истории языка в трудах В.М. Маркова выступила Л.Р. Абдулхакова (Казань). Она отметила, что «внимание и бережное отношение к языковым фактам, разносторонний комплексный подход к их осмыслению с учетом непрерывности происходящих в процессе функционирования языка изменений <...> – важнейшие составляющие марковского метода изучения исторических процессов языковой эволюции».

Т.П. Заиконникова (Казань) в выступлении «Вопросы исторической морфологии в работах В.М. Маркова: имя прилагательное» отметила, что «центральное место в изысканиях профессора В.М. Маркова занимают вопросы исторической морфологии», в том числе и история имен прилагательных в русском языке. Суть и специфику каждой категории прилагательных В.М. Марков решал с глубоко исторических позиций. С этих позиций ученый выступал против разграничения прилагательных на три разряда (качественные, относительные и притяжательные), пересмотрел положение о субстантивации прилагательных, отнеся этот процесс к семантическому словообразованию существительных местоименного склонения на основе прилагательных, предложил свое аргументированное понимание процесса образования полных прилагательных и др. В сообщении были рассмотрены и другие открытия ученого в области исторической морфологии имен прилагательных.

Т.М. Николаева (Казань) выступила с докладом «В.М. Марков и история русского литературного языка», в котором изложила свое понимание взглядов В.М. Маркова на многие проблемы истории русского литературного языка: его происхождение, роли церковнославянского языка в его формировании, признание устной формы литературного языка в дописьменный период, наличие письменности у восточных славян до крещения Руси, отрицательное отношение к двуязычию и диглоссии и т. д. Позиция В.М. Маркова по вопросу истории русского литературного языка позволяет по-новому взглянуть на многие проблемы этого раздела исторической русистики.

Т.Г. Фомина (Казань) выступила с докладом «О роли акцентуации в научных исследованиях В.М. Маркова», в котором она утверждает, что «применяемый В.М. Марковым диахронический подход к исследованию взаимодействия исторических процессов и акцента способствует более глубокому и аргументированному описанию грамматических явлений, а также помогает акцентологам объяснить причины происходивших в истории языка акцентных изменений».

Далее были заслушаны отчеты председателей секций. Было принято решение о проведении следующей конференции в 2017 г., приурочив ее к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.М. Маркова.

Заочное участие в конференции приняли видные российские и зарубежные ученые, занимающиеся разными аспектами истории и современного состояния русского языка: Е.М. Верещагин (Москва), В.В. Колесов (Санкт-Петербург), Л.В. Зубова (Санкт-Петербург), Н.А. Нечунаева (Эстония), Б.И. Осипов (Омск), Н.А. Кипиани (Грузия), Н.В. Кононова (Латвия), Л.В. Бублейник (Украина), М.В. Пименова (Владимир), С.В. Чернова (Киров), А.Л. Шарандин (Тамбов), Е.М. Шептухина (Волгоград), О.В. Трофимова (Тюмень), З.К. Сабитова (Казахстан), И.А. Изместьева (Тольятти), Л.М. Устюгова (Украина) и др.

Материалы конференции были изданы до ее начала [Абдулхакова и др. 2012]. В серии «Выдающиеся ученые Казанского университета» (к 200-летию КГУ) опубликована брошюра Г.А. Николаева «Виталий Михайлович Марков (1927–2010)» [Николаев 2012].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абдулхакова и др. 2012 – *Л.Р. Абдулхакова и др.* (ред.) Русский язык: функционирование и развитие (к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора Виталия Михайловича Маркова). Казань, 2012.

Марков 2001 – *В.М. Марков*. Избранные работы по русскому языку. Казань, 2001.

Николаев 2012 – *Г.А. Николаев*. Виталий Михайлович Марков (1927–2010). Казань, 2012.

Г.А. Николаев

Сведения об авторе:

Геннадий Алексеевич Николаев
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
gnikolaevksu@mail.ru

III Международный симпозиум «Терминология и знание». Москва 2012

8–10 июня 2012 г. в Москве прошел III Международный симпозиум «Терминология и знание»[1], организаторами которого выступили Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) и Научно-исследовательский центр русской филологии и культуры Хэйлунцзянского университета Министерства образования Китайской Народной Республики (Харбин). Оргкомитет симпозиума возглавили два сопредседателя: с российской стороны – директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН А.М. Молдован, с китайской стороны – директор Научно-исследовательского центра русской филологии и культуры Хэйлунцзянского университета г-жа Сунь Шуфан.

В симпозиуме приняли участие около 40 специалистов из России, Китая, Белоруссии, Украины и Финляндии. Рабочими языками симпозиума являлись русский, английский и китайский.

[1] Два предшествующих симпозиума были организованы Институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН (второй – совместно с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина). Содержание докладов, прочитанных на этих симпозиумах, отражено в публикациях: Терминология и знание. Материалы I Международного симпозиума (Москва, 23—24 мая 2008 г.) / Отв. ред. С.Д. Шелов. М., 2008; Терминология и знание. Материалы II Международного симпозиума (Москва, 21—23 мая 2010 г.) / Отв. ред. С.Д. Шелов. М., 2010.

Со вступительным словом выступили директор Научно-исследовательского центра русской филологии и культуры Хэйлунцзянского университета г-жа Сунь Шуфан, которая рассказала о направлениях работ руководимого ею центра, а также ученый секретарь Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН В.А. Пыхов, который напомнил историю Терминологического центра ИРЯ и проводимых им симпозиумов «Терминология и знание».

Пленарное заседание открылось совместным докладом директора Института терминоведения, заведующего лексикографическим отделом Научно-исследовательского центра русской филологии и культуры профессора Чжэна Шупу (Китай) и начальника департамента Азии Российского университета дружбы народов О.Р. Очирова (Москва) «Китайское терминоведение: от традиции "упорядочения названий" к современной теории». Докладу предшествовало приветствие участникам симпозиума Чжэна Шупу, которое было зачитано О.Р. Очировым. В самом докладе авторы представили становление терминологической науки от трудов древних мыслителей до наших дней и отметили, что истоки китайского терминотворчества и терминологической мысли можно найти еще в трудах древних китайских мыслителей – Конфуция (около 551 до н. э. – 479 до н. э.) и Сюнь-цзы (около 313 до н. э. – после 238 до н. э). Широко известен фрагмент из канонического текста «Лунь юй» – «Суждения и беседы», который еще при жизни Конфуция начали составлять его ученики и в котором устами Учителя говорится: «Если названия не соответствуют сути, то и со словами неблагополучно. Если со словами неблагополучно, то и дела не будут ладиться».

Первые китайские терминологические организации начинают создаваться в начале XX в. В 1909 г. при Цинском дворе была учреждена Канцелярия по разработке научных имен существительных. В 1932 г. была создана Государственная канцелярия по составлению научно-технических имен существительных, а в 1985 г. создается Всекитайский комитет по утверждению научно-технических имен существительных (можно предположить, что название организации связано с тем, что большинство исследователей считают, что основной состав терминологической лексики представлен именами существительными и построенными на их основе словосочетаниями). Название терминологического комитета на китайском языке сохранилось до сих пор, хотя при переводе на английский язык название организации переводится как «Китайский национальный комитет научно-технических терминов» – China national committee for terms in sciences and technologies (CNCTST), а на русском языке используется перевод «Всекитайский комитет научно-технической терминологии» (ВКНТТ).

Перед ВКНТТ была поставлена задача по проведению терминологической работы по стандартизации научно-технических терминов во всех сферах народного хозяйства. В состав комитета входят ведущие терминологи Китая, а состав комитета насчитывает в настоящее время около 30 человек, причем всего к различным видам терминологической работы привлечено около 3 000 специалистов по всему Китаю.

В работе комитета можно выделить два направления: проведение теоретических исследований и практическая работа по упорядочиванию и стандартизации терминов, причем второе направление считается основным в работе ВКНТТ. За 30 лет существования комитета была проведена большая терминологическая работа по созданию, упорядочиванию терминологий, свидетельством чего стал выпуск 58 сборников стандартизированных терминов по математике, физике, астрономии, географии, микробиологии, лесному хозяйству, медицине, генетике, почвоведению и многим другим фундаментальным наукам, областям знаний и дисциплинам. С 1985 г. в Китае издается научный журнал «Китайская терминология», проводятся традиционные научные конференции под общим названием «Становление китайского терминоведения»; в серии с одноименным названием публикуются сборники научных статей и монографии. За последние годы немало статей по вопросам китайской терминологии было опубликовано также на страницах лингвистических журналов Китая.

Серьезным стимулом к развитию теоретического терминоведения современного китайского языка стали опубликованные в Китае работы Фэна Чживэя, Чжэна Шупу, У Ликунь и др. Эти работы способствовали созданию в Хэйлунцзянском университете Института терминологии, который возглавляет Чжэн Шупу. Среди результатов работы руководителя Института терминологии – выход в свет монографий «Современное российское терминоведение», «Лексикография. Лексикология. Терминоведение», а также «Сборника избранных статей Чжэна Шупу» в серии «Избранные труды современных китайских русистов». Кроме того, на китайский язык были переведены еще три монографии по терминоведению и опубликована монография У Ликунь (Пекин, 2009), а также опубликовано около 40 статей. В 2011 г. коллектив китайских авторов под руководством Чжэна Шупу выполнил перевод на китайский язык учебного пособия С.В. Гринева-

Гриневича «Терминоведение», которое было опубликовано в 2011 г. в Пекине в серии книг «Становление китайского терминоведения». В Хэйлунцзянском университете также под руководством Чжэна Шупу подготовлены и защищены четыре диссертации по терминоведению, соответствующие статусу PhD. В Китае уделяется внимание развитию международного сотрудничества в сфере терминоведения: ВКНТТ установил дружеские и партнерские контакты с терминологическими организациями разных стран. В 2010 г. в России был опубликован сборник «Международное сотрудничество в терминологических исследованиях» (научные редакторы К.К. Васильева и Чжэн Шупу), в который вошли статьи российских и китайских ученых из двенадцати вузов России и КНР. К этому следует добавить, что, в свою очередь, российские специалисты И.Д. Кленин, А.Ф. Щичко, В.И. Горелов, А.Л. Семенас, О.Р. Очиров, К.К. Васильева и др. уделяют немало внимания описанию китайского терминологического материала.

Пленарный доклад О.В. Фельде (Борхвальд) (Красноярск) был посвящен достижениям, проблемам и перспективам исторического терминоведения русского языка, занимающегося языковыми явлениями XI – начала XX в. Примером успехов исторического терминоведения может служить выявление сущности древнерусского термина, который не являлся средством логического определения, выступая только лишь в роли названия предмета, производственного процесса, т. е. как прототермин. Во многих работах успешно показывается, что русская терминология является зеркалом развития духовной и материальной культуры русского народа.

С середины 1980-х гг. начинается осмысление исторического терминоведения как самостоятельной науки с собственным предметом и объектом исследования. В докладе было показано разнообразие подходов исторического терминоведения к исследованию специальной лексики. При синхронном подходе в фокусе внимания оказываются языковые процессы какого-либо короткого исторического периода, исследование лексических единиц от истоков к современному состоянию и в обратном направлении проводится, соответственно, при диахронном и ретроспективном подходах.

Как продемонстрировал докладчик, разнообразны отрасли и задачи исторического терминоведения. О.В. Фельде подчеркнула, что, помимо традиционных методов исторического языкознания, в историческом терминоведении формируются собственные научные методы, в частности, методы анализа темпов развития терминологий и терминосистем, причин, факторов и путей реализации этих процессов в том или ином естественном языке. По ее мнению, исследования в области исторического терминоведения вносят ощутимый вклад в решение многих общелингвистических и терминоведческих проблем: место терминологии в системе языка, природа термина как знака, роль профессионального подъязыка в аккумуляции человеческого опыта, поиск адекватных средств для выражения специальных понятий, изоморфизм лексики и культуры и т. д.

Докладчик выразил убеждение в необходимости расширения проблематики новой перспективной дисциплины и использования в ней опыта современного антропоцентрического языкознания, когнитивной лингвистики, лингвистической культурологии. В заключении доклада автор сделал вывод о том, что в историческом терминоведении назрел переход от «атомарных и описательных» изысканий к широким текстовым исследованиям, к всестороннему изучению профессиональной картины мира в ее динамике и анализу функционирования терминологической лексики в речи конкретных исторических личностей.

Истории формирования китайской лингвистической терминологии был посвящен доклад Е Цисуна (Китай), который обратился к исследованию почти не изученной с этой точки зрения «Грамматики» Ма Цзянчжуна, написанной им в 1898 г. Докладчик поставил перед собой задачу системного описания лингвистической терминологии этого памятника научной мысли и сформулировал следующие выводы своего исследования: 1) с терминоведческой точки зрения значительный вклад Ма Цзянчжуна состоит в том, что на основе древнекитайской науки о языке и западноевропейской грамматики впервые была сформирована китайская лингвистическая терминология, многие термины которой употребляются до сих пор; 2) терминология «Грамматики» Ма Цзянчжуна отражает общие грамматические признаки современной китайской терминологии: бóльшая возможность обозначения научного понятия именем существительным по сравнению с другими знаменательными частями речи, существование в китайском языке определенного количества терминов-морфем и тенденция образования терминов-слов и терминосочетаний из трех и четырех компонентов, которые являются основными терминообразовательными моделями; 3) в «Грамматике» Ма Цзянчжуна имеется значительное число многозначных и синонимических терминов, что характерно для любой области знаний, находящейся на начальном этапе развития.

В пленарном докладе С.Д. Шелова (Москва) «Новая парадигма терминоведения: не-

которые перспективы» отмечалось сосуществование в настоящее время двух направлений терминологических исследований. Одно из них продолжает традиции классиков российской терминологической науки – Д.С. Лотте, Э.К. Дрезена, А.А. Реформатского, Г.О. Винокура. На его основе удается единообразно и последовательно выявлять понятийную структуру научной и технической терминологии разных областей знаний и дисциплин (что важно в прикладном отношении) и строить сотни нормативных отраслевых терминологических систем, фиксируя их в соответствующих словарях, стандартах и сборниках рекомендуемых терминов. Аргументом в пользу плодотворности традиций «классического» терминоведения служит и компьютерное представление понятийной структуры терминологии различных областей знаний. Такое представление имеется, например, в Терминологической базе знаний Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Указанное направление терминологической науки отмечено новыми лингвистическими результатами. В частности, удалось установить существование нескольких родовых понятий для одного и того же термина в значении, зафиксированном одним и тем же терминологическим определением. Выявлено также наличие терминов, хотя и имеющих собственные понятийные поля, но не имеющих, строго говоря, собственных терминологических полей, ибо они не связаны непосредственно через определения с терминами той же тематической области или научной теории, к которой они относятся. Понятийная связь подобных терминов с другими терминами осуществляется опосредованно – через общеязыковые (а не специальные) понятия (и лексические единицы).

Второе, значительно более позднее, направление терминологических исследований получило название «когнитивного». Когнитивное терминоведение исходит из необходимости учета как прототипической категоризации концептов, реализованной в «наивной» языковой картине мира, так и актуализации термина как знака «интеллектуально зрелого» и ясно очерченного понятия в сфере специальной коммуникации. Термин начинает пониматься как языковой знак специального концепта, то есть мыслительного предмета, содержащего как объективные знания о мире, так и субъективные моменты, включая результаты категоризации и концептуализации знания. Термины и терминологические системы понимаются как динамические конструкты, которые рождаются в дискурсе и изменяют свое содержание и свою форму в процессе когниции. Когнитивное терминоведение допускает существование случаев семантической специализации языковых единиц (когда их смысловое развитие остается на уровне прототипического концепта, выражаемого «предтермином»), а также случаев «бездефиниционного употребления термина» (когда наблюдается «динамическое», меняющееся понятийное содержание термина в тексте). Последнее утверждение когнитивного терминоведения, по мнению автора доклада, требует ответа на вопросы об условиях понимания впервые встретившегося бездефиниционного термина, о показателях и границах «наращивания смысла термина» в тексте, о допустимости при контекстуальном определении прямых логических противоречий в понятийном содержании термина и факторах, обеспечивающих логическую непротиворечивость.

Кроме перечисленных, на пленарном заседании были прочитаны следующие доклады: В.Ф. Новодранова (Москва) «Методы когнитивного анализа в исследованиях языков для специальных целей»; Вей Вэйсянцин, Ху Е и Ван Дунбо (Китай) «Построение большого китайско-английского терминологического банка, ориентированного на обмен данных: Банк терминологических данных НУТЕРМ» (на английском языке).

Таким образом, на пленарном заседании участники симпозиума получили возможность познакомиться с работами в области терминоведения, проводимыми в Китае и, в частности, в Научно-исследовательском центре русской филологии и культуры Хэйлунцзянского университета, с историей формирования китайской терминологии и терминологической науки в Китае. В свою очередь зарубежные коллеги смогли ознакомиться с состоянием терминоведения в России, с достижениями когнитивного направления российского терминоведения, со становлением целого самостоятельного раздела исторического терминоведения и особенностями исторического развития профессиональной и терминологической лексики русского языка.

8 июня (во второй половине дня) и 9 июня были прочитаны секционные доклады.

Докладчики секции «Терминология отдельных наук, областей знания и деятельности» представили широкий спектр исследований специальной лексики медицины, химии, экономики, языкознания, археологии, религии. В поле зрения оказались динамика развития терминологических систем, проблемы систематизации и упорядочения терминологии, явления терминологической вариантности, вопросы авторской терминологии и др. Так, Н.М. Карпухина (Москва), выступившая с докладом «Метафоризация как способ образования профессиональных номинаций (на материале эко-

номической лексики)», выделила несколько основных информационных сфер, служащих источниками при образовании современных экономических терминов (мир человека – *слепой брокер*, природные явления – *серая волна*, мир животных – *белый слон*, мир точных наук – *мертвая точка* и т.д.), и представила собственную классификацию метафорических номинаций. Особое внимание автор доклада уделил оценочным профессионально терминированным номинациям (*крепкий рынок*, *мусорные облигации* и т.п.). По мнению докладчика, многие особенности метафор – терминов рыночной экономики можно связать с тем, что создателями современной экономической терминологии явились специалисты различных отраслей науки и техники, использовавшие при терминообразовании разнообразный информационно-языковой опыт. На этой же секции состоялись выступления М.О. Алексеевой (Москва) «Своеобразие динамических процессов в терминологии православия»; Г.А. Ивановой (Киров) «Терминологическая вариантность в метаязыке лингвистики: нормативный аспект»; Л.О. Дмитриевой (Москва) «Терминологический аспект логического анализа слов Рене де Соссюра».

Значительный интерес вызвали выступления в секции «Терминология и общая лексика. Терминология среди других языковых единиц». В них была представлена целая палитра соотношений общеязыкового значения слова, значения того же по форме слова в специальном подъязыке и, наконец, той же языковой формы в подъязыке другой (хотя, возможно, и смежной) области. Непростая картина семантики специальных языковых единиц осложняется различиями в восприятии тех же единиц различными культурно-региональными общностями, а также наличием сфер коммуникации, в которых используется не только специальная лексика, соответствующая литературной или профессиональной норме, но также и лексика профессиональных жаргонов и профессионального просторечия.

Кроме того, выступавшие обращались к вопросам отражения специальной лексики в общих филологических словарях. Так, в докладе Л.П. Крысина (Москва) «Термин как объект лексикографии» на примере лингвистических словарей различных типов было показано, что отбор терминов в словник словаря, а также объем и характер сведений о терминах обусловлен жанром и назначением словаря. Согласно отечественной лексикографической традиции наибольшее число терминов представлено в общих орфографических словарях, в наименьшей степени – в учебных словарях-минимумах. Докладчик определил место лингвистических словарей иных типов между указанными крайними точками. Что касается объема информации о терминах, то, как показал автор доклада, минимум последней можно обнаружить в словарях орфографических (только написание), орфоэпических (только произношение), этимологических (только происхождение) и максимум – в отраслевых толковых словарях, в словарях иностранных слов, в больших академических толковых словарях. Кроме того, докладчик отметил, что лингвистические словари отличаются по характеру информации о терминах. Так, если в отраслевом толковом словаре связи данного термина с другими терминами терминосистемы фиксируются с максимальной полнотой, то в обычных толковых словарях такие связи прослеживаются избирательно, в зависимости от актуальности терминов для общелитературного языка (например, в «Толковом словаре» под ред. Н.Ю. Шведовой описан термин *гайморит*, но отсутствует термин той же тематической группы *фронтит*).

В докладе А.Э. Цумарева (Москва) было обращено внимание на то, что специальная лексика может маркироваться в академических общих филологических словарях не только одиночными пометами (*биол.*, *воен.*, *спец.* и т. д.), но и сочетанием помет (*разг.* и *спец.*, *спец.* и *обл.* и т. д.). Докладчик предложил собственные ответы на вопросы о том, какие сочетания помет встречаются при терминологических и профессиональных лексических единицах (словах, устойчивых сочетаниях) в общих толковых словарях, какая языковая реальность стоит за тем или иным сочетанием помет, оправдано ли дальнейшее словарное использование той или иной комбинации помет для характеристики лексических единиц, квалифицируемых как терминологические или профессиональные. В работе этой же секции также были заслушаны сообщения В.А. Иконниковой (Москва) «Отражение научной и языковой картины мира в языке юристов и обывателей»; С.Н. Виноградова (Нижний Новгород) «Аксиологические аспекты термина»; В.М. Лейчика (Москва) «Сопоставление русского общего и профессионального просторечия с жаргонами».

Работа секции «Терминология отдельных наук, областей знания и деятельности» была продолжена на следующий день, 9-го июня, когда с большим интересом обсуждался доклад Е.М. Лазуткиной (Москва), посвященный термину *литературный язык*. Автор рассмотрел эквиваленты этого термина в других языках, содержание компонента *литературный* в составе термина, основные черты литературного языка (многофункциональность, наличие языковых норм, общенациональный харак-

тер), выделенные в работах классиков отечественного языкознания XIX–XX вв. В выступлении была подчеркнута связь литературного языка с культурой, государственностью, повседневной жизнью общества. Актуальными оказались и сообщения Е.М. Какзановой (Москва) «Химические термины-эпонимы топонимического содержания»; Ю.Г. Кокориной (Москва) «Археологическая терминология и терминосистема археологии: две структуры концептуальной области – две парадигмы знания»; А.Н. Краснова, Е.А. Слоевой, А.П. Журавлева и др. (Самара) «Роль терминологии в формировании концептуальной модели предметной области (на примере подъязыка травматологии)».

Прикладным аспектам терминоведения была посвящена работа секции «Терминологическая лексикография, прикладное терминоведение и преподавание языков для специальных целей». В выступлениях докладчиков были продемонстрированы аспекты взаимодействия терминологии и информационных технологий и, соответственно, терминоведения и информатики. Удачный опыт построения многофункционального электронного словаря предметной области «Экологический аудит» был представлен в докладе Н.Г. Кантышевой (Тюмень, зачитан В.Д. Табанаковой). Созданный глоссарий объединил в себе информацию, характерную для различных типов словарей: толкового, отраслевого терминологического, переводного, идеографического, энциклопедического, нормативного, учебного и электронного. Важно, что цифровой формат позволяет строить микро- и макроструктуру по законам гипертекста и регулярно обновлять и корректировать словарную информацию. Вместе с тем, благодаря доступному интерфейсу, составленный глоссарий удобен в практическом использовании. В работе секции выступили также с докладами Л.Н. Беляева (Санкт-Петербург) «Технический перевод, терминология и информационные технологии»; С.В. Силков (Белоруссия) «Терминологический словарь и информационные ресурсы по архивологии, документологии, терминоведению и поиску информации»; К.Я. Авербух (Москва) «Проблема преподавания LSP»; В.Д. Табанакова (Тюмень) «Авторский термин: воспринимаю, интерпретирую, перевожу».

Часть докладов была посвящена национальным терминологическим ресурсам, терминологическим банкам данных, интернационализации и автоматизации терминологической работы. Выступления на соответствующие темы составили самостоятельную секцию.

В рамках работы секции «Национальные терминологические ресурсы. Терминологические банки данных и автоматизация терминологических работ» С.Д. Шеловым был прочитан доклад «Сколько мы знаем, когда не знаем ничего, кроме определений терминов?» (на английском языке). Выступавший продемонстрировал возможности вывода информации в качестве логических следствий из терминологических определений. Было показано, что для значительной части терминологических дефиниций, являющихся родовидовыми, действуют известные, по крайней мере, со времен Аристотеля правила вывода утверждений, основанные на «наследовании» видовыми объектами признаков (свойств) родовых объектов. Возможность реализации простейших логических следствий может быть использована в терминологических банках и знаний с получением информации, первоначально в них не заложенной, что позволяет говорить о превращении терминологических банков данных в терминологические базы знаний и компьютерные справочники. Так, например, согласно терминологическим определениям, термины образуют родовидовую цепочку языковых единиц, в которой каждая предшествующая является видовой по отношению к последующей. Докладчик показал, как анализ определений терминов (и понятий) из учебника Ю.С. Маслова «Введение в языковедение» *грамматическая группировка лексических единиц – часть речи – глагол – вербоид – инфинитив,* образующих родовидовую цепочку, позволяет осуществить вывод тридцати безусловно верных высказываний. Было отмечено, что в некоторых случаях автоматически могут быть получены даже точные формулировки логически выводимых утверждений. На этой же секции выступили также И.С. Кудашев (Финляндия) «Инфраструктура обеспечения качества терминологических банков данных и совместных терминологических проектов (на английском языке)»; Л.В. Туровская (Украина) «Сопоставительное терминоведение на Украине конца XX – начала XXI в.» (доклад был зачитан Л.Н. Васильковой); Сунь Хуань (Китай) «Истоки исследования китайской терминологии».

На секции «Когнитивное терминоведение и языки для специальных целей. Способы образования и форма специальных языковых единиц» участники симпозиума обратились к вопросам анализа языковых единиц и, в частности, терминов сквозь призму категорий языковой личности и дискурса, отмечая также связь терминологической проблематики с вопросами языковой картины мира.

И.А. Казимирова (Украина) представила подробный обзор новейших работ по проблемам изучения языковой личности в современном украинском когнитивно-дискурсивном

терминоведении. Было обнаружено многообразие аспектов изучения языковой личности, отразившееся в целом ряде работ. Согласно обзору, в украинском дискурсивном терминоведении разрабатываются понятия научного, профессионального и терминологического дискурсов, значительное внимание уделяется языковой личности как представителю определенного социального института, активно исследуется проблема типологии разновидностей языковой личности, изучаются особенности стратегий и тактик в отдельных видах дискурсов.

Проблема универсального и лингвоспецифичного в научной картине мира и научной терминологии оказалась в центре внимания в докладе А.Д. Шмелева (Москва). С одной стороны, существует утверждение о том, что, в отличие от языковой (наивной) картины мира, «научная картина мира не зависит от языка, на котором она описывается» (Ю.Д. Апресян). С другой стороны, можно заметить, что научные тексты на разных языках, описывающие одну и ту же область исследования, могут основываться на не совпадающей полностью системе представлений. В связи с этим в докладе были проанализированы разнородные случаи, которые на первый взгляд могут посеять сомнения в правильности утверждения об отсутствии чего-либо лингвоспецифичного в научной картине мира. Известно, что в современной западной систематике растений не изжиты до конца некоторые следы старой, традиционной классификации, связанной с «наивными» представлениями и особенностями греческого и латинского языков. Известно также, что существует самобытная китайская традиция систематики растений, однако принципиально то, что она вполне успешно может быть изложена на европейских языках. В указанных случаях, по наблюдениям докладчика, дело не в лингвоспецифичности, а в исторической изменчивости и вариациях научной картины мира, изложенных на разных языках и при необходимости переводимых на другие языки. Другая группа случаев связана с особенностями процесса заимствования и перевода. Различные способы заимствования какого-либо термина могут привести к образованию в заимствующем языке двух терминов, значение которых может быть разведено. Так произошло, например, с парой *субъект* и *подлежащее* в лингвистике и с парой *объект* и *предмет (исследования)* в любой научной литературе. Перевод этих пар на европейские языки вызывает проблему, которая, однако, не относится к числу неразрешимых.

Кроме того, автор доклада выделил случаи, когда наука непосредственно связана с повседневной жизнью, в которой по отношению к исследуемым наукой явлениям бытуют определенные «наивные» представления. Поэтому, например, медицинская симптоматика должна учитывать и обобщать особенности языковой идиоматики, касающейся обозначения различных физических состояний пациента (скажем, для носителя английского языка *heartburn* – это изжога). Точно так же социология должна помнить о возможности возникновения у рядовых носителей языка ложных ассоциаций по поводу некоторых терминов (таких как, например, *частная собственность*, *прибавочная стоимость* и др.). Однако было показано, что и в подобных случаях единство научной картины мира не нарушается. Лингвоспецифичность научной картины мира во всех рассмотренных оказывается мнимой, и разные научные традиции, связанные с различными языками, по словам докладчика, «должны быть соединены в некоторую общую картину, которая может быть более или менее адекватно описана на самых разных языках». Тем самым в докладе была подтверждена ранее высказанная академиком Ю.Д. Апресяном мысль о независимости научной картины мира от языка описания.

В работе этой же секции представили доклады С.Л. Мишланова (Пермь) «Когнитивно-дискурсивный анализ семантических отношений в процессе терминологизации»; З.И. Комарова, А.И. Глазырина (Екатеринбург) «Английские контактные морфемы в вариантах русского компьютерного подъязыка»; М.Н. Лазарева (Пермь) «Когнитивный аспект структурно-семантических особенностей фитонимов, функционирующих в терминологии прикладной науки (на материале французского языка)»; А.К. Сулейманова (Уфа) «Термины-метафоры: способы номинации».

В заключение симпозиума были высказаны пожелания относительно целесообразности продолжения исследования терминологии и языков для специальных целей, кооперации и координации этой работы на международном уровне, необходимости издания в России международного журнала по терминоведению, а также относительно разработки новых форм проведения будущих научных мероприятий в области терминоведения.

С.Д. Шелов, А.Э. Цумарев

Сведения об авторах:

Сергей Дмитриевич Шелов
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
volehs@mail.ru

Алексей Эдуардович Цумарев
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
zumarew@yandex.ru

CONTENTS

Ol'ga V. Fedorova (Moscow). Experimental syntax and syntax experiment; Lidija N. Iordanskaja, Igor' A. Mel'čuk (Montreal). The adverb *odnaždy*: An indefinite temporal specifier; Ol'ga Ju. In'kova (Geneva). On the semantics of the so-called gradation conjunctions *ne stol'ko... skol'ko* and *skoree... čem*; Gerd Hentschel (Oldenburg). Belarusian, Russian, and Belarusian–Russian mixed speech; Nadežda V. Makeeva (Moscow). Communicative strategies and correlative construction in Kla-Dan and other South Mande languages; Marija B. Konošenko (Moscow). Person and number marking in Kpelle: On the typology of person–number agreement; **History of science:** Valerij G. Kuznetsov (Moscow). The linguistic theory of Eric Buyssens; **Reviews:** Lev S. Klejn (St. Petersburg). *Ju. K. Kuz'menko*. Early Germans and their neighbours: Linguistics, archeology, genetics. St. Petersburg: Nestor-Istorija, 2011; Valentin Ju. Gusev (Moscow). *A.Y. Aikhenvald*. Imperatives and commands. New York: Oxford university press, 2010; Dina B. Nikuličeva (Moscow). *P. Durst-Andersen*. Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Hans Reitzels Forlag, 2011; Filipp R. Minlos (Moscow). *T. Stolz, C. Stroh, A. Urdze*. Total reduplication: The areal linguistics of a potential universal. Berlin: Akademie Verlag, 2011; **Academic life:** Aleksandr B. Letučij (Moscow). A survey of linguistic projects financed by the Russian foundation for humanities in 2012; Gennadij A. Nikolaev (Kazan'). International conference «Russian language: functioning and development»; Sergej D. Šelov, Aleksej E. Cumarev (Moscow). III International symposium «Terminology and knowledge», Moscow, 2012.

УТОЧНЕНИЕ

По просьбе автора сообщаем, что в статье Б.А. Успенского «Имя Бога в славянской Библии (к вопросу о славяно-еврейских контактах в Древней Руси)», опубликованной в № 6 за 2012 г., на с. 93 в строке, разорванной переносом, следует читать:

אהיה אשר אהיה

Также на с. 107 в сноске 45 вместо *adōnāi* следует читать *'adōnāi*.

Сдано в набор 12.11.2012 Подписано к печати 24.12.2012 Формат 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 7,6 тыс. Уч.-изд.л. 15,5 Бум.л. 5,0
Тираж 575 экз. Зак. 892

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука»,
117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон (495) 637-25-16
Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН
Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6